МСТИСЛАВСКИЙ

НА КРОВИ

на крови

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО



С. МСТИСЛАВСКИЙ

НА КРОВИ

РОМАН

С ПОСЛЕСЛОВИЕМ
УЛЬРИХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ★ 1928 ★ ЛЕНИНГРАД

ОТПЕЧАТАНО
в 1-й Образцовой типографии
Гиза. Москва, Пятницкая, 71.
X. 20. Гиз № 23590. Глав. № А-3384.
Зак. № 4769. Тираж 7.000 экз.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

АВГУСТ 1905

За деревьями, от далекой церкви, расплескивая медь праздничным, сытым гудом, — кричали, кричали колокола.

. . . .

— Слово имеет...

Щурясь от солнца, Бирюков Семен, литейщик, пригорбился сбитою на лоб кепкой с высокого пня (митинг в лесу, на поляне, между Озерками и Шуваловым, сотни две народу) и громким шопотом:

— По кличке сказывать?

— Сам скажу.

— А ну, взлазь.

Черный, лохматоволосый студент (Борис, мы все его знаем, нашего района) с карими, печальными сквозь огонь, «по-грузински», глазами, легко взбросился на «трибуну» — на Бирюковское место.

— Товарищи!

Голос веселый и звонкий, не по осени весенний голос.

— От имени Российской социаль-демократической рабочей партии...

— Больших аль меньших? — ехидно выкрикивает из-за плеча у меня Никита: из айвазовских дружинников, мой. Борис — меньшевик. Меньшевик сейчас — не то, что прежде: стал не в чести в рабочих районах. Борис это знает, как знает Никита. Неймется Никите — сказать эдак под руку: где-нибудь да аукнется.

Борис хмурится и повторяет, чеканя за слогом слог:

— От Рос-сий-ской социаль-демократической партии...

— Больш... — опять начинает Никита. Но Бирюков взмахивает над кепкой костистой черной рукой:

— Тише там! Не мешай оратору: сам оскажется.

— Товарищи! Тут передо мной товарищ Михаил уже говорил вам, что такое царский манифест шестого августа — о созыве народных представителей, о законосовещательной Думе. Раз'яснять тут, правду говоря, и нечего: дело ясное. Девятого января, когда народ, стадом покорным, под поповским крестоводительством — «Спаси господи, люди твоя» — шел с просьбой к царю, как заступнику, — царское правительство показало на смирных да безоружных свои волчьи зубы. А теперь, когда взошла на той, на январской крови народная месть, — когда по всей России из конца в конец идут разгромы усадеб, — когда народ встает за землю, когда бастуют рабочие... когда революция идет — слышите, товарищи, ход ее, уверенный и твердый! — царское правительство пробует показать нам вместо волчьих зубов — лисий хвост. А мы его за этот хвост да об стенку!

— Фьють, — подсвистнул тихонько Никита. — Эк шпарит, скажи на милость. Рази по-меньшевистски так, товарищ Игорь?

Игорь поморщился, поправил пенснэ на тонком бледном носу и сказал сквозь зубы:

— Демагогия.

Солнце жжет по картузам и платкам. Лес не шелохнется. День выдался — на диво.

— Товарищи! Питерский комитет социаль-демократической рабочей партии вынес по этому вопросу следующее постановление.

— Ты от себя: бумажки-то мы видели.

— «Российская социаль-демократическая партия перед лицом всего мира заявляет, «что царский манифест шестого августа есть наглое издевательство над рабочим классом России, борющимся за свободу и лучшее будущее. Что манифест этот есть в то же время грубая попытка обмануть русское крестьянство и весь русский народ жалкой подделкой народного представительства. Что манифест этот означает твердое непреклонное намерение самодержавного царя с чиновниками и капиталистами бороться до конца насилием и ложью против стремления народа к освобождению, к жизни, достойной человека. И что, поэтому, истинным преступником против народа будет всякий, кто сознательно будет поддерживать царский обман или примет в нем участие как избиратель, выборщик или кандидат в Государственную думу».

— Мы, социалисты-революционеры, то же самое говорим, — перебил высоким фальцетом Игорь. — Михаил до вас...

— Правильно! — поддержал Никита.

— То же, да не то же, — засмеялся с пня, покачиваясь, Борис. — Одно дело — Вань, другое — Иван Иванович. Желаете, раз'ясню.

— А ну, раз'ясни.

Борис поднял над головой пальцы, широко растопырив их.

— Видишь?

— Вижу.

— Ну, а теперь? — Пальцы сложились в шиш. Толпа загоготала.

— Пальцы те же, а фигура, видишь ты, разная. Так и у нас с вами.

Гогот снова волною прошел по митингу.

— Это не аргумент, — надсаживаясь, крикнул Игорь. — Я прошу слова.

— Ти-ше!—покрывая смех и гомон, простучал сухой Бирюковский голос.—Вопрос первой серьезности, а они...

— Требую слова, — повторил, багровея, Игорь.

— Я не кончил, — щурится Борис.

— Ти-ше!

Бирюков взлез на пень, охватив Бориса за талию: вдвоем тесно.

— Ти-ше! Предлагаю собранию...

— Спешный вопрос имею оратору.

Бирюков присматривается.

— Ты? Какой же тебе вопрос, ты же сам меньшевик.

— Поэтому и вопрос. Вне очереди.

— А ну...

— Будучи Российской социал-демократической партии, фракции меньшинства, каковой фракции и товарищ Борис, спрашиваю: по какому обстоятельству, меньшевиком будучи, оглашает к руководству резолюцию большевистского комитета, а не свою, меньшевистскую?

— За-гнул! — восхищенно толкает меня в спину Никита. — А, товарищ Михаил?

Борис, строго сжав губы, смотрит над толпой — далеко куда-то, не отвечая.

На минуту тихо становится на лугу. И сквозь тишь, внезапно, — совсем близко, от опушки самой — ударяет протяжный, многоголосый, согласный напев:

Да я-ви-лось солн-це крас-ное.
Еще явила-ся мать пре-свя-та-я бо-го-ро-дица...

— Никак попы?

— Окстись ты... Рази это церковное.

— И откуда попам в лесу...

— Верно, — подмигивает мастеровой в синей рубахе, с Никитой в обнимку. — Поповское дело — огородное.

Борис тряхнул головой.

— Товарищи!..

Но напев, однозвучный и настойчивый, нарастая, выходит на поляну. По устью тропки, прямо на митинг, на насторожившуюся толпу, вытягиваются по два, — большой и малый, — тягуче вынося тяжелые, пыльными лаптями оплетенные ноги и долгие, обтертые бледными ладонями, зрячие посохи: одна, две, три, четыре пары.

— Нелегкая их, — ворчит Бирюков и машет рукой.

— Гей, дядье, сворачивай вправо, стороной!

Мальчик, ведущий первого слепца, обернулся. Но слепой, не меняя шага, тащит его за руку, прямо-прямо перед собой, упрямо зачиная новую строфу:

На-ез-жал на ста-до на зве-ри-но-е...

И мальчик послушно вступает, низким альтом, оглядываясь на следующие пары:

На се-рых вол-ков на рыс-ку-чи-их...

А сзади догоняют уже голоса и шаги:

Гой вы, волки, волки рыскучие,
Разойдитеся, разбредитеся
По два, по три, по единому,
По глухим степам, по темным лугам.

Митинг молчит. За спиной у меня кто-то подшепетывает, быстро, молитвенно, тревожно, с подхрипом:

— Во знамение, во знамение, господи боже мой.

Слепцы подошли вплотную. Толпа расступилась, отдергивая ноги от нащупа настороженных посохов. В шап-

ки мальчиков, цепляя отлохматившуюся лоскутами подкладку, падает медь.

А ходите вы по времени...

— Как на питерский большак выйти? — спрашивает под напев передний вожатый. Слепые стали, выпятив к небу мертвую бель опорожненных глаз, перекатывая, под клочкастыми бородами кадыки на желтых, морщинами взрезанных шеях. Посохи — упором вперед, в притоптанную траву.

— Было те сказано: вправо держи, стороной. За березами вона тропа. По ей — до коровьего дома: крыша крутая, красная, черепицей крыта — сразу приметно. Обогнешь ее — тут тебе и шоссе.

— Спаси Христос.

Пошли. Не поют больше. Но толпа смотрит им вслед, тихая.

Бирюков осматривает ряды и трясет головой недовольно.

— Товарищ Борис имеет слово.

— Я просил, — напоминает Игорь. Никита трясет его за рукав:

— Брось: не видишь, что ли?

Борис прокашливается, снимает фуражку.

— Ты покрепче, — шепчет Бирюков. — Вишь, напели... перехожие...

— Товарищи! — голос у Бориса глухой, не сразу разгорается. — Революция идет, и никакие силы ада и мрака не остановят ее пришествия.

— Это ты о ком? — задорно и визгливо отзывается из задних рядов молодой бабий голос. — Сам — семя антихристово.

Митинг колыхнулся, переглянулся, молчит. Борис продолжает, стиснув зубы:

— Не остановят! Только не поддавайтесь на посулы, не верьте ни начальству, ни буржуазии, каким бы сладким голоском она ни пела. Заговорит глаза и продаст. Необходимо народное правление. Установить его может только Учредительное собрание.

— Наддай круче, — снова шепчет Бирюков. — Глянька: народ расходиться начинает.

— Добыть Учредительное можно только с бою. Товарищи рабочие, вооружайтесь, собирайте силы, готовьтесь нанести удар старому порядку...

Митинг, огромной, потемнелой льдиной залегший на зеленом лугу, медленно оттаивал по краям. Вразброд и кучками, люди тянулись к лесу.

— ...путем всеобщих стачек, вооруженных демонстраций и восстаний...

— Ка-за-ки!

Кто крикнул? Толпа шарахнулась. Зарябили в глазах картузы, платки, плечи.

Бирюков — на Борисовом месте:

— Организованно, товарищи! Какие казаки! Откуда? Не расходись: резолюцию принимать будем.

Митинг таял. По всему солнечному полю — быстрые пестрые пятна.

— Организованно, товарищи! — еще раз, надрывно, крикнул Бирюков. — Я вам говорю: никакой опасности...

. . . .

Нас оставалось у «трибуны» десятка полтора человек. Бирюков крикнул еще раз и вытер пот.

— На-род! Тоже... массовка!

— Слабы сознательностью, — хрипло сказал кто-то.

Бирюков пожал плечом.

— И то, откуда ей быть. Это разве рабочие? Тут кто: аппретурщики да плотники. Мало что не от сохи. Это тебе не Московская застава.

— Заторопились... Глянь-ка: бёгом пошли.

— Позðрили что, похоже...

Бежавшие один за другим пропадали за деревьями. Луг опустел.

— Что ж нам торчком стоять середь поля? Идем, что ли?

— Итти-то все же с опаской надо бы. Народ-то не зря побег. Как бы чего не вышло.

— Мало их зря бегает, — презрительно протянул Никита. — Аппретурщиков-то!

— Береженого, брат, бог бережет. Нагайкой-то окропят не велика сласть. А ежели в каталан — на выпись из столицы? Переждем, чего тут.

— Ходим, — решительно сказал Бирюков. — Тут у нас местечко одно, особо приспособленное. Приходилось, когда, отсиживаться.

Мы втянулись в лесок. Похрустывал под ногою сухой, заждавшийся осени валежник.

. . . .

За валежником — папоротниковая заросль.

— Осторожней, товарищи, папоротника не ломай, приметно.

Спустились, отгибая перистые в рыжих завитках шершавые листы — в сырую, мшистую низинку.

— Здесь.

— Вот те и приспособлено!

Вправо, влево — сквозь сетку рубчатых стеблей, сквозь жидкий перелесок, меж шапок мухоморов, багреющих по проплешинам заросли, под чахлым березняком, — видно далеко, на выстрел.

— Тут по женскому делу и то не схоронишься. Одно слово — меньшевистская конспирация.

— Легче на поворотах, Никита!

— А вам теперь что ж, товарищ Борис? Вы будто из малых — в большие подались? Так, что ли?

— Ну и подался — тебе какая забота.

— Как не забота: у нас, чать, с большевиками по боевому делу блок: на основе межпартийного соглашения. Обольшился — мы, стало быть, с тобой как бы в родстве. Правильно говорю, товарищ Игорь?

Игорь сидит, подвернув кверху острые, щупленькие коленки. Он поджимает губы и забрасывает за ухо шнурок пенснэ.

— В родстве? — глаза тускнеют, по-нехорошему. — Наших рабочих к себе отбивать: затем только и блок.

— Чего вы, товарищ, — миролюбиво тянет Бирюков; вместе с Митрохиным, районным организатором эсеровским, он примостился на кочку, спиной в скат низины, в мягкий податливый мох, и благодушествует. — Отмитинговали, так скажем, и буде: теперь опять приятели. Тем более, что у вас по мужику главный упор: рабочий для вас, как бы сказать, — по второй линии. А так ежели судить — на одном деле стоим: чего пыняться-то.

— Это правильно, — поддержал Никита. — От разговоров все: было бы дело — не было бы пыняньья. Живо бы разобрались, что к чему.

— То есть как «было бы дело»? — строго спросил Игорь. — А теперь что же, по-вашему, мы делаем?

— Это как понимать, — с неожиданным раздражением сказал Никита. — Я о своем. Я вот — пятый месяц в боевой дружине. Слово-то какое! А на поверку — звание одно: наехал солдат на палочке верхом — расходись, дай дорогу! К чему нам тогда оружие дадено? Так народ ни в жизнь не осмелеет...

— Сколько раз говорено, — поморщился Игорь. — Отдельные партизанские выступления только дезорганизуют силы. Надо ждать сигнала к общему выступлению.

— Пока солнце взойдет, роса глаза выест. Чем у нас силы мало? Силы, я скажу, в-во! Чего, говорю, ждете? Накопление! Жадность одна. За кем, спрошу, тоните? За аппретурщиками! Это разве рабочий? Ты ему о самодержавии, а он семячки лузгает.

— Не дело говорите, Никита, — вступился Борис. — А на войне как по-твоему: увидел неприятеля — так сейчас и лезь в драку? Там маневрируют, надо маневрировать и здесь.

— Война — другое, — упрямо тряхнул волосами Никита. — Там, действительно, берется винтовкой или, как сказать, огнеметом. А в нашем деле — духом надо брать. Огнеметом его разве возьмешь, самодержавие!

— Ну, о духе-то вы, товарищ, бросьте, — усмехнулся Борис, — это та же поповщина, только навыворот. Организация, средства, план — вот в чем вся сила. На этом партия и стоит.

— По-книжному, по-чита́ному — оно может и так, — протяжно сказал Митрохин. — Однако по жизни нашей, надо сказать, так не оказывает. Недалеко ходить: скажем, слепец.

— Что слепец? — нервно отозвался Игорь.

— Откуда у него, скажем, сила?

И Борис и Игорь улыбнулись брезгливо, но ничего не ответили.

— От правды, — учительно и твердо сказал Митрохин. — Кто как, а они правы, слепые-то.

— В чем правы?

Митрохин помолчал.

— Как уже выразить более доступно, не знаю. В жизни своей правы.

— Перед кем правы-то? — ухмыльнулся Бирюков. — Перед теми, что ли? — он мотнул кепкой в сторону лужайки. — Послушали и потекли... во сретение... Зрячие

— Потому и потекли, что духу нет! — запальчиво крикнул Никита. — Был бы дух, небось остались бы. В кусты не поперли.

— Да что ты все: «кусты, кусты»! — в свою очередь загорячился Бирюков. — А ежели в самом деле казаки? Что ж нам, по твоему толку: башку подставлять? Приставная она у тебя, что ли?

— Не серьезно это, товарищ Никита.

— Холодного вы существа человек, товарищ Борис.— Никита поднялся на колени. — Начетчик. Вот и товарищ Игорь тоже. А у меня, да и у других ребят наших — верите — сердце дрожит. Который месяц! Все завтра да завтра. А сегодня бьют и завтра бьют. На заводе — размахнулись-было. Эх, ухнем... Стачка! Мастера на тачке вывезли — в мусор носом, любо! А он, гляди, ныне опять в книжечку пишет. А комитетские: «помолчи», говорит, да «затаись», говорит, да чтобы не громко — кружок провалишь. Вся Россия как есть на под'ем стала, а вы — кружок. Зачем тогда маузера выдали? Вот этак его под рубахой таскать?

Игорь строго посмотрел на Никиту.

— А вы что же, не знаете, товарищ, что оружие на митинги брать запрещено?

— Знаю, как не знать, — осклабился Никита. — Я его завсегда беру. Разве угадаешь, когда пригодится. Намедни за заставой подвернулся околоточный на обходе. Ночь, вокруг заборы одни. Чик. Шуму от него немного: только вонь пошла, от околотка-то.

— Ну-с, это... — еще строже начал Игорь. И оборвал. Справа из-за деревьев — почудился или нет — далекий человеческий голос.

— Кричат никак?

Прислушались еще. Крик повторился.

Никита вскочил на ноги.

— На слух — на большаке кричат, к ферме.

— Тише ты, — прижал его за плечи тоже вскочивший Митрохин. — Затаись, братцы. Человек по лесу.

— Наш! — присмотревшись сквозь папоротники, сказал Борис. — На митинг: я ему сказал — к трем часам, и оповестить не успел, что перенесли на двенадцать.

— Экой барин по обличью, — сощурил глаза Бирюков. — С тросткой, не иначе. А тоже, скажи, партейный?

Борис слегка покраснел.

— Да, и надежный партиец; давно работает, и сейчас — на очень доверенной работе. На людях редко показывается: на заводы ему ходить нельзя, чтобы не попасть на примету. Так он очень просил: на сегодняшний митинг... соскучился в затворе, без людей. Такая досада — не успел оповестить: очень с ним трудно сноситься.

Человек был уже близко. В чистенькой, проглаженной чесучевой паре, румяный, толстенький, золотые очки перед серыми, маленькими, острыми глазками.

— Коли свой — надо окликнуть. Пробродит зря, искавши.

Борис поднялся и сложил рупором руки:

— Николай!

Румяный остановился, повернул голову, подхихикнул и подошел зигзагом, тщательно давя мухоморы.

— Залегли, герои отечественного освобождения! — Он сощурил глазки за очками и снова подхихикнул. — Выбрали местечко — можно одобрить. Воздух — благодать: после подполья-то. А-ах!

Он широко, по-карасьи, раскрыл рот.

— Хвоя, ландыш!

— Ландыш-то откуда... — улыбнулся Борис. — Вы поэт, Николай.

— Благодать, — повторил он, жмурясь. — Ну, а там как? Собрались уже?

— Простите вы меня, товарищ Николай. Не смог вам дать знать. Митинг уже разошелся.

— Разошелся? — серые глазки испуганно и злобно блеснули из-за очков. — То есть как разошелся?

— Мы начали на три часа раньше, — виновато опустил голову Борис.

— Незадача, — скривил губы Николай. — Давно разошлись?

— Только что.

— Так... А я-то думаю: кого это драгуны на шоссе лупцуют.

— Драгуны?

— Как же, как же! Тоже опоздали, по видимости. Я шел — а они по шоссе, на рысях, на рысях — в окружение метили, надо думать. Отсюда разве не слышали?

— Слышали, — хмуро отозвался Никита. — Я и то было... — Он снова вынул маузер из-под блузы.

Серые глазки дрогнули и сузились в щель.

— Может, еще у кого есть оружие?.. Вот лихо бы было. Поучили бы опричников.

— Что вы такое говорите! — возмущенно выкрикнул Игорь.

— Очень просто. До коих пор давать своевольничать. Они лупят, а мы, революционеры, смотрим. А казачье день ото дня лютее.

Никита, молча, поднялся, нахлобучил картуз и пошел, проламываясь целиной.

— Куда, Никита? Назад!

Мы все вскочили. Но Никита, не оглядываясь, пригнулся и бросился бегом, треща сучьями. Пока мы, обрывая ногами оползавший прядями мох, выбирались из низины, — он исчез за деревьями.

— Не угнаться... как пошел, — тихо сказал Бирюков. не глядя на нас.

Митрохин снял шапку и перекрестился.

— Об упокоении раба божия Никиты.

— Да что вы, в самом деле, — взялся за голову вздрогнувшими руками Игорь. — А еще в партии!

— Партия — она партия и есть. А о душе тоже подумать надо. Душу-то загубили, а? Душу-то, говорю. Где Микита? Я вот тебя спрошу, господин золотые очки.

Николай снял шляпу и отер лоб.

— Я, в сущности, не понимаю, почему он, собственно, от нас убежал? Что я сказал такого?

— Не понимаешь? — потряс всклокоченной бородою Митрохин. — Поймешь! Это, по-твоему, что?

За лесом сухо стукнули вдогон друг другу — один, два, три выстрела.

Лицо Митрохина сразу стало спокойным. Губы улыбнулись. Он тихим движением подтянул пояс.

— Что ж: пойтить и мне.

Игорь цепко ухватил его за плечи. Спавшее пенснэ нелепо и гадко плясало на шнурке.

— Нет! Нет, это уж оставьте. С ума сойти! Не пущу.

— А ты что — свечку поставишь за упокой, али в газете напишешь... и квит... барин! — снова, потемнев, хрипло сказал Митрохин. — Пусти! Шутишь, что ли? Книжку убери — о смертях дело. Ты кровь-то видишь сквозь стеклышки? Я сквозь лес вижу.

Он оттолкнул Игоря и, тяжело ступая, пошел по следу Никиты.

Николай засунул руки в карманы и тотчас вынул их снова.

— У кого еще, товарищи, есть оружие? Надо итти.

Митрохин резко обернулся и стал.

— А у тебя есть?

— У меня нет, — пробормотал Николай, растерянно оглядывая нас. — Я у них спрашиваю. У меня — нет.

— Ну, и у нас нет. — Митрохин повел плечом и медленно подошел обратно к Николаю. — Ты куда зовешь-то? Я, на уходе, не дослышал.

— Я... на выручку: если у кого есть оружие... Пойти вместе... нельзя же так оставлять.

— На выручку! — протянул старик. — Вишь ты какой. А я-то, было, подумал — прости ты меня, Христа ради. Ну, иди, я посмотрю. Иди, говорю.

— С вами?

— Нет, — зло рассмеялся Митрохин. — Я, брат ты мой, видишь ли, струсил. Жизнь свою пожалел. Миките-то какая выручка. Только три раза и стрелил: слышал? А в пистоле — снаряду сколько? считал когда? Три раза, как это понимать? Больше стрелить не дали. Вот я и струсил. А ты не струсил, зовешь. Ну и пойди. Оружия нет? Вот оно, голубок. Тяни руку.

— Товарищ Борис... Что же это, в самом деле?..

— Не надо, Митрохин. Стыдно.

— Стыдно? А мне и невдомек... Ну, прости, коли обидел. Бирюков, идем к себе, что ли. Вишь она, беседа-то, расстроилась.

— Я зайду к вам, повечеру, — быстро сказал Игорь.

— Заходите, товарищ. Насчет кружка поговорить? Поговорим, обязательно. Как же! Первостепенно. Я же организатор: что же у меня — понятия нет? Обязательно заходите. Я и из ребят которых покличу. Счастливо.

— Надо и нам, — сказал Борис, глядя в лес, в сторону шоссе. — Если там, действительно... они обыщут окрестности... Товарищ Михаил, вместе?.. До завтра, Николай. В семь часов, у Фанни. Свободны?

Николай сморщился весь и облизнул широким, белым под налетом языком сухие губы.

— К Фанни — нельзя, товарищ Борис. Там... провал был.

Борис вздрогнул и остановился.

— У Фанни? Быть не может... Это же не явочная квартира. Кроме Организационного комитета...

Николай развел руками.

— Не знаю. А только... вчера у меня там встреча назначена была с Александром. Прихожу, полон двор полиции... не опоздай я, всыпался бы, как кур во щи.

Борис шагнул к нему.

— Что вы говорите! А... Александр...

— При мне на извозчика сажали.

— Александра? — задыхаясь, выкрикнул Борис. — А вы смеялись... Ландыш!.. Разве вы не понимаете, что он такое — Александр?.. Ведь это — конец!

— Ну, что вы, товарищ Борис. Сейчас уж и конец... Молоды вы... Революция не делается без жертв... Сколько на своем революционном пути я уже видел потерь... А она идет и идет, революция... Что для нее один, хотя бы и ценный, человек!

Не дожидаясь больше Бориса, я пошел через лес, к шоссе.

ГЛАВА II

ХРАНИТЕЛИ

На шоссе — пусто и пыльно. Я свернул влево, по питерскому направлению.

Дорога — под уклон, мимо дач, ровненьких, как курятники. Веранда, крашеные перила, от перил вверх — парусина с красными фестончиками, от перил вниз — настурция на веревочках. Перед верандой — клумба, маргаритки бордюрчиком, бархатки и петушьи гребешки; посредине — на сером столбе — дутый шар золотого блеска или гипсовый амур. Крокетная площадка, гамак. И опять: гамак, крокетная площадка, веранда, фестончики вверх, настурции вниз...

Никита — мой выученик. А вот чего-то не принял от меня. Ушел. И уже — не первый.

Веранды, фестончики, настурции, пыль по дороге. Сзади топочат, нагоняя, ерзающие по булыжнику, неверные, словно пьяные, торопливые шаги. Обернулся: Николай. Он махнул рукой. Я остановился.

— В город? Ну, вместе пойдем. Вы не остерегайтесь: я, даром что старый партиец — и в Харькове работал, и за границей и здесь, — а, не поверите, по сие время под собственной фамилией легальнейше живу. Ни разу не проваливался. Фартит, как говорится.

Он подхихикнул, как тогда, когда подходил к нам в лесу.

— Смотрите, не сглазьте

Он сбился с шагу и посмотрел на меня искоса.

— А вы разве верите в сглаз?

— Верю, конечно.

— Шутите, — убежденно сказал он. — В сглаз нельзя верить.

Я промолчал.

— А я за вами гнался вот почему, собственно. Мне о вас Борис кое-что говорил.

— Не верьте.

— Чему не верить? — моргнул он глазами.

— А вот тому, что обо мне Борис говорил.

— Нет, я серьезно. Я, видите ли, от меньшевиков уходить собираюсь.

— Что так? Вы же говорите: вы — давний партиец, коренной, так сказать. Как же так: вдруг уходить.

Он вздохнул.

— Сомнения у меня. Программные. Пока в Женеве был, при старших, так сказать, чувствовал под собой твердый упор. А сюда приехал...

— Жидковато? Насчет упора?

— Не то чтобы... Но надо сказать, не то. И провалы! Вы не поверите: за две недели третья типография проваливается... Литература — ни один транспорт не дошел... Как повезут, так и провалят.

— Провокация?

— Я и сам думал: докладывал Организационному комитету. Следил, и другие следили... Нет, никаких признаков. Вернее — от молодежи это: все с молодежью приходится работать — студенты, девицы... это разве работники? Очень несерьезно. А и работа из-за провалов останавливаться начала. Вот я и надумал переходить.

— Что же, переходите к большевикам — с Борисом вместе.

— Не лежит сердце, — скривился он, старательно взгоняя спиралью пыль из-под камышовой тросточки. — Узкий народ, знаете; фанатики, уперлись в одну точку. Диктатура пролетариата! А пролетариат у нас, извините, в руку сморкается. Далеко ль уедешь? Я, — он быстро оглядел меня из-под очков, — я к эсерам думаю. Как по-вашему?

— Так ведь у социалистов-революционеров программа совсем другая.

— Ну, чем же другая, — примирительно сказал Николай. — Это так на митингах раздувают, чтобы веселей было слушать: насчет аграрного и всякое такое. По существу какое расхождение: они за свержение и мы за свержение, они за Учредительное и мы за Учредительное. К тому же я — техник. Какая разница! Вы, позвольте спросить, почему не марксист?

— Может быть потому, что не читал Маркса.

Николай круто остановился.

— То есть как не читали? Быть этого не может!

— Почему не может?

— А как же вы тогда с нашими спорите?

— А я и не спорю.

— Ну, если не спорите, тогда... действительно, — пробормотал Николай. И вдруг дернулся. — Да вы опять шутите!

Придорожная тропа отошла от шоссе, на косогор, под сосны. Мы поднялись скатом. Ноги скользили на гладких иглах осыпавшихся хвой. Николай ударил себя ладонью по колену.

— Смотрите-ка! Вот сюж-жет!

У поворота, под косыми, сквозь ветви, бликами солнца, стояла черноволосая девушка, в белом кружевном платье. Улыбаясь, она махнула широкой соломенной шляпой, которую держала в руке: змеями скользнули по воздуху пунцовые, яркие ленты. И из кустов, под самым ухом — ударил неожиданный и острый окрик:

— Ни с места. Руки вверх!

. . . .

Из-за можжевеловых веток поднялись две безусые головы в красных лейб-драгунских фуражках; блеснули серебряные погоны на кителях.

— Сдавайтесь, Сережа! — крикнула девушка. — Вы окружены! Кама, Владимир Павлович, — держите его.

Николай, остановившийся при окрике, оправил шляпу и, не подымая головы, не прощаясь, быстро проковылял мимо. Драгуны вышли на дорожку.

— Откуда в таком виде? — Кама потыкал стэком в высокие голенища моих сапог.

— С охоты. Здравствуйте, Надя.

— Ага, теперь здравствуйте, а до сих пор где пропадали? Это называется — «друг детства»: глаз не кажет. Хорош! А вам идет: блуза, высокие сапоги... совсем, как на тех, на туркестанских карточках. Правда, Кама? Вы действительно с охоты?

— А вы почему сомневаетесь?..

Надя смеется и качает головой, прищурясь, —

Что вы,
Трущобой вы не шли,
Лохмотья ваши новы
И даже не в пыли...

— А ружье где? И этот... как его называют?.. с висюльками...

— Оставил у Назимова. Я с ним ходил.

— Проверим, — хладнокровно сказал Кама. — Папа и то говорит: надо тебя взять под наблюдение. Бывать перестал — папе не с кем в шахматы играть. Знаешь, все-таки неудобно. Что ты сестрой неглижируешь, это я понимаю: девица — какой с нее толк. Но — pére! Человек пожилой, сенатор! Надо почтение иметь. Володя, берись — кинем его, по Иловайскому, с Тарпейской скалы.

— Гоп!

Путаясь в траве, обламывая ветки налетавших на нас на скате кустов, — мы, переплетшись руками, скатились по откосу к шоссе. Надя сбежала по дорожке

— Идем к нам. Тут совсем близко.

И вдруг остановилась.

— А тот... monsieur...

— Какой monsieur? — Я сообразил не сразу.

— Тот, что с вами был.

— Ну его... — сморщился Кама. — Где ты такого типа подцепил? Давно ли ты с бухгалтерами знаешься?

Надя ударила драгуна прутом по фуражке.

— Бухгал... Ты всегда какую-нибудь гадость придумаешь, Камка.

— Откуда ты взял, что он бухгалтер?

— По очкам и по роже. Обязательно растратчик. Этакая поганая физия. Нет, всерьез, что за человек?.. Это ничего, что ты его бросил?

— Да нет же. Он ведь, в самом деле, помощник бухгалтера нашей академии. Нагнал меня по дороге. Он — тоже в город.

— Ну, и чорт с ним! Идем к нам.

— В этаком виде? Невозможно.

— Брось! У нас сегодня чужих не предвидится.

— Меня в городе ждут.

— Ждут его! А, Надя, слышишь? А, каков! Его ждут! Успеешь. Я разрешаю тебе взять мою сестру под руку. Володя, труби поход.

Мы пошли назад, к Озеркам. Опять—веранды, фестончики, клумбы.

— До поворота. Потом налево и в гору. Мимо Бревернской дачи.

— Бреверн? Генерал-ад'ютант?

— Он самый. Как же, соседи. Надя с Магдой Бреверн — взасос. Видишь, до чего ты от дому отбился: даже таких событий не знаешь.

— Парк у Бревернов... — Надя даже зажмурилась. — Сказка! Цветник какой! Садовник говорит: полторы тысячи роз одних... Пруд...

— С лягушками, — баском сказал второй, молчавший до тех пор драгун. И захохотал.

— Люблю Володю, — вздохнул Кама. — Эскадронный по зависти говорит, что у него на скором аллюре голова на четыре корпуса отстает от шеренги. Но зато уж если он что скажет, то обязательно умное.

— Вы Бревернов не знаете?

— Нет, не приходилось встречаться.

— Обязательно надо вас зазвать, когда они будут у нас обедать. Держите тогда сердце двумя руками.

Кама прищелкнул языком.

— Да, дурного слова не скажешь. Классная будет женщина. Вот по-рода! Но на один повод заезжена.

— Кама! — возмущенно крикнула Надя. — Как ты смеешь так говорить! Я вот пожалуюсь maman. Этакая казарма! Он глаза вам отводит, Сережа. Сам сон потерял, по два раза в день бреется.

— И по два раза в день режется... — с расстановкой произнес Володя. И остановился.

— Кавалерия идет. Слышите?

В самом деле, из-за поворота — частое, быстрое, многое... цокание копыт. Ударил залихватским перезвоном бубен.

Черная Галка,
Чистая полянка,
Жинка Марусенька
Черноброва...

— Ей-богу, наши песенники. Остапчук, запевала — другого голоса нет.

Песня оборвалась. И, лихо заезжая левым плечом, в пыльном облаке, выдвинулись во всю ширину дороги конные шеренги. Впереди, распустя поводья, ехал на рыжей кобыле усатый, красивый офицер. Увидя нашу группу, он быстро подтянул повод и загорячил лошадь.

— С проездки, Арсеньев?

Арсеньев—рука у козырька заломленной фуражки—под'ехал к нам, пропуская пыливщие ряды эскадрона.

— В наряде. Гоняли за Озерковский лес на социал-сборище. Надежда Владимировна! В пятницу ждем — в полковом собрании: Кама говорил?

Шеренги уходили. За хвостом колонны тянулась забросанная сеном пустая телега, под эскортом двух драгун.

— Ты что это сегодня с обозом второго разряда? — фыркнул Кама. — Ся-ся, реквизнул порося?

Телега прогромыхала мимо. Из-под сена — ровными, серыми, шершавыми квадратами — выпятились к нам, постукивая от толчков друг о друга, — четыре одинаковых, ровных, тяжелых подошвы.

Надя вздрогнула.

— Что это?

— Аксентьева, из второго взвода, стукнул какой-то, извините, пролетарий. На месте, в Озерках, полиция не признала. Тащим эту падаль в Петербург — пусть там разбираются... Кусаться начинают господа-социалы... Ну ладно же!..

Он стиснул зубы и резко дернул повод. Лошадь шарахнулась и застыла опять, под тяжелой рукой, натянувшей удила.

— В меня стрелял... Аксентьев бросился: угораздило — под самое дуло. Две пули. На месте.

— Ужас какой, — проговорила Надя, стискивая руки. — А он как же?

— Он? — жестко усмехнулся ротмистр волчьим, хищным оскалом. — Драгуны в шашки взяли — моргнуть не успел. Аксентьевский взвод — в полку первый по рубке. Будьте уверены — чистая работа.

Он помолчал и тронул шенкелем лошадь.

— Так до пятницы, Надежда Владимировна. Потанцуем!

Он отдал поводья и крупным галопом поскакал догонять далеко уже ушедший эскадрон.

— Ужас какой, — повторила Надя. — Что же это теперь будет? Это ведь уж даже не революция, если так... друг друга... Ну, Плеве убили: это я понимаю. Он — министр, они — революционеры. Он их вешает, они его убивают. Это очень правильно. Но солдат — рабочего, рабочий — солдата — ужас!.. И как же Арсеньев мог их — так ужасно, на телеге рядом...

— Ну, Арсеньев твой... Жаль, не попал пролетарий ему в лоб, показал бы ему ротмистр фокус: пуля в лоб, вышла бы в затылок — ничего не задевши. Это, брат, не со всяким бывает. А Аксентьева жалко.

Хороший был солдат... Володя, помнишь, это тот, что у барона денщиком был: белокурый такой, с веснушками.

— Кама, перестань, я, право, заплачу.

— А что тебе стоит: поплачь. Володя, ты о чем думаешь?

Драгун оттопырил губу.

— Надежда Владимировна возмущается, что они — друг друга. А я думаю: а вдруг, если бы они — да не друг друга.

— Вот видишь, Надя, он всегда что-нибудь умное скажет. Ну, пошли?

— И зачем только мы их встретили? — жалобно проговорила Надя. — Это мне весь день испортило. А так было хорошо...

Кама повертел стэк между пальцами.

— Время! От этого, брат, не спрячешься. Что ты, старуха, что ли — покойников бояться. Володя, скажи по этому поводу соответствующий ах!-форизм.

. . . .

Бревернская дача белелась с нагорья восемью колоннами фасада, крутыми ступенями уходивших к цветнику лестниц. Мы обогнули ее и маленькой, в колючем заборе запавшей калиткой вошли в соседний сад.

— Кратчайшим путем, через малинник, — командовал Кама. — Рекомендую, между прочим: совершенно исключительная малина. У нас, как видишь, дорожки не полоты, натуральная натура, не то, что у Бревернов. Наши, надо думать, в беседке. Господа, маме, храни бог, не проговоритесь о стрельбе. Вон она, на дорожке... Maman! ведем пленного.

Полная, пожилая дама, стоявшая у входа в белый, плющом повитый павильон, прищурила усталые близорукие глаза.

— Господи, я его в этом виде даже не узнала: богатым быть. С охоты, Сережа?

— С митинга, — выкатывая зрачки, зловещим шопотом доложил Кама. — Какие он нам сейчас ужасы рассказывал... если бы ты только слышала! Пролетарии всех стран об'единяются! Он председательствовал на конвенте: выбрано новое правительство. Во главе его...

— Бухгалтер, — подсказала Надя.

— Именно! Но... мама... ты не думай чего-нибудь дурного: в золотых очках. Очень представительный... Эдакий раскоряка... Фамилия его...

— Разве у бухгалтеров бывают фамилии?

— Володя! Ты — Кант-Лаплас! Конечно же, бесфамильный. Далее: в Озерках — новый строй. Коровы на ферме в недоумении: как голосовать по четыреххвостке — когда у каждой всего по одному хвосту. Огородники провозгласили капустную автономию. На Поклонной горе окопалась акушерка и стреляет из пушки.

— Кама! Что за жаргон, — укоризненно воскликнула Акимова, быстро показав глазами на беседку.

— Je vous demande mille excuses, chère baronne.

Кама закусил губу:

— Бреверны?

— Сережа, держите сердце.

За трельяжем в глубине ротонды я увидел высокого старика с седыми бакенбардами, с генерал-ад'ютантскими вензелями на защитном кителе; Акимова — отца, в летней тужурке; незнакомую даму, с пышными белыми, словно напудренными волосами; чей-то черный, тщательно расчесанный пробор и девушку в сером, китайского крепа, чуть приоткрытом на груди платье. Магда? Она не показалась мне красивой. Бескровные узкие губы, чуть заметная полоска бровей над синими

прищуренными глазами, худенькие, сгорбленные наклоном над впалой грудью плечи.

Бреверн посмотрел на меня с явным недоумением. Акимов, дружески похлопывая по плечу, представил меня. прибавив с ударением:

— Сын Дмитрия Петровича.

— А, — распуская морщины губ, сказал Бреверн. — Достойный человек был ваш батюшка. Имел удовольствие, — он пожевал губами, — и честь...

Я извинился за свой костюм.

— Брось, — махнул рукой Акимов, посмеиваясь. — Ты — свой человек. И потом — лето. И потом — такие времена!.. Магдалина Густавовна, хотя он по платью и смахивает на Стеньку Разина, — запишите за ним на первом осеннем балу шаконн.

— Я была бы рада, если бы monsieur оказался Разиным, — быстро сказала Магда, протягивая тонкую бледную руку. — Это было бы в стиле эпохи. Не правда ли, monsieur Юренич?

Черный пробор повернулся ко мне горбатым носом и кольцами холеных усов.

— Вы ведь знакомы? — пропела Акимова.

— Parfaitement, — поспешно ощеря зубы официальной улыбкой, ответил Юренич. — Еще по полку и по фехтовальному клубу. Правда, это было уже давно. — Он вздохнул.

— Давно? Но еще, кажется, года нет, как вы вице-губернаторствуете в этом вашем... Тамбове.

Юренич покраснел.

— Не растравляйте раны! Ах, эта провинция! Я чувствую, как я деградирую, день за день. Еще немного, и я разучусь говорить по-человечески и буду кусаться.

— Как Навуходоносор, — сказал остановившийся у входа драгун. — Он тоже был из провинции.

Кама почтительно щелкнул шпорами перед креслом старой баронессы. Акимов покачал головой, обращаясь к Бреверну:

— Беда нынче с детьми: нет у молодежи выдержки — не то что в наше время. Вот и этот: гвардии корнет, а изволили слышать, что он там — матери... Мальчишничает.

— Ваше превосходительство, — начал Кама, краснея и вытягиваясь.

— Ладно, ладно уж... ступай по своему назначению.

Кама снова, радостно, щелкнул шпорами и подошел к Магде и Наде. Туда же потянулся по стенке и Володя.

— Вы сейчас где? — вполголоса спросил оставшийся со мной рядом Юренич.

— Попрежнему, в Академии генерального штаба, в постоянном составе.

— А университет?

— И при университете, своим порядком.

— Женаты?

— Нет.

— А я вот... — он болезненно сморщился. — По-вашему, я не очень опустился?

— Почему вы думаете?

— Не знаю. Может быть, это ненормальность какая-то, психоз, но мне кажется, что я опускаюсь, что я теряю себя. По внешности — как будто все, даже train жизни тот же: я выписываю белье попрежнему от Артюра, перчатки — от Мориссон, я одеваюсь у Тедески; верховая езда, визиты, спорт — даже ломбер! Я сумел вытренировать себе там партнеров... увы, из чиновников... Даже ломбер!.. И тем не менее, мне кажется: не то, не то! Вы знаете, от этого можно с ума сойти. В этот приезд в Петербург я сам себе кажусь пятном на этом — таком при-

вычном для меня, еще недавно, фоне. Это парадоксально, это дико—но вы, в блузе и в сапогах, кажетесь мне более «здешним», чем я, хотя этот вестон — последний крик моды. Если бы вы знали, какое это болото—Тамбов! Тихий ужас...

— Вольно было уезжать...

Юренич развел руками.

— Надо же делать карьеру... когда-нибудь. Что могла мне дать, в конце концов, гвардия: командование армейским кавалерийским полком где-нибудь в захолустье, и дальше — тупик. У меня недостаточно связей и денег, чтобы выбиться на этой дороге. Приходится брать службой. А здесь, по гражданской линии, через два-три года я — губернатор. Мне, признаюсь, в этом отношении повезло. Эта смута... При энергии — а она у меня есть — легко выдвинуться. Я выдвигаюсь.

— О чем вы там секретничаете? — окликнула Надя.— Идите к нам. Кама тут на вас ссылается, monsieur Юренич.

— По поводу чего?

— По поводу осетра, которого мы ели вчера у конногренадер.

— Ты только не подсказывай: я сама буду спрашивать. Верно, что был осетр?

— Как же! Пожалован государем полку.

— Ага!—сделал торжествующий жест рукой Кама.— А ты не веришь!

— Осетр был поднесен его величеству рыбопромышленниками ввиду совершенно исключительных его размеров. Одиннадцать пудов! Государь был в этот день у конно-гренадер и пожаловал осетра.

— Но... разве одиннадцать пудов довольно на полк? Или это очень много: пуд? — Магда, улыбаясь, оглянулась на Надю.

— На полк, на восемьсот сабель, конечно, мало,—поспешно сказал Кама. — Но ведь ели одни офицеры: хватило вполне. Я же говорю: они пригласили даже на царского осетра лейб-улан и нас.

— Вкусно?

— Как сказать. Грубовато.

— Воображаю, сколько вы выпили, — укоризненно покачала головою Надя. — Не поверишь, сколько они умудряются...

— Виктор Викторович!

Юренич быстро обернулся на голос Акимова, к той стороне ротонды.

— Ваше превосходительство?

— Вы уже представлялись государю?

— Так точно. Позавчера, в Большом Александровском дворце, в Царском.

— Об усмирении докладывали?

— Так точно.

— Вы были на усмирениях! — Магда подняла на Юренича блеснувшие любопытством... нет, не одним любопытством... глаза. — Это очень ужасно?

— По условиям, в которых приходилось жить, да! — брезгливо повел усами Юренич. — Вы представить себе не можете, какая там в деревнях неописуемая грязь... И эти избушки, passez moi le mot — как грибы-поганки.

— Нет, я не о том. Они очень защищались?

— Кто? Мужики? — Юренич откинул голову и сдержанно захохотал. — Какая защита! Они же — дикие трусы, эти наши добрые православные мужички. На погром усадеб их еще хватает: взять штурмом веранду, которую обороняют два грудных младенца и кормилица; но против вооруженной силы... Они воют, но они не подымают руки. Я прошел с казаками четыре уезда — без выстрела.

— Я ничего не понимаю, — чуть пожала плечами Магда. — Но, в таком случае, почему говорят: «усмирение»... Что вы делали там в уездах?

Юренич, улыбаясь, провел рукой по волосам.

— Но это разумеется само собой: что делает власть, когда население бунтует? Мы... карали.

Кама засмеялся.

— Вот позёр! Он рисуется перед вами, Магдалина Густавовна. «Карали!» Отчего просто не сказать: секли.

Магда опустила ресницы. Юренич сделал сдержанный, но бешеный жест. Бреверн кашлянул.

— Его величество остался доволен вашим докладом?

— Его величество был чрезвычайно милостив. Доклад длился сорок две минуты.

Магда всплеснула руками, откинув почти до плеч широкие, мягкие рукава.

— Бог мой! Неужели вы на столько... насекли!

Драгуны и Надя расхохотались. Юренич покраснел до корня волос. Старая баронесса негодующе приподнялась в кресле.

— Mais, Магда!

— Сорок две минуты! — насторожился Акимов. — Вы коснулись каких-либо общих вопросов?

Юренич скользнул взглядом по веранде.

— Или... доклад имел конфиденциальный характер? — холодно добавил Акимов. — В таком случае я, конечно...

— Конфиденциальный? Да, — поспешно ответил Юренич. — Но здесь, в этом кругу, я не вижу оснований к каким-либо недомолвкам. Мои убеждения известны. Притом я закрепил официально и дословно то, что счел долгом верноподданного доложить его императорскому величеству. Не как свое личное разумение, но как убеждение дворянства... по крайней мере, того круга его, к которому я имею честь принадлежать.

— И это убеждение?.. — Бреверн внимательно посмотрел на Юренича.

Юренич не сводил глаз с Магды. Высокий, прямой и мускулистый, в безукоризненном — от галстука до белых ботинок — костюме, с упрямым и злым огнем в глазах — он был в этот момент очень красив.

— Мои слова записаны. Я могу повторить их точно. Я сказал: «Ваше величество! Происки международных врагов законности и порядка, сплотившихся во всемирный еврейско-масонский заговор, ведут отчаянную борьбу, в лице нашей родины — с христианством, просвещением и культурой».

Бреверн одобрительно кивнул головой.

— Это хорошо сказано.

— Я сказал дальше, — продолжал Юренич, все ярче блестя прикованными к Магде глазами: — «Ваше величество, всепреданнейше доношу. В настоящую минуту необходимо раз навсегда искоренить самоуправство. Аресты теперь не достигают цели. Судить сотни и тысячи людей невозможно. Необходимо приказать немедленно истреблять — именно и с т р е б л я т ь — силой оружия бунтовщиков. В губерниях, где к этому прибегают, это дало прекрасные результаты. Необходимо распространить эту меру на всю Россию».

Странно: у всех, даже у Бреверна — опущенные глаза. Только они — Магда и Юренич — смотрят в упор, в глаза друг другу.

— Вам удалось, однако, смирить вашу губернию и без этих крайних мер, — помолчав, сказал Акимов. — Но в общем я согласен с вами. Зараза ширится: в этих условиях кровь о д н о г о — благодеяние для т ы с я ч. Что сказал государь?

По лбу Юренича легла тяжелая, глубокая морщина.

— Его величество изволили... засмеяться.

Бреверн поднял седые, косматые брови.

— Засмеяться?

— Да. Потом государь отошел к окну, постучал по стеклу перстнем и сказал: «А вы не думаете, что если мы перебьем всех бунтовщиков, станет скучно? Между нами: что скучнее городского благоустройства?»

Акимов и Бреверн быстро переглянулись. Я видел: Юренич перехватил этот взгляд, и в глазах его мелькнули опять яркие, радостные, злые искры.

Надя захлопала в ладоши.

— У него есть вкус, у государя! Не хмурься, папа. Я больше не буду.

— Вы бы лучше на теннис пошли... до обеда. Такая погода, а вы под крышей, — следя глазами за мужем, сказала Акимова. — Вы разрешите, баронесса?

Драгуны, неистово звеня шпорами, побежали в дом — переодевать обувь для теннис-гроунда. Мы вчетвером — Надя, Магда, Юренич и я — спустились в цветник. Но не прошли мы и сорока шагов, как с порога павильона Юренича окликнул Акимов. Он радостно улыбнулся и повернул назад.

Мы молча дошли до малинника. Здесь я попрощался. Надя не удерживала меня.

ГЛАВА III

КОМИТЕТСКОЕ

К вооруженному восстанию мы стали готовиться уже давно: почти что с января, с гапоновского воскресенья. На этой работе между партиями контакт; не только «левыми», революционными, — тянут сюда же (осторожненько, правда) и «освобожденцы»—городские и земские люди; когда я в июле приехал из-за границы, — имел со мною по данному поводу конспиративнейшую беседу

в мезонине дома Новицкой на Самсоньевском «сам» Павел Николаевич Милюков.

Есть даже общий, межпартийный комитет по подготовке восстания. По составу — пестрый: анархист Арриан, — инженер по профессии, черный с клочкастой проседью в бороде, с жесткими глазами и жестким языком; радикал Маргулиэс — присяжный поверенный, толстоносый и мясистый, с пышнейшими волосами и пышнейшим, не в пример Арриану, разговором; эти два легальные: собираемся у них — потому знаем по фамилиям; знаем еще Парвуса — меньшевика: он не конспирирует. Остальные — нелегальные — под кличками: два большевика — Зимин и Владимир, два эсера. Я вхожу в комитет как один из двух представителей в нем Всероссийского офицерского союза и — неофициально — как представитель Боевого рабочего союза — беспартийной организации, сложившейся за заставами из безработных, главным образом тех, кому закрыт «черными списками» доступ на фабрики, с которых они уволены. Союз этот я «представляю» в комитете неофициально потому, что союзные дружинники ко всяким «блокам» и межпартийным соглашениям относятся отрицательно: не препятствуют сноситься, но и не поощряют. К интеллигенции у них явное и резкое недоверие: первым пунктом устава вступление в союз разрешается только рабочим. Я попал туда боевым инструктором в свое время, обжился, сдружился, был кооптирован в комитет, а к осени выбран председателем. Кроме меня партийцев в союзном комитете нет, да и в союзе самом их немного: партии к союзу тоже не тянутся, потому что состав в нем сплошь неквалифицированный: более квалифицированные, более развитые рабочие разобрались по партиям.

Заседания межпартийного комитета регулярны и часты: раза два в неделю. Арриан раздобыл из Городской

думы огромный план города — каждое владение под номером; к заседанию его вывешивают на стенке. Но наносить на него те данные, которые собирают разведочные группы, отданные комитетом под наше, Офицерского союза, руководство и ведущие обследование городских кварталов применительно к будущим уличным боям, мы воздерживаемся: не конспиративно. Так и висит план за нашими спинами во время собраний — символом некиим, огромный, пустой и бесполезный. Мы взаимоинформируемся. И молчаливо вносим поправки в сообщения друг друга, ибо совершенно очевидно, что «действительного» не говорит никто: каждый здесь присутствует для себя, для своей партии — использовать остальных, но не отдать им. И никто не дает себя, конечно, использовать. Мы собираемся, однако, регулярно.

Собрались и сегодня. Сообщили взаимно о ходе организации дружин, набавляя при указании численности наличных на полсотни — сотню по сравнению с предыдущим докладчиком. В общем итоге цифра получилась значительная. Потом, по вопросу о складах боевых припасов Маргулиэс долго и горячо спорил с Парвусом о том, в каком виде опасен в смысле взрыва пироксилин: во влажном или в сухом. Мы с Курским (штабс-капитан лейб-гвардии Финляндского полка, ближайший мой помощник по работе) слушали; затем Курский достал из кармана пироксилиновую шашку, положил ее посреди стола и ткнул в нее папиросой. Она загорелась: впечатление было сильное. Когда шашка догорела, демонстративно разрешив спор, я, с разрешения собравшихся, ушел. К вечеру надо быть еще на одном разговоре, за Невской заставой, в эсеровском партийном районном комитете. Бываю я там редко, но на сегодня обязательно надо быть, так как вопрос стоит о том же: о подготовке восстания, а с партией я связан специ-

ально по этой работе. Собрание у Карпа, с Семянниковского завода, в слободке за заставой.

. . . .

За заставой бывать — чудесно. Быт там голый. Но любое человеческое тело, даже прогнутое нуждой, под коростой, не режет глаз, как режет его, непереносно, приказчичий галстук — бантиком «фантези». Быт здесь голый. Голы и улицы, кривомощенные, меж серых, досчатых заборов, сквозь щели которых переглядываются через улицу пустыри с покосившимися домишками, осевшими в землю тылом или боком, давно обсыпавшими краску на прогнивший деревянный тротуарный настил: протибаются под ногою трухлявые горбыли. Голо.

Домик Карповский — из таких вот, тылом осевших; пузыристые стекла окон обведены вскоробленной временем и дождями, истрескавшейся резьбой, по-деревенски. Ставни зеленые, яркие: летом заново красил их Карп — с лицевой стороны: ни на ночь, ни на день не запираются ставни. Крыльцо со двора, в три ступеньки.

Мать Карпа, старуха, высунулась на стук. Ворчлива она, бабушка Пелагея, — не сказать!

Заворчала и нынче.

— Нет его, Карпа.

— Ничего, обожду, бабушка.

— Ты что ж, один, или опять, прости господи, народу нагонит? Нет на вас угомону!

— Не знаю. А только Карп наказывал, чтобы обязательно быть.

— Нет, говорю, его. Да заходи, коли приказал. Хозя-ин! Царица небесная, неупованные радости! Тьфу! Жили-жили, нажили.

В комнате стол, табуреты, скамья, икона с вербой, с фарфоровым яйцом на ленточке; часы стучат погнутым маятником, судорогой дергая черные стрелки по распи-

сному, розанами, циферблату. Я присел, вынул газету. У печки играл в чурки белоголовый мальчонок, Петь. Карп — вдовый. Петь растет без призору.

Старуха присела на скамью, оправила платок, пожевала губами. Вздохнула раз, другой. Пересела поближе.

— Чевой-то я сегодня сон неотвечающий видела. Будто, Машь, кошке нашей, ктой-то брюхо от'ел. Ей-бо! И так-то ровненько, рубчиком, кружевцо словно. И кишки все полопал, ей-бо. Брюхо-то пусто, а я ей, будто, печонку даю. Дашь, она с'ист, а у нее — сквозь горло да на пол. Вот страсть! К чему бы это сон такой?

Петь в углу прыснул.

— Хошь, бабка, скажу: я знаю.

— Кшысь, пострельный, — отмахнулась она. — Я вот тебя за патлы, как даве! Мати пресвятая: страха господня не стало, в котором ребенке — и ни на столько: в бабки играет — матерится.

Помолчали. Старуха пересела еще, совсем близко.

— Как бы мне тебя спросить, барин.

— Какой я тебе барин, бабка!

— Барин, — убежденно сказала старуха. — Рубаху рабочью надел, — обличье-то все равно барское. Скажи ты мне, Христа ради, зачем ты к нам ходишь?

— А тебе что?

— Да как сказать: сумно. Я так думаю: недобрый ты человек.

— Может, и недобрый, бабушка.

— Вот оно и есть, вот оно и оказывает. Смотрю я это на тебя и думаю: то ли мне тобой гнушаться, то ли тебе мною гнушаться. А только не быть нам с тобою вместях.

— Будем, бабка, будем.

— Ан не будем, ты меня не серди. У рабочего человека — обида. А у тебя что? Кто тебя обидел? Вона у

тебя ход какой: идешь, плечом трясешь. В жизни ты своей легок: вглыбь видно. А на рабочем человеке — обида. Обездоленный он человек. От зачатия самого, беспорочного, вот как! Вот он и злобится, он и злобится, согласно писанию. А твоя злоба от чего, ежели на тебе обиды нет? Недобрый ты человек!

Потрясла головой и пригорюнилась.

— Послушай ты меня, старуху: отойди. Отойди, говорю, от греха-то! Не засть ты нас!

Стукнула калитка. Старуха оправила платок и торопливо встала.

— Карп, должно. Ты Карпу-то не сказывай, свару накличешь, Карп-то тебя уважает: все «товарищ Михаил», да «товарищ Михаил». И на меня не обижайся. Я — что: немощная. О спасении души, по старости. Ты человек ученый, тебе что.

Карп вошел, прихрамывая.

— Митинг был, в цехе. Наши все там. Сюда идут скопом. А это вот — солдатик, с охтенских казарм, от тамошних, Захарченкой звать. Верно. упомнил?

. . . .

Подлинно: вошли скопом. Четверо рабочих, Игорь, Даша — секретарь комитетский. Игорь, здороваясь, скислил лицо.

— Не балуете посещениями.

— И без меня людно.

Карп заспешил:

— Мамаша, вы бы к соседке или как. Петь, пшел на улицу: под Сидоркиным забором ребята — в лунки жарят: тебя нехватало.

— Как помитинговалось?

— Н-на!—вскинул волосами Карп.—Наш цех по заводу первый: хоть сейчас выводи, как один встанут. Испытанный цех: большаки да наши—других почитай нет.

— Гапоновцы есть, — хмуро сказал Патрашкин (тоже с Семянниковского, слесарь). — Мало что есть, опять строиться начали, тройками, по особ-инструкции. Надо бы обсудить.

— Что же, поставим в порядок дня, — морщась и протирая пенснэ, сказал Игорь. — Товарищ Даша, пометьте себе на случай. Начнем, товарищи. Первый вопрос?

— Мой, — поспешно хмыкнув носом, сказал Захарченко. — Дозвольте первым. Время позднее: нам до поверки надо бы в казарму доспеть.

— Ладно, говорите, что у вас. От Новочеркасского полкового кружка?

— Так точно. По товарищескому полномочию, имею наказ: комитету в сведение. Первое—о кружковой работе. Что мало говорят действительного. Второе — важнейшее: послан к нам для кружкового руководства товарищ Молот; говорит исключительно о земельном, но вполне непонятно. Притом, — чтобы обидно не сказать: еврей. Для полкового дела это неподходяще. Просим сменить.

Он свернул трубочкой бумажку, по которой читал, и передал Игорю.

Игорь дернул зрачками сквозь пенснэ.

— Во-первых — сколько раз говорено, нельзя с собой такие записки таскать: и себя и других провалите. Во-вторых — что вы такое тут... о действительном. Я ничего не понимаю: какое такое «действительное»? Что касается того, что Молот — еврей, то заявление ваше уж окончательно недопустимо. Это уже явный, открытый антисемитизм, которого в партийной организации никак допускать нельзя.

— Да я говорил, — глухо отозвался Захарченко. — Но солдат — он темен, вашбродь, товарищ Игорь. Насчет еврея у него свое сознание: словом его не выбьешь. Ведь и так сказать, какой в нем, слове, вес? Воздух!

Опять же: вы говорите сейчас против действительности. А мы понимаем как? Партия, она для чего? Для скончания начальства. Мы и спрашиваем: каким манером кончать? А он — о земельном. На кой он нам, земельный! Что мы, извини, земли не знаем? Ты ее только возьми, а старики ее в лучшем виде поделят. Так один разговор выходит, а которого действия — нет.

— Вот отчего и развал у нас, — загорячился Игорь. — Айвазовцы, теперь вы... Действие! Говорили и повторяли: придет время — будет дан общий сигнал. Понимаете вы это: об-щий! А пока надо готовить для этого общего выступления кадры.

— Да мы кадровые и есть, — радостно встрепенулся Захарченко. — Так-то мы и говорим: взять кадровых в работу.

— Не об этом я! Я о партийных кадрах. Стыдно, товарищ Захарченко. Несознательность. Я переговорю с товарищем Молотом. Очевидно, надо будет еще усилить кружковую работу. Литературу-то читаете?

— Чтем, — нахмурился солдат. — Однако во времени.

Даша подняла глаза.

— Может быть, все-таки послать к ним кого-нибудь практически поговорить о восстании. Может быть, Михаил с'ездит?

— Ни в коем случае, — скороговоркой сказал Игорь. — Это чисто партийное дело.

— Но по его заданиям нужна же ему связь с массами, — возразила Даша.

Игорь пожал плечом.

— А комитет? Для связи достаточно. Мы не виноваты, что он этой предоставленной ему возможностью мало пользуется. Вы свободны, Захарченко.

Рванулась забухшая дверь. Одним меньше стало.

— Вопрос о восстании.

— Я имею директиву от ЦК снять его на сегодня. Вы не получили еще вызова, товарищ Михаил? Получите. Кто хотел говорить о гапоновцах?

— Я ставил, — встрепенулся Патрашкин. — Дело так. Ходит у нас по заводу гапоновское письмо с заграницы, революционно-религиозного содержания, с проповеданием всеобщего искуса и о том, чтобы подниматься с оружием. На основе того гапоновцы тройки строят: каждый подберет себе двоих: тройка. Тройка с тройкой — организация по всему району. Нам от этого дела в'яве урон.

— Урон? — поднял брови Игорь. — Но у Гапона нет, ведь, никакой программы.

— А что в ней, в программе? — отозвался Патрашкин. — У наших, ты думаешь, она как? И у нас рабочий — не столь по книжке идет, сколь по знаемости: кто к кому. По человеку определение, в смысле наибольшего доверия, — не по программе, не по книжкам. И ежели через программу — наших не столь от социал-демократов отличить: одной, так сказать, веры. Тем более, что по-нынешнему у нас с ними соглашение.

— Тем более должны оттеняться программные различия, — с ударением сказал Игорь. — Соглашение чисто *тактическое*; и допускать, чтобы это понималось как программное сближение, совершенно недопустимо. Социал-демократы, небось, так не рассуждают.

— Вы не серчайте, товарищ Игорь, — осторожно дотронулся ему до руки Карп. — Цех у нас до того дружный, прямо сказать, замечательный цех. Оттого и по кружкам суждение такое: пролетариат, скажем, один — стало быть, одной быть и партии: итти-то вместе, что ему, что мне. А программа — она дополнительно: вы ее так читаете, он — по-другому: но к существу дела это не идет. Суть — что у них, что и у нас.

— А аграрный?

— То-то что аграрный, — хмуро сказал молчавший до тех пор Мороз. Игорь насторожился сразу. Мороз — старый работник; у себя на заводе, у Торнтона — в очень большой силе: рабочие за ним идут.

— Зря мы с этим аграрным возжаемся.

Даша укоризненно качнула головой.

— Мороз, что вы?

— Верно говорю. На кой он нам, извините, ляд. Я сужу так: ежели я пролетарий,—крестьянин, как ни обходи, мне не кум. Землица, избица, коровушка, курица... А тут—завод! Ты посравни! Глянь в корень — увидишь!

Игорь прищурился.

— Что ж я увижу?

— Революцию без крестьян делать надо. Какая от них помощь? Вон, летось, по всей России как есть, мужик бунтом встал. А что вышло? Наклали ему, однако, по загорбку: сидит теперь, лапу сосет. Земляной народ, одно слово. Опять же — округа его тесная, начальства не достать; начальство оно — во где: город! Городские ударят — нет его, начальства! А по земле сколь ни шарь, не нашаришь.

— До этого и большевики не договариваются, — возмущенно выкрикнул Игорь.

— Я своим разумом: от деревни не столь ушел, знаю. Мужик, говорю, он — земляной. Ты ль ему землю кинешь, другой ли, — только бы сесть. А как сел — седлай его каким хошь седлом, лишь бы с земли не стыркали. Любую власть стерпит.

— Это совершенно невозможно, Мороз! — стукнул Игорь щуплой ладонью по столу. — Что вы такое говорите? Это вы и кружок так ведете?

— Так и веду, — хладнокровно кивнул Мороз. — Ребята одобряют. Без хвастовства скажу: первый кружок на заводе. От меня, брат, к другим не бегают.

Игорь зажал в кулак бородку. Верный признак, что он ставит машинку на долгий завод: будет говорить полчаса.

. . . .

Был уже поздний час, когда мы с Дашей последними вышли от Карпа. Бабушка, приговаривая, хлопотала у самовара.

Свежо, по-ночному уже. Даша кутает в вязаный тонкий платок слабые зябкие плечи.

Знаю я ее уже давно: года два — с тех пор как стал входить в здешнюю партийную работу. Два года знаю, а к глазам ее привыкнуть не могу: смотришь. и думаешь: как с такими глазами, от которых слабому плакать захочется, можно на свете жить?

— Ты о чем думаешь, Михаил?

— О тебе.

Она смеется тихо, почти без звука.

— А я о тебе.

— О том, что я сегодня говорил?

— Да. Не надо тебе вообще говорить на собраниях.

— Я и так мало товорю, только если уж очень что-нибудь непереносное. Но если я, по-твоему, был неправ — почему ты не возражала?

— Не прав? Кто, в сущности, может сказать, по-честному, что он прав? Не в этом дело. А вот: когда Игорь, например, говорит — чувствуется, что он думает о других, о людях. А ты — всегда о себе.

— Думать о себе — значит думать о всех людях. Я иначе не понимаю, Даша. Иначе жить нельзя. Жить только за себя можно, Даша.

— Вот, вот — в этом-то и разлад. Наша жизнь должна быть особая, Михаил: именно не в себе, не за себя — а за других, в других; в этом наше служение — оправдание тому, что мы делаем: и борьбы и крови. Постой,

дай сказать. Мы не случайно меняем имена, когда переходим на революционную работу: это не простая конспирация, это—если хочешь—крещение в новую жизнь, «совлечение с себя древлего человека», как в церковном катехизисе говорится. В этом огромная правда: надо креститься в революцию, как раньше крестились в христианство. А ты хочешь пройти революцию...

— Некрещенным? Ты чудесная умница, Даша. Дай руку и бросим об этом говорить.

— Не дам. Веры, веры нашей в тебе нет, Михаил. «Больше же сия любви никто не имат, да кто душу положит за други своя». Обязательно эту любовь надо иметь: без нее нет ни жертвы, ни подвига; без нее ты не пройдешь через кровь, через которую мы должны пройти: ты сломишься в первый же день, как почувствуешь кровь на руке.

— Если я приму ее как подвиг или жертву... Поверь, Даша, нет на свете более лживых слов, чем эти два слова: «подвиг» и «жертва».

— Михаил! На этот раз я, честное слово, рассержусь. Это у тебя от старого твоего. От тех, с кем ты до сих пор живешь, — от этой твоей гвардейщины.

— Чему она мешает?

— Нельзя в двух мирах быть: пока ты там — ты не можешь, не можешь быть совсем в революции.

— Почему? Ты мне вот что об'ясни, Даша. Когда я ездил на Памиры, в Гималаи, в голодную степь, в дикие, словом, места — я спал на грязных кошмах, и киргизы угощали меня кумысом, сдувая с поверхности густую пленку нападавших в чашку вшей. Я пил — смею тебя уверить — без гадливости. Но когда я возвращался в Петербург, попробовали бы мне в ресторане подать грязную салфетку... Что же, по-твоему, там и тут были разные люди? Я изменился в чем-то? А ведь ни тут, ни

там я нимало не насиловал себя; и там и тут я оставался «собой».

— Не знаю. Мне это непонятно. И у тебя разве так всегда было?

— С детства самого. Когда я был ребенком, у меня даже и философия, так сказать, особая была.

— Ребенком? — глаза Даши стали еще мягче. — Расскажи, тогда я может быть и пойму.

— Было так. В младшем классе еще: учитель, греческий, рассказал нам на уроке о Протее, что он способен был принимать любой образ, становиться любым существом, оставаясь все тем же собою, Протеем. Это меня ужасно разволновало. Я спросил учителя: значит, Протей — бог? Учитель был противный: ноздри мясистые, толстые, — фыркнул на меня и говорит... я до сих пор дословно помню: «бог — абсолют: он не может изменяться. И ему это вообще ни к чему, так как хотя он все может, но ничего не хочет: ему ничего не надо. Человек хочет всего и ничего не может. А тот, кто может все, что захочет, это — полубог. В этом разница категорий. Протей — полубог». Я усумнился искренно и сказал: «а, по-моему, Протей-то как раз и бог». Учитель пристально посмотрел на меня и сказал убежденно: «дурак». Но я на это убеждение не поддался, с этого дня «абсолютного» бога из себя вывел за доказанной его никчемностью, и у меня в мысли засело крепко, крепко: стать Протеем, научиться менять оболочки, оставаясь собой. Ведь только так и можно всю, всю жизнь узнать, если нигде не быть чужим: всюду входить как свой. Я тогда ведь думал только о том, как с м о т р е т ь жизнь по-настоящему, ни о каких переменах не думал, конечно.

— Ну, а дальше?

— Дальше? Я пробовал проповедывать это свое учение одноклассникам, назвал его даже «протеизмом», что-

бы они относились с уважением, как к ученому. Но они все-таки смеялись. Я бросил, оставил для себя. Потом это отошло, забылось. И только гораздо позже, когда пришлось подумать... вот над тем самым вопросом, который ты мне сейчас ставишь, опять всплыло это, детское. Всплыло смешливо. Потому что теперь я уже не просто смотрел, а пробовал уже — делать. Но отношение к быту — то же осталось, по существу: юрта — и салон: перемена оболочек — не больше.

— Оболочка не может не отражаться. В одном я совершенно согласна с марксистами: бытие определяет сознание.

— Бытие — не быт. Оболочка — это только быт. Ты делаешь грубейшую ошибку, Даша. Бытие и быт — это не одно и то же.

Даша посмотрела на меня пристально, с сомнением, и не ответила.

— Я даже больше скажу. Если бы любому из партийцев предложить для удобства конспирации получить мой паспорт, жить моею жизнью — каждый обеими руками ухватился бы за такую возможность. Разве не верно?

— Конечно. Но ведь для него это была бы конспиративная жизнь, а для тебя она — естественная.

— К быту такие определения неприложимы. На сущность жизни быт не может оказать никакого влияния. На перине и на досках — я одинаково остаюсь собой: почему я должен обязательно перелезть на доски?

— «Я» и «собой»! Ты индивидуалист, Михаил, оттого ты и в революции так: с партией, но не в партии.

— А ты не думаешь, что вся суть революции в том, чтобы научить людей одиночеству...

— Ты опять начинаешь говорить афоризмами.

— Афоризм — будущая пропись... Поедем на извозчике.

Даша скорбно вздохнула, пока я подсаживал ее в пролетку. На улице никого не было: можно не конспирировать.

ГЛАВА IV

ДРУЖИННИКИ

На завтра опять — за заставу.

По вторникам собирается вечером Центральный комитет Боевого рабочего союза. Штаб-квартира — за Московской заставой. Но на сегодня — какая-то перемена: мне дали знать с явки, чтобы я за заставу не ездил, а был к 7 часам у Николаевского вокзала, на углу Гончарной: там меня встретит Николай, секретарь союзный, и проводит, куда надо.

К 7 часам я не поспел: срочно вызвали в академию, освободился я уже поздно, к вечеру. Ехал к вокзалу, думал — уже не застану. Однако застал. Николай переминался на углу, около торговки семечками.

— Ты чего опоздал? Глянь-ка, на час цельной. Это разве порядок!

— Дело было, думал и вовсе не приду. Ну, что там у вас? Куда поедем?

Он улыбнулся, как всегда, одной левой половиной лица.

— Влево вертайсь, проулком к паровику. Ныне на заводе сбор, за Невской, у Садофьева Минея на квартире. За Московской, слышь, как бы сказать: замешательство вышло. Надо поостеречься.

— Начудили, что ли?

— Да за Снесаревым все! С которого времени гоняем: не дается, гадючья голова. До чего увертлив!

Он оглянулся и, свернув на мостовую, зашагал шире.

— Наддай ходу. И так с опозданием.

О Снесареве, действительно, давний в Союзе разговор.

Организатор черносотенцев, большой энергии и храбрости человек, среди рабочих пользуется влиянием и не раз уже срывал демонстрации и даже местные стачки, когда посулом, когда угрозой.

— Опять подбить пробовали?

— Чище надумали: дом ему спалить.

— Эка, головы!

— Нет, ты погоди. На дому у него, по слуху, боевого снаряду — пороху, патронов, бомбов — склад цельной. Мы и рассудили: ежели поджечь — чикнет его порохом ко всем чертям и с домом. Дом-то деревянный: палить его способно. Ну, и спалили.

— Спалили?

— Н-на, наши да не спалят! Пожарники приехали — тушить не дали: он — кишкой, а мы его — кирпичом.

— Да ты толком рассказывай. Ну, и народ: отчего не сказались до дела?

— Где тебя искать, поколи вызвонишь! А тут пришлось так: ребята в «Васильках» собрались почайничать — осенило как бы от духа свята, тут же и пошли.

На империале паровичка, что идет за заставу, народу густо. Но Николай не стесняется, говорит полным голосом. По заставам всякая весть быстрее газеты расходится. О Снесаревском пожаре и так все знают наверное: и кто, и как, и зачем.

— С места и пошли?

— Почему не пойти: дело — без сложности. Народу было нас шестнадцать человек: сила. Керосину две четвертных взяли, соломы пучков пять взяли, в пролаз, что под Снесаревской квартирой, зашли: там во двор с под'езда ход прямой, скрозь дом самый... Я тебе говорю,

способно... Соломкой посыпали, попрыскали, которые ребята цепью на осторожьи стояли. Огоньку подложили... Вышли... Как пошло драть, мать честна!..

— Разве можно так: он же не один в доме?

— Обязательно не один. Да дом-то, слышь, купца Елдыхина, того же Снесаревского толку — четырнадцать, я тебе скажу, домов за заставой — квартиры сдает не иначе, как по выбору: чтобы обязательно за царя бога молил. И выходит у него, стало быть, по всем домам, сволочь... Притом в Снесаревском доме верх за ним, а прочий квартирант снизу: а внизу — сигай сквозь стекло, прямо на улицу, низко: ногой с подоконника землю утыкнешь... А вверху один только Снесарев и был.

— С семьей? Он, что, женатый, Снесарев?

— Котельного цеху мастер, да чтоб без жены? Приставский сын, да чтоб без самовара? Обязательно женат. И щенят трое: последнего не так чтобы давно и родила. Под Спаса еще пузатая ходила, как кошка.

— Не пропали?

— То-то, что и нет. Я тебе говорю: до чего живуче змеиное семя! С под'езда-то мы ход прошпарили — не дыхнуть; а у него, видишь ты, еще и другой ход, с черного: не досмотрели. Так их по тому ходу... Снесарев-то сам поопасался выходить: пожарные его лестницей сняли.

— Неладно рассказываешь! Ты ж говорил: отогнали пожарных.

— Отогнали, до времени. Говорено тебе: ожидание было, что порохом чикнет. А он горит, но не чикает. Набрехали, видим, насчет пороху. До времени ждали, а как народ сбегаться стал, — по заставе-то, я тебе скажу, гул, — мы и отошли, чтобы без греха, чтобы лишнего разговора не было.

— Будет теперь с полицией возня: переберут вас, Николай! За-зря.

— Нипочем не приберут. Полиция нынче тоже со смыслом. Он меня сегодня взял, а завтра в ночь на пост, на-кось, выйди. Случаи были. Городовик, он тоже свое суждение имеет. Амуниция — амуницией, а башку пробьют, казна не залатает. На полицию жаловаться не приходится. По городу она еще грудь пятит, по безопасности; но за заставами — ходит в струне. Небось, никого не тронут. А вот снесаревцы — те, действительно, лютуют. Не остерегись — подобьют за милую душу. По той причине мы, для спокойствия беседы, за Невскую и переместились. Миней — за оградой, заводской; дежурный у ворот свой; на крайний случай мы ему парнишек из дружинников с пяток подкинули. Качай ногами, товарищ Михаил: приехали...

. . . .

У ворот завода, вправду, дежурили кучкой рабочие. Николай, пройдя калиткой, остановился.

— Тут Прутька выборгский должен пройти с вольным. Так вы, ребята, пропусти.

— Хватился! Они уже час будет, не менее, как прошли. Наши с какого времени собравши. Угорь опоздился, да и он давно тут.

Николай повел через двор к четырехэтажному стильному корпусу.

— Еще новость у вас, вижу: что за «вольный»? Вы тут чего без меня колдуете? Сняли, что ли, запрет с нерабочих?

Николай толкнул меня локтем в бок и ухмыльнулся

— Зачем снимать. Но, видишь ты, дело такое. Сам знаешь, есть у нас, по дружинам, которые мужики партейные. Им от своего комитету, меньшевистского, как бы сказать, прижим: через что и как — народу скоп без социал-демократии. Так мы, чтобы без булги, ихнего аги-

татора допустили для разговору. А что без тебя — ты не обижайся: это ж дело без значения.

— Почему ж тогда меньшевистского только? Если пускать, так уж всех.

— Н-на, всех! Всех пусти — распорют союз: будут день-денской на кулачки биться, заведут свару. Навидались на митингах, буде! Ни к чему. На то и союз: по кружкам — врозь, ну и пусть, большевик к большевику, эсер к эсеру, кто кого головой перебьет, а тут по общему делу, по боевому — вместе.

— Если так, зачем было меньшевика пускать?

— Вот непонятной: говорю, меньшевики настояние имели. Большевики, так сказать, об этом разговору не затевают: у них дружины свои, связь с нами держут — и ладно. У эсеров — тоже свое. А меньшевик — он, по боевой части, без призору. Только меньшевик и просился.

Мы вошли в под'езд под фигурным, гнутым навесом и узенькой, крутой, но ярко освещенной электрическими лампочками, лестницей стали подниматься вверх.

Николай ворчал.

— Казна! Свет жгут почем зря, без государственной экономии, фасад изразцом пущен, в штуку, для фасона, а квартиры рабочему, я тебе скажу, хуже конуры собачьей.

Квартира Минея оказалась, действительно, на манер собачьей конуры: не обернуться, до того тесно. И потолок спущен низко, на голову.

Дружинники грудою сидели на кровати. У стола, на табуретках, под приспущенной на шнуре, незажженной еще лампой с зеленым железным колпаком — Миней-хозяин, Прутька с Выборгской и высокий, длинноволосый студент в очках, со странно вспученными красными веками. Угорь, начальник Московской заставской дружины (и мой заместитель — в комитете), разложив по

замусоленной скатерти крепкие, косматые руки, председательствовал.

Он кивнул взлохмаченным чубом.

— Товарищ, вот, второпях: положили начинать, тебя не дожидаючи.

— О чем разговор?

— О разном. Насчет программы: как у нас в союзе ее нет. Говорит: не порядок без программы. Спорим по пунктам. Сейчас, к примеру, о собственности. Но согласоваться не можем. Он говорит: к тому надо итти, чтобы без собственности, — мы этого принять не можем николи.

— То есть, как не можете? Ведь весь социализм на этом стоит.

— А кто его на тот пункт ставил? По-нашему, это господский параграф: пролетарию глаз отвести, чтобы он на господскую собственность не зарился.

— Сказал! При чем тут господская собственность? Господ-то при социализме не будет.

— Куда поденутся?

— Со всеми вровень работать будут.

— На кой он мне ляд дался в работу, господин. Э, ты, брат, тоже неладное говоришь, их руку держишь. По-вашему, выходит: пока их сила — они нас по загорбку, а как наша сила, так они к нам в долю? Шалишь, милок! Дай силу взять, мы ему так, брат, наложим — до корня: на семя не оставим, не то, что в долю.

— Правильно, — баском поддержал Булкин, начальник Выборгской дружины. — Вычешем, чтоб под ногами не толокся. От барина какая работа: другого естества. Как его ни крась, он свою линию держать будет. Тогда их была собственность, а тогда — наша будет.

Прутька фыркнул.

— Фасонистый будет Булкин-от в барских-то штанах: с подтягой, не иначе.

— С дантелью, — поправил Миней.

— Так нельзя, товарищи, — взблескивая очками, заговорил студент. — Это уже грабеж будет, а не новое социальное устройство. Не отмена собственности, а перемена собственников. Это, на поверку, будет старый строй.

— Старый? Нынче, по-твоему, как: в собственности сила? Не в том, кто владеет? И разве человеку — без собственности жить?

— Говорить горазды, — отваливаясь к подушке, лениво сказал Щербатый. — А самого спросить, на совесть: ежели у тебя, скажем, свой угол — пойдешь ты с него в общую комору жить, на нары?

— Пойду, — убежденно встряхнул головой студент.

— Ай, врешь, — покачал головой Булкин. — А не врешь, значит ты порченый. Без выверта сам себя не ущемишь.

— Если бы тебя да на завод, — задумчиво, словно про себя, сказал Угорь. — Был бы у тебя другой оборот мыслей. Станок, возьми. Пока он казенный тебе, не обык к нему, рукой не огладил, — работа на нем не та. А как ты его освоил — чуешь, что я говорю: в собственность взял, о том, что господский он — из головы вон, — с того разу настоящая пошла работа. На своем, на собственном только и ход.

— Правильно, я еще крепче скажу: на общем, на вашем — сгубишь по заводам работу вхлысть.

— Я не о той собственности говорю, товарищи.

— О кой еще? Что свое, то и собственность. Ты о барахле, что ли? С ним и того круче. Ты, вон, трубку сосешь: что ж ты ее — первому, кто встрелся, отдашь, коли спросит? Эдак никакого порядку не будет, как станут друг у друга изо рта таскать.

Студент покачал головой:

— Несерьезно это, товарищи.

Булкин фыркнул:

— Несознательный, ась?

— Сами признаете?

— Нет, это я библиотекаршу нашу заводскую припомнил, кружковскую. До чего тебе в масть: будто вы одной колоды: только что она — краля, а ты — валет.

Глаза студента потемнели сквозь очки.

— Это вы так, товарищ, напрасно!

— Полегче, взаправду, Булкин, — пристукнул Угорь ладонью. — С духом веди разговор, без припыжки.

— Да я разве со злобы, — осклабился Булкин. — Припомнил, говорю, как это она мне о бессознательном, когда я в кружке у нее был.

— Вы в кружке были?

— Как же не быть! Ходил, почитай, два месяца цельных. Библиотекарша, говорю, вашей же веры, социал-демократии, меньших. И хороший же человек, слова не сказать, — кружок собирала, рассказывала. О цене, там, о рынке и еще о чем другом прочем, торговом. Слухал я, слухал — не возьму в толк, что к чему? Будто и к рабочим, но рабочему человеку без применения. Чье, говорю, ученье? Карла Марлы. На какой диалект написано? По-немцки. А от какой, говорю, пищи? Она, это, кружковская, мне: причем, говорит, пища? А я любопытствую — от какой пищи учение: от нашей или господской? Ежели от господской — крышь! А она мне говорит: вы, говорит, вполне бессознательно. Слово в слово с ним.

— От пищи? — собрал щеки под стальную оправу очков, мелкими складочками, студент. — Это новая теория! Вы бы опубликовали: интересно.

— Мне и самому интересно, — глядя упорно перед собой на зажелтевшиеся кривою усмешкой зубы студента, раздумчиво проговорил Булкин. — Я на разное

прикидывал: учение от пищи. К примеру: православие — от чего? От постной пищи. Как попы перестали постное жрать, в тот же час в вере колебание. Почему ныне нет в городе вероучения? Не иначе, как от скоромного. К рабочему вера не пристает, потому что нашему брату постное к ослаблению кишки: не принимает. А баба, скажем, та принимает, потому что, видишь ты, в брюхе от постного тяжесть. Вроде как бы насносях: бабе — приятно. Баба, она — роженица. И к бабе от постного вере ход.

Студент махнул рукой и стал искать фуражку.

— И у нас с вами сговору от того ж нет. С нашей пищи учение у нас какое: чтобы барам конец! Дале — с нашей пищи не удумаешь. А вот уберем бар, пища другая будет, с другой пищей дальше будем думать. А вы вот за нас, да на сто лет вперед думать норовите. Это ни к чему. Ты нам не подсказывай: ты за себя думай, не за нас; мы, браток, за себя сами управимся.

— Мы за себя и думаем, — пожал плечами студент. — Поймите вы, об общей нашей жизни.

— Опять он об общей! А ежели мы общей не хотим? Мы хотим, чтобы сами по себе, чисто — без господского.

— О господском довольно знаемо: хвостом повилял, а смотришь и сел на шею...

— Фертом.

Студент встал и накрылся.

— Ну, нам с вами, очевидно, не сговориться. С сознанием таким — какая уж тут революция!

Угорь дрогнул шершавыми скулами и нахмурился.

— То есть, как понимать?..

— Негожи, на твой суд?

Студент чуть заметно повел плечом. Тяжело отдувая губы, Угорь протянул ему бугристую и жилистую руку.

— Желть, что на пальце, видишь? Коль не сбрезгаешь — сколупни.

Ногти Угря были густо закрашены коричневым, вязким, подсохшим лаком.

Студент снова подернул плечом и старательным, осторожным нажимом поскоблил крепкий, как долото, ноготь. На скатерть осыпалось несколько бурых легких чешуек.

— Ну, и что?

— Кровь это, — спокойно сказал Угорь.

Студент быстро отдернул руку. Дружинники рассмеялись.

— Видел? А туда ж — «революция», говоришь. Э-эх!.. Сохлая кровь — и та руку дерет, вероучитель!

— Я... не военный, — пробормотал студент. — И это не обязательно. Из наших учителей никто не проливал крови: ни Маркс, ни Энгельс, ни Плеханов.

— Оттого и толку нет, — прищурился Угорь. — Ты вот в дрожь: а по-нашему — доколь на кровь не станем, рабочей перемене не быть.

Студент пошел к выходу, но остановился у порога

— Вам не социалиста надо, а Стеньку Разина.

— В-во! — восторженно ударил себя по коленкам Булкин. — Первое слово настоящее сказал. Эх, кабы нам да на самом деле Степан Тимофеича! Наделали бы мы делов!

Студент наклонился и вышел.

— Укоротили пружину, — засмеялся из угла Балясный, слесарь. — А и чадный же из них народ попадает, из студентов. Накоптит ему от книги в нос: на язык — красно, а дух от него — черный.

— Вы все ж неладно, ребята, разговариваете.

— Товарищ Михаил, я тебя прошу, не держи фасон. Не тот у тебя оборот. Угорь, откель прибыль-то на руке?

— С Петьки Крученых. Как по Веденеевской шел, в упор встрелся. Сейчас он руку в карман. Врешь: не доспел! как я его в темя... в упор. Всю руку обшпарило. Мозгой, что ли?

— Народ-то на улице был?

— Как не быть. Встрелись у самого у поста, у Бабурычева.

— Н-но! А Бабурыч что ж?

— Остервенел старик, не сказать. Нашел, говорит, мать твою так и эдак, место! Околь теперь будет шуму. Кати, говорит, свистеть буду. Я — за угол. Как он засвистит, полиция!

— То-то Снесарев булгу загнет. Петька ему был первый помощник.

— Выкатываться тебе из району, Угорь. Как бы чего не вышло...

— Выкатываться? Со своего завода? Ска-зал! Сейчас у меня на завод упор: а ну, стронь. А уйду — мальчонка сгребет, первый.

— И с завода возьмут.

— Ни в коем разе. То ль было. Еще по зиме, ежели вспомнить, у нас на заставе шпика наши же ребята, словивши, в пруде топили. Помнишь, Щербачь? Такой, я тебе скажу, был шпик отважный — под самый стреканул комитет. Однако не выпростался. Прорубь проломили, да головой его под лед... И вот, к слову сказать, упористый был: мы его — под лед, а он каждый раз зад из проруби кажет. Насилу упрятали. Так полиция — во куда ушла, за четыре квартала, чтобы без свисту. Так то зимой было, а нынче — время круче. Может, когда их одоление и придет, а пока по заставам крепко — не сомневайся: не тронут.

— Я и то говорил, — поддакнул Николай, — на предмет Снесаревского пожару.

— Не то чтобы выкидаться, а в обрат, туже гайки подвертывать надо: чем ты крепче бьешь, тем он с тобой согласнее: о городовике я.

— После Снесаревского в дружину шестеро сразу записываться пришли. Ребята такие... способные.

— То-то что способные! Вы принимаете-то с опросом, как следует?

— По уставу. Которого не знаем, чтобы от знаемых или от партийного комитету порученье было. Зря не берем.

— Рост по дружинам есть?

— Было б оружие—все заставы на сотни б поделили. Боевое дело бесспорное. Только дай чем, выйдут.

— За оружием Балясный ездил?

— Два чемодана привез браунингов; как тогда решили, разверстали по районам, второй смене.

— Мало что не засыпался, Балясный-то!

— Где?

— Как перед истинным! Я, видишь ты, в Выборге в поезд сел, чемоданы в вагон финны проволокли: они и билет брали, тамошние. Хороший, к слову, народ. Греха не утаишь: перед от'ездом выпили мы этого ихнего пуншу. Я и засни. Проснулся — кондуктор идет: билет, говорит, Териоки. Как, говорю, Териоки? Тут же остановка должна быть: как ее... опять забыл, как ему кличка полустанку, где сгружаться — оттоль через границу пешком. А он мне: поезд, говорит, скорый, до Териок остановки нет. Ах, мать честна, пресвятая богородица... Ввалишься, выходит, с чемоданами прямо жандарму в зубы. Пока думал, а с паровоза ы-ы-ы — в окнах огни видно. Не иначе как приехали.

— Ну, и как же?

— Да как... Сгреб я чемоданы, с площадки — благословясь, их под откос, и за ими сам — следом. Спасибо,

насыпь не столь низкая. Покель катился, опамятовался: стал на четыре лапы, без повреждения. Чемоданы по канаве нащупал и попер. Ну, страху было, не рассказать. До полустанку добрался — к финну тому, к нашему, насилу отпоил.

— Водой? — мигнул Щербатый.

— Зачем водой, — осклабился Балясный. — М... молоком...

— Как же, все-таки, по дружинам распределили? Нукось: сколько у кого под оружием? Угорь, с твоих начнем.

. . . .

На под'езде, расходясь, постояли. Вызвездило уже. Ночь ровная, без ветра. Лишь кое-где засветленные окнами, насупясь, смотрелись на заводский плац огромные хмурые корпуса.

— А и силища ж, — тихо проговорил Миней. — Намеднись, машину новую ставили... Это я тебе скажу! Доходит наука-то.

С того края двора, от такого же крытого под'ездика, четко донеслось по застылому, тихому воздуху треньканье струн и визгливенький женский голос:

Мамашенька бранится,
Зачем дочка грустна.
Она того не знает,
В кого я влюблена.

— Студенту под пару, — зло рассмеялся Угорь. — С другого конца да по тому же месту! А ну-кась, братцы, дружинную. Ходим.

Щербатый сбросил картуз и ударил сразу полным и крепким голосом по ночному простору:

Запевала в полночь вольница,
На простор земли да выступаючи,
Э-х!

И, навстречу нам, от ворот, грянули вызовом голоса, вливаясь в хор, подхвативший запев Щербатого:

Князей, бояр в растреп растрепем,
Самого царя да на нож возьмем...
Э-х!

. . . .

В город ехали гурьбой, на империале. У Николаевской площади разошлись. Булкин зазывал посидеть в пивной по Старо-Невскому. Но было уже поздно. Я заторопился на Моховую, на квартиру, где я обычно «менял оболочку»: на этот вечер назначено было очередное «мушкетерство».

ГЛАВА V

МУШКЕТЕРСТВО

«Мушкетерами» — нас четверых: Александра Орлова — Асю, Урусова, Дитерихса и меня, прозвали «в свете» в один из прошлых сезонов за то, что мы всегда, везде и всюду — на спектаклях, на скачках и балах — появлялись вместе; что все мы, четверо, хорошо владели оружием, дирижировали, сменяя друг друга, котильонами и мазурками и на великопостных «concours'ах» в Михайловском манеже, шли на prix couple, в две пары, на гюнтерах одной и той же Асиной конюшни. Увлечение Гюисмансом и Бодлером сменилось в тот год возвращением к старику Дюма: им зачитывались, во французском Михайловском театре поставили инсценировку его «Мушкетеров». И когда на первом спектакле мы — как всегда вчетвером, — появились в партере, кому-то вспало на язык: «Les quatre mousquetaires». Так и пошло: Ася — Портос, по его, надо сказать, совершенно исключительной силе, Урусов — Атос, Дитерихс — Арамис, я — младший из четырех — д'Артаньян.

Тогда же сложился и обычай «мушкетерств»: однополчане и другие товарищи того же круга, по строгому выбору собирались у нас, «мушкетеров», поочереди, раз в месяц — на целую ночь; женщины на мушкетерства не приглашались: допускалось присутствие только одной — для оживления трапезы и большей сдержанности беседы за ужином.

Сегодняшнее мушкетерство — у Аси, на Сергиевской, в холостой квартире, оплачиваемой родителями, чтобы не смущать их чопорного особняка на Английской набережной его слишком частыми для ротмистра гвардии эскападами.

. . . .

Я пришел поздно: около часу ночи. В гостиной, застланной малиновым ковром, заставленной тяжелой, красного дерева мебелью, — было накурено и душно, несмотря на открытые окна. За ломберным столом, по зеленому сукну которого змеилась лентою ставок золотая цепь монет, Ася в застегнутом на все пуговицы тугом кителе метал. Среди знакомых, привычных, всегдашних лиц игроков, тесной кучкой сидевших у столика, бросились в глаза: лощеный профиль Юренича, Камин непокорный вихор.

Единственная на сегодняшнем мушкетерстве женщина — Ли, очередная подруга Аси, высокая и крепкая, как он, с выпуклыми черными глазами и жадным пунцовым ртом, — сидела на диване, глубоко запустив обе руки в шитый черными блестками шелковый сак. Кругом на низких пуфах — три корнета Асиного эскадрона.

Смеясь, она приподняла мне навстречу обнаженное плечо, высвободив его гибким движением из-под узкого тяжелого оплечья лифа.

— Целуйте. Видишь, руки заняты.

Я прикоснулся губами к смуглой, жасмином пахнущей коже. Ася оглянулся от стола, довольно крякнул и сказал низким басом:

— Последняя талия. Ужинать пора. Карп, готово?

Из столовой отозвался голос:

— Готово, ваше сиясь.

— Ставьте карту, скорее, — кивала Ли, вытащив, наконец, из сака серебряную пуховку. — Аське везет сегодня, имени нет!

Я подошел к столу, доставая кошелек. Ася мотнул головой.

— Шалишь! У тебя что-то походка грустная. Несчастлив в любви. Не дам. Банк сделан. Прикупаешь, Юренич?

— На своей, — отрывисто сказал Юренич, крепко прижимая пальцы к крапу лежавшей перед ним карты.

Ася присвистнул.

— Плакал мой банк! Тебе, Оболенский?

Маленький черный улан почесал под губой отточенным ногтем.

— Э... на риск — дай!

Ася выкинул из колоды тройку.

Улан весело мотнул головой.

— Довольно!

— Вот чорт! Дитерихс, ваше кирасирство?

— На своей.

— Что они с ним делают, — вскинулась с дивана Ли. Корнеты, оставив пуфы, зазвякали шпорами вслед за нею.

— Никогда ты во-время не снимешься! Вот они тебя и разодрали.

— На то и макао, — прищурясь, сказал Ася. — Кирасир дурит. Дитерихс, сознайся: не больше пятерки, а? У Юренича семерка, наверняка. Он всегда был прижимист, а сейчас с губернаторством своим, надо думать,

втрое. Оболя покупал к пяти или шести: пять да три — восемь. Надо покупать до восьми. Сережа, не смотри: сглазишь. Ну-с.

Он сразу стал серьезным и перевернул лежавшую перед ним карту. — Десятка, жир.

Он выкинул вторую: валет.

— Третья и последняя!

— Ли, закрой ему глаза. Девятка!

— Везет, — ударил ладонью Юренич. — Имени нет!

Ася угадал верно: у Юренича — семерка, у Оболенского—восемь; у Дитерихса оказалось тоже семь очков.

— Ты что же фальшивил, немец! Усом тряс, словно у тебя всего пятерка, — смеялся Ася, сметая широкой ладонью к краю стола разбросанные по сукну червонцы. — Юренич, так будешь играть, без приданого останешься: кто тебя тогда, шпака, возьмет.

— У него богатая невеста на примете,— подмигнул Оболенский. — Кой о чем мы наслышаны. Не девушка — прямо сказать: «императорский приз». Корнет Акимов, почему вы, с позволения сказать, покраснели? Лидия Карловна, попудрите корнету щечки, глазам больно смотреть.

— Я должен вам сказать, ротмистр, — еще более краснея и пятя плечи, заговорил Кама. — Я... не понимаю, что вы хотите сказать.

— Вот мы тебе за ужином дадим стакан штокмансгофа, четыре нуля, — сразу поймешь. Ася, найдется штокмансгоф?

— Обязательно, — откликнулся уже в дверях Ася. — Господа, милости просим.

Юренич, поправляя усы, подошел к Ли. Она быстро взяла меня под руку.

— Благодарю вас, мы за ужином всегда вместе сидим. Ася, возьми к себе Юренича.

. . . .

Штокмансгоф — крепчайшая водка: после стакана Кама умягченно пригнулся к уху Оболенского и зашептал быстро-быстро.

Улан покатывался со смеху:

— А ты его вызови.

Кама тряхнул вихром:

— И вызову!

. . . .

Ася оглядел гостей.

— Как будто кого-то нет?

— Граббе нет, — отозвались с другого конца стола. — В наряде.

— И как всегда — не в очередь?

— Мы теперь с очередями спутались, — кривится мой сосед слева, Вольский, наливая круглый хрустальный стаканчик водкой из замороженного, покрытого ледяной росой графина. — О своих казармах думать забыли. Мало того, что из Царского в Питер форменно на постоянное жительство перешли, — каждый день весь полк в разгоне. Не служба стала, а чорт знает что, хоть мундир снимай!

— Главное, зря гоняют. Я со взводом уже раза четыре ходил в наряд на митинги. Ведешь взвод на-рысях, придешь на место — пусто.

— Это, положим, вздор. Оттого и пусто, что нас гоняют. Не будь нарядов, митинговали бы себе господа социалы.

— Ну, и митинговали бы, — звонко и задорно, словно для себя самого неожиданно, заговорил Кама. — Какой от разговоров вред: поговорят — самим надоест. Вот в Риге, например, — товарищ в отпуску был, рассказывал: там полицмейстер — дока: никаких разгонов. Манифестации — сделайте милость. Они манифестируют — и он манифестирует; они кричат «долой» — и он кричит «до-

лой»; они на бочку, говорить, — и он на бочку. Ну и что? Три дня так было, — а на четвертый надоело: разошлись по домам — одна бочка осталась. Ей-богу. И войск ни разу не вызывали. Вот так и надо. Говорят, — и пусть себе говорят.

Юренич пренебрежительно повел плечами.

— Удивительно! Вот уж, извините, корнетское рассуждение.

— У меня корнетское, — отозвался Кама, — а у вас...

— Но-но! — Ася погрозил пальцем. Кама потупился.

— Нет, я серьезно говорю, что они могут сделать?

Юренич побагровел.

— Революционеры? Да просто... перережут всех вас за милую душу.

— Нас?

Весь стол дружно расхохотался.

— Ты ошпачился, Юренич. Ты скоро начнешь бояться впотьмах ходить.

— Смейтесь, — пробормотал Юренич, вздрагивающей рукой наливая в стакан вино. — А вот, когда рабочие...

— Что рабочие?

— Нас здесь в Петербурге, — спокойно сказал Ася, — одной кавалерии шесть тысяч сабель. Сколько твоих социалов понадобится, прикинь-ка на пальцах. Пока войска у нас в руках, — кричи не кричи, ничего не будет. А войска в руках!

— И среди них уже гнездится зараза... Да, да... даже в нашей собственной среде...

— Да бросьте вы о политике, — капризно протянула Ли. — Что за наваждение такое! Жили-жили безо всякой политики. А теперь точно помешались все: как двое сойдутся — сейчас о политике. Бросьте, говорите о настоящем.

— А что, по-вашему, настоящее?

— Кто спрашивает, тот, значит, все равно уже никогда не поймет, — холодно отвечает Юреничу Ли. — Урусов, спойте что-нибудь. Скучно.

. . . .

Стекла заголубели предрассветом. Мы все еще за столом.

Ли зябко поводит плечами и говорит, наклоняясь:

— Принесите мне накидку. Там, на диване.

— Разве холодно?

— Нет, противно. Юренич подло смотрит: он, наверное, пакостник, Юренич.

Серый мех мягко ложится на плечи, на низко открытую грудь.

— Ли, чего тебе вздумалось?

— Ничего. Пей, Аська.

. . . .

— Ребиндер приехал, — рассказывает на том конце Урусов. — Раскричался. Это, говорит, нелегальное собрание: кто разрешил? Пален ему: «ваше превосходительство, офицеры гвардии не нуждаются в чьем-либо разрешении, когда они собираются для решения дел, касающихся чести мундира».

— Ну и осекся Ребиндер?

— Ясное дело, осекся. Чорт их, этих армейских. Выслужился и грудь колесом.

— Что же решили?

— А ты где ж был? Постановили: пред'явить требование, через командиров полков, рапортом по команде: чтобы впредь никаких нарядов гвардии в распоряжение гражданских властей, тем более полиции, не производить; чтобы в случае вызова войск распоряжение переходило к военному начальству.

— Вот это правильно!

Кто-то тронул меня за плечо. Капитан Карпинский. Единственный во всей этой комнате — член Офицерского революционного союза. И, странно, изо всех — он едва ли не самый для меня чужой.

Он говорит тихо, наклоняя сухие от вина губы к самому уху:

— Я должен предупредить тебя. На той неделе, в четверг, моя рота — во внутреннем карауле. Решение — прежнее? Нет отмены? Ну — чокнемся.

Его глаза мутнеют: от мысли — о т о м, что решено, что задумано, или от коньяку?

— Четверг тяжелый день. До дна, за успех! Скажи что-нибудь, Сережа!

— Стойте и я с вами. За что тост?

— За здравие и за упокой.

— За упокой? Страсти какие, — смеется Ли. — Пьем!

— До дна, Лидия Карловна.

Карпинский отходит к камину и разбивает стакан о решетку.

— За что пили? — перегибается через стол Юренич.

— А вам что? — брезгливо отвечает Ли, кутаясь в мех.

Юренич побледнел от вина. У виска бьется живчик.

— Вы с ним не пейте, — говорит он, медленно расставляя слова.

— Это еще что за новости?

Юренич опустил голову низко к самому столу и смотрит на Ли — мутным и настойчивым взглядом.

— Вы с ним не пейте! Я его не люблю. Он — политик.

— Вы бредите! Единственный, который никогда не говорит о политике.

— Во-т, во-т! —радостно и злобно закивал Юренич. — Такие-то — самые опасные. Это и доказывает. Не говорит, значит делает. Меня не обманешь: он радикалишка!

— Что?

Ли быстро положила мне на губы ладонь:

— Подожди.

— Ра-ди-ка-лишка, — повторил Юренич, взбрасывая наползавшие на глаза тяжелые, пьяные веки. — У меня на этот счет нюх. Я — вице-губернатор.

— Брось болтать, пей, — пододвинул, нахмурясь, стакан Ася. — Нюхай мадеру... если у тебя нюх.

Юренич оттолкнул стакан.

— Я, pardon, пить не буду. Я знаю, что я говорю. Вице-губернатор ведает охранным отделением губернии. Я знаю. У меня нюх — я вам говорю.

— А я тебе говорю — пей, — повторил Ася. — И добрый совет: помолчи об охранном. Ты и в самом деле ошпачился. Мы здесь все монархисты и верноподданные. Но видел ты когда-нибудь, чтобы гвардейский офицер подал руку... жандарму?

Юренич перевел глаза на Асю и прищурился.

— Ты, собственно, что хочешь сказать?

— Ничего особенного. Ты у меня в гостях. Пей.

Юренич медленно выпил пододвинутый ему стакан. Ли звонко рассмеялась.

— О чем ты? — хмуро спросил Ася.

— Так... о нюхе. Он хвастает, господин Юренич. А вот у моего соседа — действительно нюх. Он сразу сказал...

— Что?

— Что Юренич — мерзавец.

Глухо стукнула о пол спинка упавшего стула.

Юренич, пошатываясь и хрипя, оперся обеими руками о стол.

— Кто? Вы?

— Я.

Рука Юренича судорожно сжала горлышко бутылки. Но в ту же секунду тяжелая рука Аси легла ему на плечо.

— Ничего подобного. Еще раз: вы у меня. Никакого действия. Завтра можете отвечать, как считаете нужным. Но сегодня: угодно — уезжайте, угодно — оставайтесь, но никакого шума.

— Слушаюсь, — скривил губы Юренич. — Дитерихс, секундантом.

— Хорошо, — хладнокровно отозвался из угла комнаты кирасир. — Я заеду к тебе завтра, ты мне расскажешь своими словами, с кем и за что.

Юренич кивнул трясущейся головой в мою сторону.

— Он назвал меня мерзавцем.

Дитерихс высоко поднял брови.

— Правильно: это стоит выстрела. Поезжай, я поутру буду. Ты остановился в «Европейской»? Кто вторым? Хочешь, Соловьев?

Ли, смеясь, закинула руки за голову и потянулась вся гибким, хищным движением; мех, шелестя, скатился на пол, обнажая смуглое тело.

— Он кокнет вас, как яйцо в смятку!

Юренич жадно поглядел на Ли. Он хотел сказать что-то, но только пошевелил губами и не совсем верными шагами, не прощаясь, пошел к двери. Ли потянула к себе Асю.

— Ася, ты на меня не сердись, что я его подвела. Ну, не говорил, конечно! Ну, придумала. Но верно придумала: не может быть, чтобы он не считал его мерзавцем, Сережа. Не сказал только потому, что не хотел тебе ужин портить. А мне можно, потому что на меня ты не будешь сердиться, Аська, и никто не будет сердиться... Правда, господа?

Дитерихс, щелкнув шпорами, почтительно поцеловал Ли руку.

— Сердиться, Лидия Карловна! — горячо сказал, наклоняясь в свою очередь к ее руке, Кама. — Если бы вы его не вызвали, я бы его вызвал...

— Прособирался, корнет, — потрепал его по затылку Оболенский. — Смотри, и там прособираешься.

— Карп! — крикнул Ася. — Убери этот стул и дай еще вина. Ты на чем будешь драться, Сережа?

— Все равно. Нет, пожалуй, на рапирах. Надежнее.

Ася присвистнул.

— Юренич не примет: на холодном ты сильнее его. Ты как думаешь, Дитерихс?

Дитерихс прищурился:

— Пожалуй, что и откажется. Да и вообще вопрос, будет ли он драться. Если бы в полку был — дело, конечно, было бы ясное. А так, — кто его знает. Проспится и...

— А вы на что? — блеснула глазами Ли. — Вы секундант или нет? Ваше дело — заставить.

— Вот кровопийца! — захохотал Ася. — Что он тебе такое?..

— Игра-ем! — крикнул из гостиной Урусов. — В банке — триста.

— Идем. Да, господа, не забудьте. Молчок до времени. Военное положение: за дуэль — взгреют втрое. Пока — молчать накрепко. А там видно будет.

— Вы не играйте, — шепнула Ли. — Перед дуэлью не дай бог выиграть. Примета.

— Не морочь ему голову, — Ася за плечи потянул меня к двери. — Это чей стакан пустой? Карп, чего смотришь? Поставлю под шашку на сутки.

ГЛАВА VI

МАЭСТРО

Юренич от дуэли не отказался.

— Хитрее, чем мы думали, вице-губернатор, — рассказывал Ася, вернувшись с совещания секундантов. —

Бой на рапирах, без перчаток, по форме... Запрет на четыре удара — ну, ты знаешь, те, что всегда запрещают. Первым секундантом у него Дитерихс — смекаешь в чем дело? Запрет есть — секунданты на барьере: отбивать запрещенные удары — верно? Значит, Дитерихс, если и даст, то только подранить: опасные будет перенимать сам. Доказывай, что удар был правильный — после отбива.

— А ты на что? Перенимай Дитерихса.

— Мне за ним не угнаться. Шутки шутишь? Призовик! Будьте уверены: сыграем вничью. Мы ведь, как водится, подписали: «до первой крови».

— Я могу еще и не согласиться на такие условия. Зачем вы допустили подмен?

— Ну, а что? Двинуть втемную? Ты тоже не о двух головах — мало ли что случается. Да и с ним... все-таки, в конце концов, бывший однополчанин, сейчас администратор, на виду: повредишь его — шуму будет много. А так — по-хорошему...

— Карусель! По-французски — перед выпивкой?

Ася бросил досадливо окурок в пепельницу и встал.

— Ты что же хочешь? Историю раздувать? Ерунда! В сущности что такое? Ну, сказал человек, спьяна, лишнее слово: пустить ему за это кровь в дозе! Другой раз будет осторожнее. Но — в д о з е пустить, без членовредительства. Так дело и обставлено.

— Ну, ладно! Что тут толковать: сделано — сделано. Когда встреча?

— Завтра в семь.

— Место?

— В парке, за Поклонной горой.

— Чего ради? На рапирах? Ведь в городе можно, в любой квартире? А то ехать — нивесть куда. Волокита.

— Что значит волокита? — сухо сказал Ася. — На все есть свой порядок: дуэль есть дуэль. Нельзя по-

домашнему: это уж будет не дуэль, а поножовщина. Урусов там, в парке, такую лужаечку знает — пальцы обсосешь. И от дороги далеко, и солнца нет, и ровно, — как на теннис-гроунде. Чудесно прокатимся.

— Ехать — свидетели лишние.

— Зачем? Мы — верхами. Юренич будет дожидаться за скаковыми конюшнями, у ипподрома. А мы, остальные, все вместе выедем. Я прикажу тебе Динору оседлать.

— Покорно благодарю! Она мне все руки отмотает, пока доедем.

Ася захохотал, довольный.

— Вот и Ли то же самое говорит. А что же тебе под седло: корову? Ведь не поедешь.

— Тоже не плохо придумано: кисть мне затупите — Юреничу лишний шанс.

Ася захохотал еще громче.

— Вот и Ли то же самое говорит: вы, говорит, гандикапируете.

— А она откуда знает?

Ася прикусил губу.

— Признаться, я после совещания заехал на секунду домой.

Мы помолчали.

— Доктора возьмем нашего, полкового. Во-первых — человек он надежный, очень порядочный человек, хотя и форменный клистир; во-вторых, — хоть он на лошади, как собака на заборе, а все-таки ездит.

— А если случится что... как назад?

Ася искоса поглядел на меня и покачал головой.

— А что может случиться? Вот ерунда. Или... — он понизил голос, — у тебя... предчувствие? Ты скажи.

— Никакого предчувствия.

— Ну, тогда чего же ты: если да если... Сам себе под руку говоришь!

Он надел фуражку и стал застегивать перчатки.

— Ты, все-таки, сегодня в фехтовальный обязательно зайди, поразмяться: по-моему, ты рапиры что-то давно уже в руки не брал. Напорешься еще, — что, в самом деле...

Прощаясь, он задержал мою руку в своей.

— Скажи по совести: нет предчувствия? А то мы дело замнем — единым духом...

. . . .

В фехтовальный клуб я не пошел, а пошел к бывшему своему учителю фехтования, Ригельману. Когда я учился у него, меня, смеясь, звали его Веньямином: действительно, «маэстро» питал ко мне доподлинно отеческую нежность.

Старик и сейчас встретил меня радостно, подымая седые, редкие брови над стальной оправой очков. Я рассказал, в чем дело, не называя имен. Он довольно потер руки:

— Ну, что же, — парочку ударов?

Мы прошли в зал. И, стоя на туго натянутом, от стены до стены, слегка увлажненном мате, ощущая в руке гибкую, живую, жалящую сталь, я почувствовал радостно, как поднялась к мозгу, к мышцам веселым потоком кровь.

Через полчаса Ригельман опустил рапиру и снял маску.

— Благодарю вас: достаточно. Вы вполне в форме. И все удары с coupé — попрежнему: очень опасно. Ухудшение есть, конечно, с тех пор как мы с вами работали регулярно. Но без этого нельзя: рапира — как виолончель, все на кисти, требует упражнения. Но главное у вас сохранилось: нерв. Вы «чувствуете», попрежнему, клинок. Я за вас абсолютно спокоен.

Он вздохнул, насупился и прибавил:

— Если, конечно, не будет случайности... чего не дай бог ни вам... ни ему.

— Ни ему?

— Конечно. Случайность лишает всякого смысла искусство. Стакан чаю? Или вы торопитесь?

Итти было некуда. Старик будет рад. Я остался.

Говорили о фехтовании, о войне.

— Русские не могли ее не проиграть: видали вы когда-нибудь японские клинки? Кто может выковать такое оружие, как мечи самураев, разбит быть не может. Здесь, у вас в России, не умеют выковать и косы. И никогда не умели.

— Вот странно. У нас ведь, в самом деле — нет ни одного предания о мече.

— Вот видите, видите, — обрадовался старик. — Это ведь очень важно. У нас, французов, и у германцев тоже, в легендах оружие такое же живое, как человек. Что я! Еще более живое. Меч имеет имя.

Я засмеялся.

— У нас другое: у нас — люди не имеют имен.

Он бросил на меня быстрый взгляд.

— Что вы хотите сказать?

— Ничего особенного: я просто развиваю вашу мысль. Наши предания, то есть подлинная наша история... не все эти «столбцы», и «разряды», и летописи, из которых историки выматывают толстейшие томы мертвечины, а живая история наша — вся, в сущности, безымянная. Сохранившиеся в ней имена годны только напосмех: наши богатыри — или обломы, или жулики; наши князья и цари — пьяницы или святые: что хуже?

— Не говорите вольтерьянски! — помахал рукой Ригельман. — Зараза времени. Это вам не к лицу.

— Нет, серьезно: наш эпос — безымянный. Я о настоящем эпосе говорю. «Слово о полку Игореве»... Ни од-

ной отдельной фигуры, если всмотреться... Ни одного лица, несмотря на обилие имен. Вся мощь поэмы — в неназванных. Без имени! Как может их оружие иметь имена? Вы знаете, как они ходили на врага, наши настоящие предки? «Без звонких щитов, с одними ножами засапожными».

Старик упрямо потряс головою.

— Вы приняли ваш герб не от этих предков. Прекрасный герб, я помню: Самсон, разрывающий льва.

— Дорогой маэстро, геральдика, я знаю, ваша страсть. И она чудесно сочетается с вашими клинками, конечно... Но именно как знаток геральдики вы должны бы знать, что наши русские гербы не сошли на дворянские грамоты со щитов, как на Западе. Они не взяты с бою: они жалованы. Их прозаичнейшим образом сочиняли в соответствующем департаменте. Мы — безымянный народ, маэстро, примиритесь с этим.

— Вы говорите так нарочно, чтобы меня подразнить, — ворчливо сказал Ригельман. — Я никогда не поверю вам, именно вам. У вас — чувство клинка: это дается только породой, дается именем. В буржуазии вы не найдете этого — никогда!

— В таком случае — ваше искусство обречено: дворянство уступает дорогу купечеству и мещанству по всей линии.

— Обречено, конечно. Оно и теперь падает. Говоря откровенно, занятия с моими учениками уже не доставляют мне той радости, что прежде. Это становится гимнастикой, комнатным спортом, не больше. Мышцы, но не душа. Ко мне приходят люди, которым не нужно оружия, вы меня понимаете: люди, у которых не представить себе на поясе меча... Это чудесный способ определить человека: представить его себе опоясанным сталью, — он

станет сейчас же виден весь. Теперешних не представишь себе опоясанными, даже военных: шапка да палаш, сабля — но не меч, даже не шпага... Жить становится трудно. Если революция удастся, жить станет совсем невозможно.

— Революции нужно искусство оружия, маэстро. Она зовет на кровь.

— Вы грезите, — вскинул головой старик. — Я видел до сих пор кровь... выпоротых. Ваши безымянные с их засапожными ножами ушли в легенду, дорогой мой: остались толпы... не очень хорошо пахнущее стадо. Революцию делают адвокаты... еврейские адвокаты, люди, которые умрут со страху раньше, чем возьмут в руки оружие. К чему они зовут? К стачкам! Разве это борьба? Сложенные руки... и голодный желудок. Ставка на то, кто раньше проголодается: рабочий или хозяин. Безумие! И это называется революцией!

— Вы не правы. Рабочие...

— Я прав! — крикнул старик, подымая руку. — Я прав. Настоящая жизнь знает только один расчет — на кровь. Кто подменяет кровь, подменяет жизнь. Современная революция подменяет кровь: она не истребляет врага, она бастует. Пусть она победит! Вы будете жевать суррогаты. И навсегда, имейте это в виду. Живой огонь гаснет. Вам останутся спички — вонючие спички, дорогой мой.

— Вы смотрите не в ту сторону, маэстро.

— Я смотрю куда должно! Но я — человек искусства. И высокого искусства, да. Сталь — высокое искусство: это не кисть, это не краски и холст — это человеческое тело и это кровь! Жизнь и смерть! Встаньте, очень прошу вас. Откиньте рукав, клинок в руку... К бою... Вот... Даже так, без выпада — только взглянуть — это даст тому, кто увидит, кто посмотрит только, боль-

ше силы, больше радости на его собственную жизнь, чем любая симфония красок и звуков. Клинок, в обнаженной руке, на солнце, взблеском. Перед этим никто не останется спокойным. Никто, кто увидит. Это искусство! Но ни один человек искусства никогда не был революционером.

Я искренно рассмеялся.

— Это парадокс, и безвоздушный парадокс, маэстро.

— Назовите, — хладнокровно скрестил руки на груди Ригельман. — Я читал, я думал. Назовите.

Первое, пришедшее на память, случайное имя:

— Вагнер, хотя бы.

— Каждый человек был хоть раз в жизни пьян. Вы сами не верите в этот пример. Дальше.

— Рылеев.

Ригельман захохотал.

— Вне поэзии и вне революции. Притом, если бы его не повесили — он бы покаялся и стал примерным верноподданным. Называйте не революционеров по смерти, а революционеров по жизни!

Я перебирал в памяти... но память, словно в насмешку, выбрасывала призвучавшиеся, далекие от борьбы или от искусства имена.

— Не ищите, говорю я! — злорадно кивал старик. — Их не может быть. Потому что революция коронует буржуа. Но буржуа не может быть художником: он вне искусства; он не может подняться выше кулинарии. Человек искусства не может поэтому биться за революцию: это было бы самоубийством.

— Буржуазная революция — да. Но революция народная...

— Она коронует буржуа! — упрямо повторил Ригельман. — Она хоронит тем самым искусство. При дворах королей и императоров художники и поэты льстили

в лицо, но смеялись за глаза: они были художниками. При дворе буржуа они станут холопами. Искусства не будет.

— Но когда у власти станет народ?

— Народ никогда не станет у власти. Народу — passez moi le mot — плевать на власть: que diable, это столько хлопот! Для кого? Для себя? Нет. Власть требует касты. Переверните мир низом вверх, но править будут только те, кто захочет. Не народ, нет! Поверьте мне. Революция погубит искусство.

— Мы разно мыслим революцию, — тихо сказал я. Ригельман рассмеялся и похлопал меня по плечу.

— Я готов поклясться: вы мыслите ее, как и я, на конце клинка. И это верно. Но э т о й революции нет: ее можно только «мыслить». Если бы она была, люди искусства были бы в ее первых рядах. Но я говорю о той, что есть: в ней — толпа и адвокаты. Перед такой революцией подлинные мастера ломали свои кисти... и свои шпаги. Но не шли с нею.

— Вы говорите так, потому что не знаете «толпы». Вы не чувствуете нас. Еще раз: мы — безымянны.

— Вы упрямы, я тоже, — хмурясь проговорил старик. — Спор замкнул круг: мы пришли к прежнему пункту, слова исчерпаны, стало быть; а дело не в наших с вами руках. И это опять в пользу моего взгляда... Нет, нет, я не возобновляю спора... Жизнь покажет. Мы свидимся с вами, когда отговорят политики. Посмотрим, что будет у вас тогда... на конце клинка. Но я заговорил вас: я болтлив, как все старики. Когда завтра встреча?

— В семь.

Глаза старика стали острыми.

— А вы обдумали уже партию? Вы знаете противника?

Вопрос был правилен. Ведь бой — как шахматы: связь ударов-ходов, не случайным наитием подсказанных, а построенных на твердом расчете, — от шаха к мату.

— Нет, я пока не думал.

Ригельман погрозил пальцем.

— Не скрытничайте. Когда мы фехтовали сегодня, я не случайно остановил схватку. Вы думаете, я не чувствовал, к чему вы ведете?.. Но этот удар репетировать нельзя. Вы испортили бы сегодняшним днем завтра. Ага! Вы смеетесь: старик не так-то глуп. Ваш удар...

— Вы угадали, Феликс Густавович! Карточчио.

ГЛАВА VII

НА БАРЬЕРЕ

Динора, действительно, отмотала мне кисти, пока мы выбирались к Удельной. На мундштуке на ней ездить нельзя, а сдержать ее на уздечке, особенно когда она застоялась, — я уж раньше знал, что это такое.

«Гандикап!» — Ася хохотал. Рапиры, со свинченными чашками эфесов, приторочены были, тугой связкой, в замшевом чехле, к палашу Дитерихса; со стороны их не было видно. Ничто, таким образом, не указывало на цель нашей поездки. Не конспиративен был только доктор: он ни за что не хотел выехать налегке, а чтобы захватить все «препараты и аппараты», которые он считал необходимыми «по долгу врачебной присяги», ему пришлось седлать походной седловкой.

— Фура! — подмигнул мне на него Урусов, когда кавалькадой в шесть коней — четыре секунданта, я и доктор — мы выехали за ворота казармы, мимо вытянувшихся в струнку дневальных.

По набережной прошли легкой рысью, придерживая на взгорбинах крутых мостов через каналы. За Троицким, по торцам Каменноостровского — прибавили ходу: солнце стояло уже высоко, мы запоздали.

Пожалуй, что и к лучшему. Росы теперь обильные, трава сыреет за ночь, скользко. Солнце пообсушит — ноге надежней упор.

В Коломягах встретили, как было условлено, Юренича. Он ждал, делая вольты на лужайке, близ дороги. Вольт направо, вольт налево.

Мы обменялись поклонами. Ася оборвал шутку на полуслове. Дитерихс осадил коня, давая мне и моим секундантам проехать: с этого места мы... на время... враги.

В'езжая в парк, я оглянулся. На сколько глаз хватает, людей не видно. Только в стороне ипподрома, широко расставляя кривые ноги, притулив круглую спину, шел с седлом в руке жокей в картузе Лазаревской конюшни.

Урусов, — передовой, пригибаясь под сучья и придерживая фуражку, свернул с дороги в лес. Застучали, цепляя по корням, копыта. Пахнуло сыростью, грибным запахом, прелым листом. Вот она, лужайка.

Солнце редкими бликами сквозь обступившие стеною деревья падает на чуть тронутую прожелтью, короткую, скудную траву. Кочек нет, скат к стороне дороги слабый, чуть заметный. По окраине чахлая поросль.

Мы спешились. Урусов пошаркал подошвой по земле и поморщился.

— Мало-мало подаваться будет, на выпаде. Не горячись, смотри: увязнешь по шею, сразмаху-то.

— Ты же выбирал.

— Тогда было сухо. А теперь что-то заболотило. А дождя, кажется, не было...

Юренич медленно слез с куцой инглезированной кобылы. Ася и Дитерихс, равняя шаг длинных, звенящих шпорами ног, вымеряли барьер. Соловьев навинчивал эфесы на рапирные клинки. Доктор за кустом тащил из седельных сумок какие-то пакеты.

— Прошу приготовиться.

Юренич сбросил китель. На нем под кителем — плотный, высокий до самого горла глухой жилет.

Урусов покосился на Дитерихса и сказал вполголоса:

— Камзол этот придется снять. Противник в одной рубашке.

Дитерихс повел плечом.

— Жилет не считается верхним платьем. По дуэльному кодексу, как вы знаете, снимается только верхнее платье.

Урусов прикусил ус.

— Но тогда, по-вашему, под верхнее можно хоть кирасу надеть? Снять верхнее, значит остаться в одной рубашке.

— Вы ошибаетесь, — холодно возразил Дитерихс. — Поддевать что-либо специальное под верхнее платье, конечно, недопустимо: тем самым исключается возможность панцыря. Но жилет — нормальная форма нижней одежды. В тех случаях, которые вы имеете в виду, в старом французском кодексе применяется термин: «nu jusqu'á la ceinture» — обнаженный до пояса. В нашем протоколе это не оговорено. Дуэлянт вправе оставаться в камзоле.

Юренич отошел в сторону, к доктору, и закурил папиросу.

— Ротмистр Орлов, — окликнул Урусов. — Пожалуйте сюда на совещание.

— Я слышал, — отозвался Ася. — Ты не возражаешь, Сережа?

— Нет, не имеет значения.

— Ну, нет — так о чем и спорить.

Юренич осторожно потрогал веточку маленькой, стрелкой поднявшейся под большой раскидистой сосной, пихты.

— Это что за растение, доктор? Разве у нас бывают такие...

— К барьеру! — отрывисто крикнул Ася.

Он был тоже уже без кителя, в прорезь распахнутой рубашки гляделась высокая, волосатая грудь. В правой руке, рукоятями кверху — четыре рапиры, со стальными тяжелыми чашками под эфесом.

Юренич быстро подошел к воткнутому в землю палашу Дитерихса. Подернув правым плечом, он выпростал из-под камзола рукав рубашки.

— По долгу секундантов, в третий раз, на барьере, мы предлагаем вам примириться, — медленно чеканя слова, произнес Дитерихс.

Юренич улыбнулся и движением плеча еще раз оправил рукав.

— Нет.

— Нет.

Ася, лязгнув клинками, поднес мне четыре рапиры на выбор. Между бровями залегла суровая, твердая морщинка.

— После трех реприз — перемена места. По первой крови — выход из боя.

— Салют!

Четыре клинка взнеслись, чуть вздрагивая тонкими легкими жалами. Дитерихс и Ася, между мной и Юреничем, накрест сомкнули рапиры и тотчас отвели их острием книзу, влево, открывая нам дорогу.

Цзын!

Концы наших рапир скрестились. Самыми концами — на выпад с прыжка. Я поймал глазами глаза Юренича.

Главное: не смотреть на клинок. В глаза! Клинок обманет, глаз — нет.

Он не разучился фехтовать. Но бьется «по школе». Своего у него нет: это не опасно.

По первой крови — выход из боя... Надо быть осторожным...

. . . .

Бой идет на полувыпадах, тягуче, как заученная, как шаблонная шахматная игра:

d2 — d4
d7 — d5

Дитерихс застыл, сбоку, на длину клинка от меня, сплетеньем напруженных, настороженных мышц подстерегая опасный удар. Ведь, собственно с ним я фехтую...

Попробовать «гамбит»?

Я раскрываюсь пустою финтой, вызывая Юренича на выпад. Но он осторожен: он демонстрирует удар, не принимая «жертвы». И опять, четкими перестуками лезвия о лезвие отбивая ходы, тянется, тянется партия...

Урусов ударяет в ладони.

— Перемена места!

В четвертый раз мы разводим на минуту глаза и клинки. Ничего не выйдет. На душе — спокойно и ровно, без под'ема, без трепета. И глаза у Юренича — застылые, без крови, лощеные, пустые глаза... Без жизни, а стало быть, и без смерти... Мы сходимся уже в пятый раз — а они все те же, те же, те же.

Опять лениво и тягуче сцепились клинки. Ася, сердито сопя, отбрасывает кончиком рапиры подкатившуюся мне под ноги зеленую шишку.

В ту же секунду рука Дитерихса, как на пружине, отбивает мое очередное coupé. В глазах Юренича — темные искры, локоть распрямляется посылом — клинок в

грудь, — и огоньки глаз сразмаху несутся, ширясь, моим навстречу, в бешеном смертном выпаде.

— Наконец!

Откинув тело в сторону, я бросаю его полным ударом вперед, припадая левой рукой на землю, выслав клинок под руку Юреничу, между плечом и грудью: в горло...

— Карточчио!

От острия — толчок в кисть, локоть... Есть!

Над головою, свистя, скрещиваются запоздавшие рапиры секундантов. Я выдергиваю клинок и отрываю от земли глубоко впившиеся в дерн пальцы.

Юренич еще стоит, вытянув пустую руку. Глаза — живые: пристально смотрят туда, где были мои. Глаза — живые... Нелепость! Ведь он — труп...

Тело подламывается и падает. Боком, навзничь.

— Чистое дело, — говорит, слегка задыхаясь, Ася.

Дитерихс, доктор, Урусов наклоняются над Юреничем.

— Крови нет.

Я поднимаю рапиру. На моем лезвие — есть.

— В продолговатый мозг, — глухо говорит доктор, отбрасывая со лба свисающие пряди волос. — Смерть.

Дитерихс вздрагивает и выпрямляется резко. Я жду у барьера... По дуэльному ритуалу он, секундант, может продолжать за убитого.

Ася тревожно поглядывает на него. Но кирасир молча салютует с места. Мы с Асей отдаем салют. Урусов, осторожно звеня шпорами, обходит нас, отбирая оружие. Кончено.

Доктор все еще возится над трупом. Офицеры снимают фуражки и крестятся.

— Бросьте, доктор, — хмуро говорит Ася. — Дело верное. — И вдруг весь расплывается улыбкой. — А Ли верно сказала: как яйцо в смятку!

Я одеваю китель. Левая рука чуть побаливает в кисти.

Секунданты, кучкой у пихты — у той, где распаковывался доктор. Говорят вполголоса; не слышно. Ася опять стал серьезным. Поглядывают на Юренича.

Он лежит с широко открытыми глазами, откинув левую руку. И оттого, что на нем нет крови, и он не моргает, и губы у него черные, — он кажется не мертвецом, а манекеном.

— Зачем это?

Урусов и Дитерихс, не отвечая, приподнимают мертвеца за плечи, и Соловьев, неумелыми, запинающимися руками натягивает на замотавшееся туловище китель.

— Полы подправь, — вполголоса говорит Дитерихс

Ася отводит меня в сторону, не глядя в глаза.

— Скверная, братец, все-таки история. Юренич — навиду, верноподданный. Вон Урусов говорит: в какой-то там политической организации заправилой. И война тут, и революция... чорт! Взгреют нас всех за это дело—любо-дорого. Хорошо еще, если в крепость на гауптвахту, на высидку. А как бы еще из гвардии не выставили...

— Мне очень досадно, право, если я вас подвел...

— Э, брось! — досадливо морщится Ася. — Не в том дело... А просто досадно, если зря.

Он переводит дух и, растопырив руку, внимательно рассматривает свои пальцы.

— Так вот, знаешь что? Мы тут посовещались, и... так надумали: что, если Юренича оставить здесь, а? Лошадь у него прокатная, из манежа... Там уже под вечер хватятся. Найдут живо... Нас никто, кажется, не видал. А если и видел, не подумает... Мало ли что с ним могло случиться... Всякие бывают случайности... Найдут — пусть распутываются, как знают, а? Не ломать же из-за этого жизнь. Ты как на это?

— Я? Как хотите.

— Ну, вот и ладно, — просветлел Ася. — Дитерихс, он не возражает. Теперь только доктора уломать. Кобенится, можешь себе представить, карболовая кислота!

. . . .

Доктора уламывали долго. Он качал головой, говорил о присяге и ответственности, о медицинских обязанностях и религиозном долге. Ася горячился. Солнце стояло высоко. За деревьями, по шоссе проездом грохотали телеги.

Юренич лежал, попрежнему широко раскрыв глаза. По зрачку, почесывая лапки, ползала черная мохнатая муха.

Уговорили, наконец. Урусов давно уже распихал по сумкам тяжелого докторского седла бинты и инструменты. Соловьев увязал рапиры, внимательно осмотрел лужайку.

— Господа, чья пуговица?

Дитерихс повертел в руках.

— Это чья-то шпачья. Пусть лежит.

Бросили. Отвязали коней и стали разбирать поводья. Лошадь Юренича забеспокоилась.

— Ч-чорт! — сквозь зубы проговорил Ася. — Урусов, посмотри, крепко ли привязана. Еще увяжется за нами — возись тогда.

Урусов туже затянул ремни на толстом суку.

— Едем!

— В одноконь, господа. И так оттоптали площадку. Держись по следу.

Дорога пуста. Мы поднимаем коней в рысь.

— Ржет, сволочь, — прислушивается Ася. — Чего там Соловьев застрял? Ходу, ходу!

Лес остается позади. С косогора открывается Коломяжское поле, распластавшиеся пестриною вдоль скакового круга трибуны, конюшни, церковь на горе... далекие, выпятившиеся палисадниками на дорогу дачи... Простор и пыль...

У лужайки, на которой делал вольты Юренич, мы сдерживаем лошадей. Надо подождать Соловьева. Шагом.

— В сущности, ты не имел права на карточчио, — говорит Дитерихс. — Это безусловно смертельный удар. А бой шел до первой крови.

— Отчего первая кровь не может быть и последней?

— И формально, — кивает Ася. — Протоколом карточчио не был запрещен: там четыре других удара.

— На! Кому в голову могло взбрести, что он на такую штуку пойдет. Ведь карточчио — так: попал — смерть, не попал — тебе смерть: с такого выпада не подняться. Игра — va banque!

— А как же еще играть?

Мы помолчали, сворачивая мимо сторожки к парку... Из-за леса, пыхтя паровозиком, выкатился, словно игрушечный, постукивая и подпрыгивая на стыках колесами маленьких вагончиков, дачный поезд.

— А отбить все-таки можно было! — поднял голову Ася. — Я сейчас сообразил комбинацию.

— Так, как сложилась схватка? После coupé, по раскрытому на выпаде противнику — встречным? Не отобьешь.

— Отобью! Едем ко мне сейчас. Идет, Сережа? Кстати, у меня купор сегодня: мадера пришла из-за границы — будет разливать боченок. За завтраком попробуем. Дитерихс, Урусов, едем?

Дитерихс повел усами.

— Что ж... Пожалуй, едем.

Соловьев догонял нас полным галопом.

— Гонит зря! Еще заприметит кто на скачке. Где его носило...

Выровнявшись с нами, он круто осадил лошадь.

— Нашли, должно быть. Когда я был на опушке, «там» бабий голос... как взвизгнет.

— Э, — скривил губы Урусов. — Дьявол их носит грибы искать.

Ася сморщил, сколько мог, свой не хотевший морщиниться лоб: — А ну...

Он толкнул лошадь, выбросился на два корпуса вперед из нашего ряда и, слегка запав левым плечом, в наклон конской шее, — полным раскатом прошедшим по парку голосом скомандовал:

— Эскадрон, равнение на середину, середина за мной — марш, марш!

Взвыл ветер в ушах. Мы скачем, оставив далеко позади доктора, трясущего на казенном Россинанте, между туго набитых сумок, свое огрузлое жиром и печенью тело.

. . . .

Мы вышли с Соловьевым от Аси уже под вечер. На Литейном мальчишки бежали вприпрыжку, помахивая газетными пачками.

— «Вечерние биржевые»!

— Экстренные события! Чрезвычайное убийство досмерти патриотического губернатора! «Вечерние биржевые»!

— Скоры на-руку, писаки-то, дери их раздери, — пробормотал, улыбаясь в усы, Соловьев. — А ну, почитаем. — Он поймал пальцем мальчонка за шиворот.

— Получай, твое счастье. Какого, говоришь, губернатора?

— Патриотического, ваша милость. Сдачи, извините, не найдется.

— Брысь, голопятый.

Он развернул лист и покрутил головой.

— Мадера добрая, глаз у меня что-то... двоит. Или темно уже? Ты разберешься?

На третьей странице, жирным шрифтом, в рамочке.

**Убийство вице-губернатора Юренича.
Убийцы обнаружены.**

— В-врут с первой строчки, — фыркнул Соловьев. — Читай, что там наворочено.

«Сегодня, в девять часов утра, в лесу близ Коломяжского ипподрома найден убитым тамбовский вице-губернатор статский советник В. В. Юренич, прибывший на этих днях в столицу для личного доклада его императорскому величеству об усмирении аграрных волнений, возникших текущим летом в означенной губернии.

На теле убитого обнаружено свыше 40 ран. По заключению врачей, покойный был подвергнут перед смертью истязаниям. Из засунутой в рот — неслыханным издевательством — записки явствует, что убийство совершено по приговору партии социалистов-революционеров. Следствием установлено, что вице-губернатор Юренич прибыл к месту своего убийства верхом на лошади, поданной ему из манежа в 6½ часов утра. Дело передано следователю по особо важным делам. След преступной шайки установлен. Произведены аресты».

— Сорок ран! Где же они его так истыкали? Ах, сволочь охранная, романисты! — весело дыша мне в лицо тяжелым запахом мадеры, бормотал, заплетаясь языком, Соловьев. — Ну, видишь, все в порядке — пошло по линии. А Дитерихс еще беспокоился. Прокурор теперь там вздернет кого-нибудь из социалов: наверно есть на примете. И останется ото всего — крест да обложка! Едем в «Аквариум»: выпьем за то, что ты его так с-саданул. Я, брат, все предусмотрел.

— Ты тут при чем?

Соловьев ухмыльнулся.

— Записку я сочинил или не я?

— Ты?

— Обязательно! Совесть-то у меня есть? Суд — дело случайное: подловили бы там еще кого, без прямого отношения — док-казывай. Пусть лучше из социалов вешают. Им так и надо. Плеве — кто грохнул? Великого князя кто?.. Сволочь... Одних стекол сколько бомбой перебили. Пусть и за Юренича отвечают — один конец.

Он заглянул под шляпку проходившей даме и прищелкнул языком.

— А в рот как записка попала?

— Да куда же ее? Просто положить — ветром сдует или вообще... слетит. В карман?.. А ежели ему брюки сопрут?.. Я ему в зубы и втиснул. У него на правой стороне двух зубов не было: так я туда, в ды-рочку.

Я сел в стоявшую у панели пролетку.

— Ты куда? — остановился прошедший сразгона дальше Соловьев. — Не говоришь: знаю! Без меня хочешь? Ну, поезжай, поезжай, сделай мне удовольствие... Как ты его с...саданул! Обидно: рассказать нельзя... Даже л-любимой женщине...

ГЛАВА VIII

«ОТЦЫ»

Игорь был правильно осведомлен: меня вызвали на явку Центрального комитета: Лиговка, 36, 3-й этаж, зубоврачебный кабинет.

ЦК хорошо выбрал место. Улица — людная, особенно в утренние и вечерние часы, когда между центром и рабочими кварталами, в которые упирается Лиговка, притекают и оттекают идущие на работу и с работы: арте-

риальная городская кровь — утром, венозная — вечером... Филерское наблюдение на таких улицах трудно: легко затеряться в толпе. И дом 36 — удобный: шестиэтажный, громоздкий, многоквартирный, подъезд по обоим рантам обведен белыми, синими, черными, в разный формат дощечками-вывесками: конторы, доктора, адвокаты: уследи, кто к кому.

Я вошел, поэтому, не смущаясь тем, что, проходя, увидал под воротами понурую фигуру шпика. Шпик был, впрочем, сонлив и жалок и явственно занят, больше всего на свете, дырой, обнаруженной им на собственной калоше. На стук отворяемой двери он даже не поднял глаз.

Звонок — условный, тройной: один долгий, два коротких. Открыла докторша, в пенснэ, в белом халатике, черные жесткие волосы узлом на затылке. Не дослушав пароля, она приоткрыла низкую дверь — прямо из прихожей — и посторонилась, пропуская меня. Глаза у нее были печальные и ждущие: революции или ласки? Я прошел.

Близ широкого, суровой полотняной портьерой задернутого окна, у зубоврачебного кресла, вздыбившего новенькое кожаное, не потерявшее лака сиденье, стоял спиною ко мне, ширококостный, сутуловатый мужчина и усердно качал ногою педаль бор-машины, кивая в такт нажимам густою шапкой кудреватых седеющих волос. На диване, влево от двери, поджав под грузное, огромным казавшееся тело тонкую, словно от чужого туловища приставленную ногу, сидел второй. Уродливые, толстые, вывороченные губы, складками обвисшее по закраинам лицо; но глаза — едкие: смотрят — видят.

Кудреватый оглянулся. Он был толстонос и слегка косил. Остренькая бородка выклинивалась над кадыком, аккуратно обведенным замусленными отворотами белого

воротничка. Он быстро вздернул ногу с педали и подошел, потирая руки. Колесо пискнуло с разбега и круто остановилось.

— Товарищ Михаил? Из Офицерского союза? Присядьте. Центральный комитет поручил нам вот, с Иван Николаевичем, переговорить с вами кой о чем. Иван Николаевич, ты скажешь?

Иван Николаевич лениво посмотрел на кончик лакированного сапожка, высунутого из-под сюртучной фалды, и еще глубже подтянул чужую ногу.

— Все равно, говори ты, Виктор.

Косой глаз ушел от меня куда-то далеко в сторону. Виктор сцепил пальцы и снова разнял их.

— Дело идет о союзах, в которых вы работаете: Офицерском — вы там председателем?

— Только член президиума.

— Не формально, но фактически вы — председатель. Что касается Боевого рабочего союза, то в нем вы и формально даже председатель.

— Формально, но не фактически.

Виктор улыбнулся и погрозил пальцем, отставив мизинец.

— Так или иначе... В течении событий оба союза эти приобретают особенное значение: ударная сила по всем данным в ближайшее время понадобится. О Боевом союзе мы несколько осведомлены, поскольку в дружинах имеются и наши партийцы. Но вот Офицерский союз... Сколько у вас офицеров?

— Числится много, особенно в провинции, в армейских полках. Но стóющих — мало...

— Стóющих — в смысле чина или в революционном смысле?

— Революционном.

— Уровень сознания, в среднем?

— Ближе к романам Дюма-отца, чем к Марксу или даже Михайловскому.

Иван Николаевич приподнял брови и глянул, с усмешкой. Кудреватый перехватил косым глазом взгляд, хотел сказать что-то, но, видимо, раздумал и, помолчав, спросил сухо:

— В каких чинах?

— Молодежь, конечно. Субалтерны. Штаб-офицеров — два-три. Есть, впрочем, даже один генерал.

«Отцы» переглянулись.

— Генерал? — смягченно развел хмурые складки на лбу Виктор. — Это очень хорошо. Почему он примкнул?

— Насколько я слышал, его обошли орденом.

Кудреватый хохол мотнулся в такт и лад смешку.

— Вот видите, оказывается, и ордена кое на что пригодны! Обиженный генерал — это очень, очень хорошо. Он здесь, в Петербурге?

— Нет. На Дальнем Востоке.

— Значительно хуже. Фамилия?

— Деникин.

— Немец?

— Я не видал его формуляра.

— Если немец, это значительно лучше: у немцев — метода. Чем он командует?

— Штабной.

— Это хуже. Но ведь он мог бы, вероятно, возглавить в случае надобности и строевую, так сказать, армию? Как вы думаете?

— Я о нем не имею пока представления. Дальневосточная организация сообщила нам, что он вступил в союз. И только.

— Очень, очень ценно, — еще раз повторил, покачивая головой, Виктор. — Жаль только, что в России нашелся пока всего только один Деникин: нам бы еще

парочку, другую. Молодежь — это прекрасно, конечно. Пафос борьбы, самопожертвование, да... Но для твердости победы — и тем более для строительства — нам нужны не лейтенанты... увы, даже не лейтенанты Шмидты, — но генералы Деникины...

Он сделал паузу и вздохнул.

— Надо смотреть правде в глаза: рассчитывать на успех социалистической пропаганды среди солдат не приходится — чуть не девяносто процентов неграмотных. Весь расчет на офицеров: войска придется подымать на революцию по команде. ЦК придает поэтому особое значение Офицерскому союзу. Своевременно принять меры к усилению партийного влияния в нем. Прежде всего: орган. У вас ведь нет собственного печатного органа? Мы ассигнуем средства и поможем нашей техникой.

— Я доложу об этом предложении президиуму.

Виктор поморщился.

— Раньше чем докладывать, надо условиться: такие вещи, вы понимаете сами, не делаются без гарантий в направлении органа.

— В президиуме союза большинство за социалистами.

— Но из народников — только вы один: значит, остальные — социал-демократы.

— Для очередных задач, тем более задач боевых, это же не имеет значения: у нас в президиуме никаких фракционных разноречий нет. По редакционным вопросам мы столкуемся без труда.

— И без различия направлений? Это нам не подходит: с какой стати мы будем обслуживать социал-демократов? ЦК полагает необходимым ввести в состав вашего президиума одного из наших ответственных работников. Именно: Ивана Николаевича.

— Это абсолютно невозможно.

Иван Николаевич пошевелил толстыми губами и сощурился.

— Почему?

— Союз наглухо закрыт для «вольных». Офицеры допускают в организацию только своих, — тем паче в центральный выборный орган.

— Столь конспиративны?—пренебрежительно и зло бросил Толстый.

— Напротив: они совершенно не умеют конспирировать. Именно потому они так и боятся «чужих». В своей среде они гарантированы от доноса: в полку ни один, даже архи-контрреволюционер, не донесет жандармерии на товарища; в крайнем случае вопрос решится келейно, в полковом же кругу: предложат уйти из полка — если полк очень черный. Но ни ареста, ни обыска офицер может не опасаться, пока он не связался с «вольными». Ни на какую кооптацию офицеры не пойдут.

— Но, в таком случае, какая же это революционная организация? Это та же каста!

— А вы что думали? — пожал я плечами. — Берите ее как есть. Что до меня, то я даже не буду вопроса вносить о кооптации.

— То есть как — «не будете»? — переспросил Виктор и нащупал косящим глазом Толстого. — Я вам передаю определенную партийную директиву.

— Подожди, Виктор... — Иван Николаевич крякнул, выпростал ногу и потер коленку. — Не горячись. С офицерством, действительно, условия особые, тут нужен особо осторожный подход.

— Я не о том, — досадливо перебил Виктор. — Я ставлю вопрос принципиально: Игорь уже несколько раз ставил вопрос об урегулировании отношений. Товарищ Михаил привлечен к нашей военной дружинной работе,

для нас он — совсем свой. Он имеет партийные явки, бывает в Комитете, даже выступает на митингах — хотя это совершенно неблагоразумно, потому что рисковать своим общественным положением, имеющим для нас исключительную ценность, он ни в коем случае не должен. Но, входя в партийные дела, товарищ Михаил в то же время абсолютно отстраняет партийные органы от союзов, в которых он играет руководящую роль. Он держится по отношению к нам феодалом.

Иван Николаевич усмехнулся.

— Да, да, именно — феодалом. Партия для него — сюзерен, по призыву которого он является «конен, люден и оружен», но... на известных условиях. Он, определенно, считает себя свободным в своих действиях. И...

Толстый медленно и тяжко поднялся с дивана.

— Ты опять не то говоришь, Виктор. Ты зря осложняешь вопрос. Формальный момент никакого значения здесь иметь не может. Товарищ Михаил по всем отзывам ценный работник, хорошо знает боевое дело, и до сих пор, поскольку я знаю, никаких отказов от выполнения партийных указаний с его стороны не было. Почему предполагать их в будущем?

Виктор пристально посмотрел на Ивана Николаевича.

— Ты меняешь мнение. В Центральном комитете ты был первым за введение в союзы официальных представителей партий.

— Совершенно правильно, но совсем не для ограничения «феодализма» товарища Михаила, а главным образом, для перестраховки, на случай его провала. Ведь, в конце концов, все мы под богом ходим. Конечно, вы законспирированы, как никто — уже самым положением вашим. И мы охраняем это положение, как только можем. Ваше настоящее имя известно только некоторым

членам ЦК, но... его величество Случай... В предвидении его хорошо бы перестраховаться двойной или тройной связью. И партийная работа в ваших союзах тоже бы не повредила: ведь программы, в сущности, социально-политической ни там, ни тут нет, а дружинники ваши, по рассказам, и вовсе дикари. Но если это вызывает осложнения...

Виктор повел плечами.

— Я, все-таки, остаюсь при своем. И уверен, не сегодня, так завтра нам к этому придется вернуться: руководство требует строжайшей централизации.

— Ну, и централизуем, — примирительно протянул Иван Николаевич. — Никто против этого не возражает. С сегодняшнего дня мы установим с товарищем Михаилом регулярные встречи: по вторникам, скажем, здесь, от пяти до шести. Подходит? Мы будем иметь информацию, он будет иметь директивы. На первое время — довольно: а там — видно будет.

Я встал и поклонился, готовясь выйти. Виктор остановил меня.

— Еще минуту. Вы читали, конечно, в газетах о казни Юренича?

— Читал.

— В правительственном сообщении, как всегда, правда и ложь. Правда в том, что Юренич убит по приговору партии, но все остальное — вымысел. Мы приготовили по данному поводу соответственное заявление. Но до опубликования его нам было бы существенно выяснить некоторые детали.

— Какие именно?

— В газетах промелькнуло сообщение, будто баба, нашедшая труп, видела перед этим в лесу каких-то офицеров. Офицерскому союзу по делу Юренича ничего не известно?

— С о ю з у? Нет.

— Вы как будто акцентируете: с о ю з у? Может быть, известно лично вам?

— Мне? Да.

Толстый двинул бровями и, откинувшись на спинку дивана, тщательно и глубоко подогнул ногу.

— Что же именно?

— Прежде всего, что Юренич убит не по приговору партии.

Виктор улыбнулся снисходительной и соболезнующей улыбкой.

— То есть, как не по приговору, когда я вам докладываю, что приговор был вынесен Центральным комитетом?

— Юренич убит на дуэли.

Иван Николаевич вздернул ногу с дивана. Виктор захлебнулся набежавшей слюной.

— Ну, уж это...

Он подумал секунду и докончил убежденно:

— Свинство.

Глаза Ивана Николаевича глядели на меня исподлобья, тяжело и остро. Холодные и чужие глаза.

— А как же записка, найденная на трупе?

— Написана одним из секундантов, чтобы навести следствие на ложный след.

Толстый засмеялся, попрежнему отводя глаз.

— Недурно придумано. Можно поручиться, что охранное клюнуло на приманку. Вы вполне ручаетесь за ваши сведения?

— Конечно.

— Вы знаете, может быть, и то, с кем дрался Юренич?

— Знаю.

— С кем?

— Со мной.

Виктор оглянулся, крякнул, притопнул каблуком и сел. За стеной детский голос уверенно и весело догнал фортепианный, одним пальцем, наигрыш:

Жил-был у бабушки серенький козлик...

— Неслыханно! Революционер, социалист — на дуэли... с приговоренным. Что же прикажете нам теперь делать?

Он был искренно растерян. Кудреватые волосы хохлились во все стороны. Я сказал со всей мягкостью, на которую способен:

— Но я полагаю, что здесь, в сущности, ничего не осталось доделывать.

— То есть как? — Он изловчился и посмотрел на меня обоими глазами сразу. — Вы не понимаете, в какое глупейшее положение вы поставили партию? Вы можете считаться партийным. Юренич приговорен был партией. Вы его убили: но — без санкции, и притом — чорт знает как! на дуэли. Можно ли это считать выполнением приговора...

— Для меня здесь вопроса нет. Право на кровь передоверить нельзя. Приговорить может только тот, кто лично своею рукой выполняет приговор.

— Вы отрицаете право приговора за ЦК?

— За ЦК и за кем угодно. Чтобы убить, нужно личное убеждение, совершенно твердое, что этот человек должен быть выброшен из жизни. Чужое мнение тут не при чем.

— А вы подумали о том, что же это такое будет, если ответственных политических работников вроде Юренича будет убивать каждый, кому вздумается!

— Я говорил об убежденности. Убеждение на кровь дается не так легко.

Иван Николаевич махнул пухлой ладонью.

— Чем дальше в лес, тем больше дров. Оставим теорию: у него явно опаснейший идеологический уклон.

— Вопрос, все-таки, остается открытым: как же быть?

— Прокламация готова, — прищурился Иван Николаевич. — Сдавай в набор. Кстати, чем вы убили Юренича?

— Рапирой.

Виктор зажал обеими руками виски.

— Это же форменный скандал! Если бы хоть из пистолета!

— Д-да, на этот раз, действительно, феодализм форменный, — посмеиваясь, потянулся с дивана Толстый.— А мне все-таки — нравится, ей-богу. К слову сказать, однако: не может случиться, что вся эта история выплывет наружу? Хороши мы будем тогда с нашей прокламацией, об'являющей акт партийным!

— Секунданты не проболтаются, можно быть уверенным. Особенно, если будет прокламация.

— А если бы вас... арестовали, например? Вы подтвердили бы, что выполнили приговор?

— Я этого вопроса не понимаю.

— Но ведь вы же убили Юренича по политическим убеждениям?

— Да.

— Стало быть — косвенно, так сказать, — вы выполнили постановление ЦК. И если вас арестуют...

— Я опять-таки не понимаю вас. Привлечь меня к этому делу могут ведь только в том случае, если станет известно о дуэли. Никак иначе, верно ведь? А если станет известно о дуэли, при чем тут приговор партии? Тогда вступят в свои права секунданты, протокол дуэли.

— А такой протокол есть?

— Конечно. Секунданты на крайний случай должны же застраховать себя: все есть, что требуется по форме.

— В самом деле, как это я не сообразил сразу, — быстро сказал Иван Николаевич. — Вопрос исчерпан. Будем надеяться, с вами ничего не случится. До следующего вторника, не правда ли?

Толстая рука прижалась к моей — теплым и крепким пожатием. Виктор, разводя глазами, сунул узловатые пальцы.

Уже в дверях я вспомнил:

— Да, к сведению. Под воротами филер.

Иван Николаевич кивнул:

— Знаем.

. . . .

На своем столе, в кабинете, я нашел, вернувшись домой, узкий плотный серый конверт. У сгиба заклейки — герб Бревернов, под баронской короной.

Записка в две строки: Бреверн просил зайти от двух до трех, в ближайшие дни.

В четверг, через три дня, рота Карпинского заступает караул во дворце. Стало быть — до четверга. В среду?

Я снял телефонную трубку.

— 407-30.

Не отвечают. Карпинского, по обыкновению, нет дома.

ГЛАВА IX

ПАМЯТИ ДЕКАБРИСТОВ

Карпинский так и не отозвался на телефонные звонки: ни вечером, ни наутро. Пришлось самому поехать в полк. Казармы — старой стройки, отдельными, маленькими, одно- и двухэтажными кубиками—рассыпаны по огромному плацу, утрамбованному поколениями тяжелых сол-

датских сапог. Я заплутался в улочках полкового городка, меж пыльных корпусов. Пришлось спросить.

— Четвертая рота? Как до угла дойдете, ваш-бродь, округ того корпуса обернете, так она и будет, по праву руку.

Я прошел. Углами осевшие в землю, перетрескавшиеся плиты тротуара вдоль облупленной охряной казарменной стены цепляли подошву; приходилось смотреть под ноги: на перекрестке я чуть не наткнулся на стоявшего истуканом солдата.

С судками в руке, с бескозыркой на затылке, подобрав к скулам рыжие, сплошь засыпанные веснушками щеки, он тянулся застылыми глазами и ощеренным испуганной улыбкою ртом — вправо, за угол, вглубь открывшегося за поворотом плаца. Он не заметил, как я подошел; не посторонился, не отдал чести. Я обогнул его: в глаза метнулось, совсем близко — тридцати шагов не будет — распластанное на скамейке — от поясницы до коленного сгиба обнаженное — тело перед вытянутой в нитку, вздвоенной шеренгой солдат. Группа офицеров на фланге, фельдфебель, кучка солдат в стороне скамейки. Карпинский, шевеля в воздухе пальцами, то сжимая их в кулак, то снова распуская их дрожью, говорил, лицом к роте. Слов нельзя было разобрать — они шли от меня, быстро и глухо, но по нарастанию голоса, по тому, как сжималась и разжималась ускоряющимися бросками рука, было ясно, что он кончает.

Кончил. Кивнул козырьком надвинутой на лоб фуражки, и шеренги отозвались всегдашним покорным, деревянным откликом... Сто палок враз по деревянной доске...

Он отступил к флангу. Фельдфебель мигнул — всей головой, напружив мясистый простриженный затылок. Четыре солдата из кучки, перебросясь словами, разо-

шлись в крест, окружая скамейку. Смуглый ефрейтор с серьгой в ухе, с новенькими нашивками на погонах, цыганистый и не по-солдатски вертлявый, лихо занес фасонистый сборчатый сапог и сел на растянутые по доске, опутанные спущенными штанами ноги. В один темп с ним второй — нашивочный тоже — тяжелой медвежьей ухваткой навалился на плечи лежавшего, зажимая голову и руки. Два остальных, справа и слева, лицом друг к другу, пряча глаза, встряхнули в руках, разминаясь, черные, гибкие, расщетинившиеся в стороны прутья.

— Раз! — отчетливо сказал Карпинский.

Тело дернулось — раньше, чем розга перекрыла кожу сеткой издалека видных красных рубцов.

— Два!

Сетка перекрыла сетку. Справа налево, вперекрест, в шахматную доску.

На плацу было тихо. Шеренги смотрели в упор, моргая ресницами, в такт взмахам двух пучков, режущих воздух, кожу и — глаз. Карпинский командовал. Две головы над концами скамейки откидывались при каждом ударе, словно им казалось, что они загораживают простор — удару и стону.

— Пятнадцать! Отставить.

Солдаты отступили, тяжело переводя дух, разводя крепко, убойно сжатые челюсти. Ефрейторы выпустили ноги и плечи. Высеченный торопливо поднялся, трясущимися руками подтягивая штаны.

— Сидорчук, смирно! — неожиданно крикнул задорным баском подпоручик с фланга.

Солдат вздрогнул и пустил руки по швам, по форме разжав ладони. Штаны медленно поползли вниз, вновь обнажая тело. Офицеры засмеялись. По солдатским рядам, срывая напряжение, прошел резкий, не смешливый гогот.

— Чему обрадовались? — крикнул, перестав смеяться, Карпинский. — Всех бы вас, собственно, следует... кого за что. Вольно! Разбирай лозу, лупи друг друга, чтоб никому не было обидно.

Солдаты, ломая строй, затеснились к скамейке; под пересмех и вскрики в воздухе замелькали прутья раздерганных лозных пучков.

— В роту. Бегом — марш!

Рядом со мной денщик с судками, очнувшись наконец, побежал прочь по тротуару, подпрыгивая на завороченных плитах. Шумной гурьбой, подхлестывая друг друга, свистя и пересмеиваясь, затопотали мимо меня солдаты. Сидорчук бежал, замешавшись в толпу, потный и красный, припадая на одну ногу.

Мы встретились глазами с Карпинским. Лицо стало сразу настороженным и злым; он отвел взгляд — легким кивком к ограде в сторону улицы — и прошел с офицерами мимо, официальным поклоном приложив руку к козырьку. Как незнакомый.

Я вышел за ворота. Через несколько минут вышел и он, в пальто, с крепко зажатой в зубах папиросой.

— Видел?

— Видел.

— Ну, и прекрасно. Я, все равно, доложил бы Центральному комитету союза — хотя, по существу, и докладывать нечего. В конце концов, это домашнее, чисто полковое дело, и иначе поступить я, — не только по человеческому, но и по революционному своему долгу не мог. Я спас человека. Да, да! Спас. У Сидорчука при повальном обыске фельдфебель нашел воззвание к солдатам.

— Нашего союза?

— Да. Ты понимаешь, чем это пахнет. В лучшем случае — арестантские роты; вернее — каторга. Правитель-

ство ничего так не боится, как революции в войсках, сам знаешь: тут оно бьет — без пощады, за малейший проблеск. Дать делу ход — загубить человека. Я решил его спасти. Я потребовал к себе Сидорчука, фельдфебеля, ефрейторов и унтер-офицеров — и сказал: так и так, отдать под суд — загубим парня и на полк пятно: первый случай в гвардии. Позор! Кончим вопрос по-семейному: пятнадцать розог, прокламации в печь и никаких разговоров. Командир разрешит, хотя устав воспрещает телесные наказания. Командир у нас — коренной, с подпоручьего чина в полку, ему полковая честь дороже собственной. Солдаты мои в голос: «Ваше высокородие, будьте отцом родным — окажите благодеяние». Ты видел, как отнеслась к этому рота? Я разрешил вопрос демократически.

— Гракх сказал: «я апеллирую к народу». А Сидорчук?

Карпинский сплюнул в сторону изжеванный мундштук папиросы.

— Сидорчук? Ничего. Молчал, но по глазам было видно: рад.

Он сделал паузу, искоса оглядывая меня.

— Ты что же, считаешь, что это неправильно?

— Чтобы член революционного союза сек другого члена союза за найденные у него союзные прокламации?

— Всякое дело можно окарикатурить! — вспыхнул Карпинский. — Ты передергиваешь. Прежде всего Сидорчук не член офицерского союза и не может им быть: примкнуть к революции не значит еще быть произведенным в офицеры. Солдатская организация не случайно отделена от нашей. Дисциплинарные отношения должны сохраняться во всей силе, иначе воспоследует анархия. Сидорчук из крестьян, телесное наказание для него совсем не представляется позорным. Тут никакого по-

ругания нет... Наконец, если на то пошло, Пестель и тот сек. А после революции — Россия поставит Пестелю памятник.

— Не доказано.

— Может быть, ты глядишь выше, — язвительно усмехнулся Карпинский. — Для меня декабристы достаточный идеал: я не стремлюсь дальше. Я уверен, что каждый из них на моем месте поступил бы совершенно так же. Из-за — прости меня — интеллигентского чистоплюйства — потому что предпочесть суд было бы именно чистоплюйством — губить человека... Или, по-твоему, надо было просто уничтожить прокламации, попробовать покрыть Сидорчука? Фельдфебель донес бы обязательно: ты знаешь сверхсрочных: все до одного продажные шкуры. Я рисковал бы только пойти под суд вместе с Сидорчуком: две совершенно бесцельные, а стало быть вредные для дела революции, жертвы. Надо быть реальным политиком, иначе пропадешь за-зря.

— Некто, играя на мелок и проиграв, стер рукавом, вставая, запись, и сказал: «Надо быть реальным политиком, иначе пропадешь за-зря». Это — не мое: это — из Кузьмы Пруткова. Из «Сборника d'inachevè». Ненапечатанного.

Карпинский остановился и вынул руки из карманов пальто.

— Послушай, если я тебя верно понял... За кого же ты меня считаешь?

— Ты сам же определил себя «декабристом». Тысяча восемьсот двадцать пять — тысяча девятьсот пять.

Он моргнул глазами, соображая.

— Мне что-то не нравится в твоем... иносказании. Но мне не хочется углублять вопрос.

— Мне — тоже. Перед делом.

Карпинский быстро осмотрелся по сторонам. На улице были только редкие пешеходы.

— Я видел приказ по гарнизону: в четверг вы вступаете в караул.

Он тщательно раскурил папиросу, заслонив ладонями рот, и ответил не сразу.

— Да, вступаем. Но обстановка несколько изменилась.

— А именно?

— Кривенко отказался.

— Отказался?

— Ну да, — отводя глаза, досадливо поежался Карпинский. — Признаться, я с самого начала не совсем был за него спокоен: он вообще очень неуравновешенный.

— Никто же ему не предлагал: сам вызвался...

— Вызовешься! Видел бы ты, как его тогда, в лагере, великий князь Владимир костил. Прямо матерным словом, как извозчика... Офицера гвардии! Да еще при всех — весь генералитет на линейке был; и при государе: его величество изволил улыбаться... За ерунду, в конце концов... С кем на дежурстве промашек не бывало. Кривенко — из старых дворян. Он, конечно, взорвался. За обиду — расчет на кровь. На дуэли с высочайшими не дерутся. «Сквитаемся цареубийством». Ну и предложил: в первый же внутренний караул. И ежели бы через день или даже через неделю... сделал бы.

— Когда отказался Кривенко?

— Вчера за ужином. Таубе, баронессу, помнишь? Белокурая такая, кипсечная, он за ней уже второй сезон ухаживает. Кажется, дело у них на свадьбу пошло. Он, по крайней мере, на это определенно намекнул. Ежели так — поручику, действительно, рисковать головой смысла мало... Вчера вечером отказался. Я не успел еще поэтому дать тебе знать.

— Кем же вы решили заменить Кривенко?

— Заменить? Об этом я не подумал даже, разве найдешь замену? Из наших никто не возьмется.

— Значит, придется со стороны?

— Что ты! Каким способом? Загримировать кого-нибудь под Кривенко? Солдаты опознают. Да и офицеры... ведь в роте кроме Жигмонта и Кривенко — своих нет. Сухтелен может еще считаться нейтральным: в случае чего, я думаю, его удалось бы уговорить. Но оба моих штабс-капитана — и Бринкен и Полторацкий — монархисты такие, что к ним не подступись. Да я не знаю даже, согласились ли бы на обмен Жигмонт и сам Кривенко. Нет, абсолютно невозможно... Придется поставить крест.

... Грим, конечно, вздор. Но упустить такой случай... Во внутреннем карауле удар удастся шутя. Здесь не может быть неудачи...

Я посмотрел Карпинскому в глаза.

— А сам ты? От своего решения, которое принял, когда Кривенко предложил себя, ты не отказываешься?

Карпинский выдержал взгляд.

— Конечно, не отказываюсь. Дворцовый переворот — не бунт. Я уверен, он всеми был бы встречен сочувственно. Николай не популярен — даже в гвардии... кроме конвоя его величества, с которым он каждый день играет на билliарде. Но конвой... Мирзоевы и Ахметбековы... разве это в счет... кавказская знать, баранье дворянство...

— Тогда... вот что. Ты можешь достать образец подписи полкового ад'ютанта и вашей печати?

— Это зачем? — подозрительно глянул Карпинский.

— Кривенко подаст рапорт о болезни. В четверг, перед выступлением роты во дворец, к тебе явится офицер

и пред'явит приказ о прикомандировании к твоей роте. Ты возьмешь его — вместо выбылого Кривенко. Он пойдет с вами в караул, а дальше — все само собою понятно.

Карпинский остановился.

— А это, знаешь... идея, — сказал он с расстановкой. — Это даже лучше Кривенко, потому что при такой постановке полк остается в стороне. Можно даже еще тоньше сделать: пусть он присоединится уже на ходу роты. Ведь может же он запоздать... А на ходу, совершенно понятно, что я не проверил документа. Как его проверишь? А приказ — у вас там... сумеют?

— Форму, образцы подписей и печати ты мне дашь сегодня же. У нас еще два дня: в паспортном бюро партийном успеют. Вы вступаете в полдень?

Карпинский кивнул.

— Да. А подписи и печать достать — ерунда! На любом приказе. Я даже бланк тебе достану, если хочешь, для верности. Вышлю на минутку писаря из канцелярии и возьму. Это все — пустое дело.

Он совсем разгорелся.

— Чудесно выйдет. А главное — полк в стороне. Признаться, у меня по этому делу немножко на сердце посасывало: замешать полк. А ежели да неудача? Грязью закидают... Ах, как ты славно придумал...

И вдруг оборвал сразу.

— Постой. А у вас найдется там настоящий, чтоб знал устав и вообще... с выправкой. Ты меня знаешь: я — службист, и горжусь этим. У себя в строю, в карауле я растёпу какого-нибудь допустить не могу. И чтобы мундир... Вот еще это... Как с мундиром? Какого полка? Как бы не нарваться. В Питере отпускников всегда труба нетолченая. Встретишь, кого не надо.

— Из дальних придется взять.

— Ну, это тоже... Из дальних-то из дальних... В гвардию не из всякого полка берут. Притом необходимо не из шефских. У Романовых память какая, знаешь? Николай в своих подшефных полках офицерский состав поименно помнит. Неровен час...

Он подумал, напряженно морща лоб.

— Или Апшеронский, или Литовский возьми. И далеко стоят и хорошие полки: боевые — хоть всем полком переводи в гвардию.

— Литовским полком мой дед в венгерскую кампанию командовал.

Карпинский радостно потер руки.

— От Литовского и прикомандируем. Да, конечно же!.. Что я в самом деле! Ведь недавно еще был в полку разговор — переводят к нам кого-то из литовцев... Даже фамилию называли... Эх... не вспомнить!.. Обязательно из Литовского, значит. Видишь ты, как ладно выходит по всей линии... Мундир знаешь где? У Шаповаленко, на Гороховой. Он, если к спеху, в одни сутки пригоняет... Хотя... — он запнулся, — если что... опознают сразу, откуда...

— Потом? Что ни случись — разве не все равно?

Глаза капитана затуманились.

— И то... — сказал он тихо. — Но дело, как будто, без зацепки... Ты ему для представительности Станислава с мечами, что ли, нацепи... Или даже Анну... И рака на шашку...

— Кому ему?

— Да прикомандированному... А как его звать будут?

— Придумай.

— Сейчас? Тут так просто нельзя: надо что-нибудь такое, с идеей.

Он подумал и сказал коротко и решительно:

— Силин. Александр Силин. Поручик.

— Силин, так Силин. Вернемся? Ты мне сейчас передашь бланк и прочее.

Капитан замялся.

— Нет, знаешь... Я лучше завезу тебе к вечеру. Сейчас меня ждут, признаться.

Он схватился за часы и охнул.

— Матеньки! Мне уже надо бы на Морской быть... А мы с тобой в какую глушь загнались! Тут пока до извозчика доберешься. Опоздаю... А женщины, знаешь... Я уж один. Тебе ведь не к спеху...

Он торопливо попрощался, глубоко загрузил руки в карманы и пошел широким, разгонистым «берсальерским» шагом назад по той самой дороге, по которой мы шли.

ГЛАВА X

ОПЯТЬ «ОТЦЫ»

Бреверн приподнялся мне навстречу из-за огромного, красного дерева с бронзой, ампирного стола.

— Вы простите, что мы... я разумею нас всех — баронессу, меня и... дочь (он чуть двинул седыми насупленными бровями)... вас потревожили. У нас к вам просьба и, предупреждаю, очень необычная. Курите, сделайте милость.

Он пододвинул хрустальную, оправленную в серебро шкатулку с папиросами и помолчал, по-рачьи поводя колючими, стрижеными усами.

— Вы ведь знаете Магду?

— Я имел удовольствие видеть Магду Густавовну у Акимовых.

— Да, да... мой вопрос имел утвердительный характер. Итак. Я буду говорить с простотой, которая нам, старым солдатам, свойственна. Дело идет о Магде. Я дол-

жен вам сказать, это — девушка совершенно исключительных дарований: это — не пристрастие отца, это — общее мнение всех, кто имел случай. Даже философ Соловьев, тот самый, у которого много книг (я ловлю ваше удивление: не удивляйтесь — случайное летнее знакомство, по поволжскому нашему имению), часами — я говорю пунктуально — часами беседовал с нею и уверял в последующем баронессу, что беседы эти дали ему — как это называется? — многие корни. А Магда была тогда еще ребенком. Конечно, этот monsieur не нашего круга, — но все же он, quand même, философ и, говоря откровенно, у него есть здравые мысли о католисизме. Enfin, его мнение можно отметить, неправда ли? Но вернемся к непосредственному. Мы воспитывали Магду дома: в общую школу с разночинцами ей — мне не нужно вам говорить — неудобно было ездить. Смольный? Ну, мы оба с вами хорошо знаем, что такое Смольный. Тем более, что она хороша собой. И потом — здесь или там — разве это образование, которое нужно á une fille bien née...

— Я плохо улавливаю, барон...

— Баронесса всегда упрекает меня в многословии,— оскалил желтые крупные зубы Бреверн. — И государь император при докладах всегда говорит: «Бреверн, начинай с конца». Но, в конце концов, у каждого свой талант и, говоря откровенно, я не вижу оснований стремиться к краткости: ведь все равно — молчать приходится только во время заседаний Совета и во сне: в остальное время, кончив говорить об одном, сейчас же надо говорить о другом. Смены только утомляют: это одинаково верно и для женщин и для тем. Вы не разделяете этого афоризма — вы молоды: молодость ищет утомления, мы, старики, ищем базидиального. Не правда ли?

— Базидиального? Гриба, размножающегося посредством базидиоспор? Простите, этот символ мне не вполне ясен.

— Почему гриб? Я разумел: монумент. Base, base — базидиальный — прочный. Так нельзя сказать? Н-но! Вам и книги в руки; я старый солдат и могу ошибиться в гражданском термине, не правда ли?

Сощурясь, он сильно затянулся сигарой, сердито вздрагивавшей меж толстых и морщинистых пальцев; жест напомнил мне «правило адмирала Скрыдлова», о котором одобрительно рассказывали знакомые моряки: когда вспылишь — раскурить сигару и не заговаривать, пока ее не докуришь.

— Enfin, я иду к развязке. Магда закончила цикл, который ей могли дать учительницы; учителей — по причинам понятным — мы не могли к ней приглашать. Но женщины — даже ученые — много ли они знают? И главное — они не знают главного... Я обрываю, иначе я опять отвлекусь: для меня, как почетного опекуна, женское образование — больной вопрос... Ах, это несчастное ведомство императрицы Марии!.. Так или иначе с воспитанием Магды мы пришли втупик: она недовольна достигнутым. Между тем, я не буду делать секрета от вас — это раз'яснит положение, — я, можно счесть, уже дал за нее слово князю Кугушеву. Вы его знаете? Магда еще колеблется, но в предстоящем сезоне, я уверен, это сладится: Кугушев имеет все шансы, не правда ли? Итак, через какое-то время Магда замужем и при Дворе. Это навсегда кладет конец образованию. Надо, стало быть, использовать остающееся время. Я сказал — она знает многое, но ей недостает, быть может, как бы сказать, последнего лака. Вы чувствуете мою мысль?

— К стыду своему, нет.

— Это, действительно, странно, — сморщил губы барон. — Мне казалось, я был достаточно обстоятелен и ясен: мы не могли найти женщины, которая могла бы дать Магде нужный блеск. Баронесса сожалела об этом Акимовой. И та дала мысль.

Он выразительно глянул на меня и кашлянул. Я понял, наконец, и засмеялся.

— Madame Акимова находит, что я мог бы заменить недостающую вам женщину.

— Какой язык! — радостно качнул седой, бобриком постриженной головой Бреверн. — Я чувствую, мы понимаем друг друга с полслова. Да, mon très cher: будем прямы и откровенны, — не правда ли? Ваши достоинства высоки, но, — он беспомощно развел руками, — при всем том, vous n'êtes pas un homme complet, как говорят наши друзья французы. У вас — не все на руках для жизни: она жестока — мы все испытуем на себе ее драконский закон. Ваш батюшка вынужден был пробивать себе дорогу личным и большим трудом. Вам предстоит то же. Только личный труд, никаких других способов жить и — arriver.

— Я полагаю...

Барон жестом остановил меня.

— Да, да! Труд священен: это — истина, это — божий завет. Преклоним благоговейно голову и будем работать, hein? Для занятий с Магдой у вас исключительно удачное сочетание данных: знание, талант писателя, о котором уже говорят, достоинство человека нашего круга, которое позволяет нам доверить вашему руководству Магду на часы занятий без тех опасений, которые были бы естественны по отношению ко всякому другому.

Тон Бреверна, ласковый до приторности, противно резал слух. От слова к слову он точно поднимался ступень-

кой выше: последняя фраза упала уже совсем с высоты... с зубцов баронской башни. Ответить было нетрудно. Но я вспомнил перекрест черных и синих глаз там, на террасе Акимовского сада.

— Я не тороплю ответом, — слегка нахмурясь, снова заговорил барон. — Хотя, признаюсь, не вижу оснований... А, что такое? — Он гневно обернулся к распахнувшейся двери, в которую быстрым плывущим шагом вошел ливрейный лакей. — Без моего звонка? Ты с ума сошел, Семен!

Лакей придержал распахнутый створ двери рукою в белой перчатке и доложил скороговоркой:

— Его императорское высочество Константин Константинович.

Бреверн положил недокуренную сигару и, заметно прихрамывая, поспешно пошел к двери: великий князь уже входил.

Он был в форме Преображенского полка, с генерал-ад'ютантским аксельбантом. Худоба ног, костлявых и длинных, казалась почти карикатурной под туго натянутыми голенищами, простых — явно-нарочито не лакированных — сапог. Дернув «по-романовски» жилистой шеей, высоко поднимавшейся из красного воротника, он приложил щеку к щеке Бреверна.

— Здоров? Как почки? Как баронесса?

Он повел выцветшими глазами по кабинету и вопросительно остановил их на мне.

Бреверн назвал мое имя. Я подошел. Константин кивнул и протянул два пальца.

— Сын Дмитрия Петровича, — добавил Бреверн.

— А... — Константин выпрямил еще два пальца: я получил для пожатия всю ладонь.

— В отца? — спросил великий князь, через плечо, Бреверна.

— Так точно, — наклонил слегка набок голову барон. — И на прекрасной дороге.

— Дорога у всех одна, — учительно сказал Константин. — Или... имеет слог?

— Прекрасно пишет.

— Это на пользу. России нужны писатели.

Бреверн приподнял плечи жестом отчаяния.

— Помилосердствуйте, ваше высочество. Их и так много.

— Не тех, что надо. Моя мысль, Бреверн, — и мне, президенту Академии наук, об этом приходилось очень, очень думать, — в том, что правительство — не наше только, это общий грех всех правительств — не дооценивает значения литературы. Я разумею: изящной. Мы имеем своих публицистов и очень надежных, но поэты и романисты — не с нами. Мы небрежем ими, и это близоруко. Правительство, которое хочет быть сильным, должно подчинить себе не газетчиков — это брошенные деньги, по-моему — но беллетристов и поэтов: потому что не публицисты, а именно они образовывают мозги подданных. Между тем, мы, в сущности, не имеем за ними наблюдения.

— Поскольку они не нарушают требований цензуры...

— Цензура! — дернул шеей Константин. — Параграфы устава не дают в данном случае должного результата. Яд беллетристики неуловим: он внутри строк, и его не так просто подвести под соответствующий параграф.

Он помолчал и потер лоб.

— Если вдуматься, это чрезвычайно удивительно: каждое слово само по себе может быть совершенно невинно, но, сложенные вместе, они дают потрясающий основы эффект. И когда слова потрясают душу, а не рассудок, — это стократ опаснее. Но именно так действует изящная

литература. Вот почему обязанность правительства закрепить ее за собой.

— Это глубоко государственные мысли, ваше высочество, — почтительно сказал Бреверн. — Отчего бы вам не доложить государю императору?

— Я докладывал, — качнул ладонью Константин. — Но... между нами: его величество ничего не читает: ни публицистики, ни беллетристики... единственная книга, которую я видел — и вижу на его столе, — рассказы Станюковича. Но она так давно лежит, что я не уверен, не ждет ли она все еще чести быть прочитанной. Его величество предложил мне снестись с министерством внутренних дел. Пустая трата времени: там сидят пуганые вороны — они будут каркать об «общественном мнении». Для того чтобы дать литературе — я напоминаю, изящной! — должное направление, нужна железная и последовательная рука: беллетристы не так сговорчивы, как писатели передовиц. Но у департаментских рук хватает энергии только расписываться в платежных ведомостях двадцатого числа. И потом у них нет кредитов. А для правильной постановки дела печати нужны большие деньги.

— Кстати о деньгах, — улыбнулся Бреверн. — Разрешите доложить...

Он сдвинул ворох бумаг на столе и приподнял из-под них об'емистую папку.

— Генерал Богданович прислал мне на просмотр свой новый патриотический труд.

— Опять! — Константин снова дернул досадливо шеей. — Но мы только что давали! Что он их, как яйца несет? Патриотизм прекрасная вещь, но эта старая грымза не имеет никакого удержу. Уже не будет никакого отечества, а он все еще будет писать эти свои отечественные брошюры.

— Отечество всегда будет, — убежденно сказал Бреверн.

— Социалисты другого мнения, ты не читаешь прокламаций. Я читаю: мне доставляет департамент полиции. Там было сказано: пролетарий не имеет отечества.

Бреверн пожал плечами.

— Façon de parler: манера запугивать правительство, чтобы рабочему дали права. Если их дать, он тотчас раздумает. Более того, он станет патриотом.

Константин накрыл нижней губой верхнюю.

— Ты думаешь?

— Это мысль князя Бисмарка. Князь — великий государственный деятель. Это — образец.

— Он служил в тяжелой кавалерии, — кивнул великий князь. — Это образовывает характер. Но характер в политике все: даже глупость, выполненная с характером, до конца, дает государственный эффект. Так ты полагаешь, что пролетариат... Кстати, что это значит — пролетарий?

Бреверн подумал.

— Мне не приходило в голову... Пролетарий... Prolétaire... Prolet... Я не могу сказать.

— Я уже нескольких спрашивал: не знают. Может быть, это и на самом деле ничего не значит... Так, магическая формула, что? Ну, так... какого там... еще настряпал твой генерал Богданович?

— Название прекрасно, ваше высочество. «На ниве царской». И эпиграфом автор поставил: «Сердце царево в руце божией».

Константин фыркнул моржом.

— Ты считаешь, это хорошее помещение для царского сердца? Sacré coeur!

— Ваше высочество были всегда крайних убеждений.

— Да! Если бы не обстоятельства, я бы плохо кончил при существующем режиме, как? Но Богдановичевское заглавие мне все же нравится. Надо признать, оно действительно удачно по слогу.

— Не менее удачно по слогу и письмо, которое приложил генерал к рукописи для передачи государю. Богданович недаром славится своим стилем. Но по смыслу оно, вероятно, менее понравится вашему высочеству.

Барон развернул толстый, веленевой бумаги лист.

— «Народ наш, государь, увлеченный злыми людьми, отнюдь не испорченный, но лишь доверчивый и простосердечный, узнает из моего дружеского слова, как много добра сделал ему царь...»

— Сколько? — коротко спросил Константин.

— Просит пятнадцать тысяч — из сумм «на известное его величеству употребление».

— Он спятил.

— Не вполне: ибо тут же генерал присовокупляет, что ежели такая сумма окажется затруднительной, он попытается обойтись десятью. В соответствующем пассаже много убедительности, ваше высочество. Извольте прислушать: «Время дорого, и распространение книжки полезно неотложно начать. С божьей помощью и вашей необходимо скорее сеять правду в войсках»... — Бреверн многозначительно глянул из-под седых бровей и повторил... — «в войсках и в народе в настоящее смутное время. При сем скажу: «Кто сеет скупо, для того и жатва скупа, а кто сеет щедро, для того и жатва щедра». Так проповедывал апостол Павел».

— Вот сукин сын, — хладнокровно сказал Константин. — Придется дать. Но не из тех сумм, едва ли там наскребешь и десять. Из этих «на известное его величеству» — черпают ведрами, кому только не лень. Благо, это не подлежит контролю.

— Революция требует денег,—вздохнул Бреверн. И, по молчав, добавил.—Хорошо еще, что она не требует голов.

— Хорошо? — рассмеялся Константин. — Я предпочел бы, пожалуй, головы: из тех же... «на известное его величеству употребление».

Он вынул часы и встал.

— Мне пора. В сущности, я заехал к тебе сообщить о результатах нашего коллективного представления государю... о действительном положении дел...

Он посмотрел в мою сторону и поморгал веками, соображая.

— В общем... это стоило бы даже предать гласности.

— Ваше высочество всегда были крайних убеждений, — повторил Бреверн.

— Да, да, — рассеянно кивнул Константин. — Так вот. Коротко говоря: экспозиция наша дала результаты, которых при самых пессимистических предвиденьях нельзя было ожидать.

— Изложение опасностей, грозящих престолу, не произвело впечатления на его величество?

— Никакого. Государь слушал... с улыбкой. И перервал меня, раньше конца: «Я все это давно уже знаю от monsieur Филиппа».

— Гипнотизера? Этот шарлатан...

— Я говорю: это стоило бы предать гласности. В дни, когда смута раз'едает государство, позволять господам Филиппам делать погоду...

— Выслать! — глухо сказал Бреверн.

— Невозможно. Война кончилась, как на зло. Единственный довод, способный подействовать на государя императора: шпионаж. Но об этом можно было говорить до Цусимы... Возмутительно! Этому нет имени... Кстати, ты не допускаешь, Бреверн, что он, действительно, в какой-то мере ясновидец?

— Он гнусный шарлатан...

— Ш-ш-ш, — погрозил пальцем великий князь. — Бойся ларвов, Бреверн. Все уверяют, что он имеет несомненную власть над этими таинственными существами. А они не знают пощады, ларвы. И они проникают всюду.

— С ларвами или нет — он компрометирует монархию.

— Это бесспорно. И мы в докладе нашем с совершенной ясностью намекнули на это. Я, не скрывая, говорил об опасностях.

— И его величество?

— Как всякое слово монарха, оно гравировано в памяти: «Да, да, очень интересно, чем все это кончится».

Бреверн низко наклонил голову.

— Господь сохранит его! Во имя чистой младенческой его веры.

— Аминь! — щурясь сказал Константин. — Что ж, проводи меня на половину баронессы.

Он кивнул мне еле заметным движением подбородка — снизу вверх — и пошел к выходу.

— Я вас оставлю на минуту, — обернулся Бреверн, подхватывая великого князя под локоть. — Я очень извиняюсь.

Как только за ними закрылась дверь, я услышал за собою легкие и быстрые шаги:

Магда.

. . . .

Она протянула руку и спросила:

— Papa уговорил вас?

Синие, сильные внутренним отблеском глаза смотрели доверчиво и просто. Узкие, еще не вполне оформившиеся плечи сутулились зябким пожатием под легким шелком платья. И вся она почувствовалась мне на этот

раз милой и открытой: не так, как тогда на веранде. Я ответил поэтому уже без той уверенности, с которой ответил бы Бреверну.

— Нет, Магда Густавовна, я не смогу принять этих обязанностей.

Она откинула голову удивленно.

— Вы не хотите помочь мне?

— Помочь?.. Я был бы рад... но не в тех формах, о которых говорил ваш батюшка.

Бледные щеки чуть порозовели.

— Я чувствую, что отец опять сделал какую-то гафу. Вы должны его извинить, он часто бывает... неловок в общении. К тому же, конечно, тут есть... — она запнулась... — что может затронуть...

— Если вы разумеете вопрос о найме, вы ошибаетесь, баронесса. Здесь дело не в оплате, а в том, за что она предлагается.

— Какие вы говорите слова! Это даже жестоко. И по отношению ко мне это несправедливо и нехорошо. Мне так хочется работать с вами.

— Чтобы получить «последний лак»?

— Что? — недоуменно приподняла брови Магда. — Я говорила, что pѐre сделал какую-то грубость. Какой лак? Я не понимаю. Речь идет о том, чтобы помочь мне в том, что я делаю и думаю.

— О чем же вы думаете?

— О чем можно думать? О жизни.

— А делаете?

— Я работаю над переводом цикла бретонских легенд.

Она сузила зрачки пристальным взглядом:

Ma ne t'euz ked amavet anutad
Ma rai d'id ana ont ar mabanat.

— Какую же я могу вам оказать помощь? Я не понял ни звука из того, что вы прочли.

— Я переведу вам, — попрежнему пристально глядя, сказала Магда:

Если ты не знал отца,
То сын тебе себя покажет, —
Я в том порука.

Она выждала, явно следя за выражением моего лица.

— Плохой перевод, не правда ли? Слова меня не слушаются. Вы научите меня править ими, да?.. Вас не удивляет, что я увлекаюсь бретонскими преданиями, когда нам грозит русская революция?..

— И они — о революции! Это поветрие, это мор, это — повальная болезнь.

Бреверн смеялся, стоя на пороге.

— Вы согласовались, я вижу. Может быть, вы не откажетесь пройти к баронессе и взять более точные сведения. Как метод это было бы правильно, не правда ли?

— Мы «согласовались»,— ответила за меня Магда,— но я никогда больше не буду давать тебе поручений, отец. Пройдемте в самом деле к maman: она — мой церемониймейстер, без нее нам трудно будет выбрать дни. Два раза в неделю вас не затруднит? И, может быть, вы теперь же просмотрите моих бретонцев.

. . . .

У старой баронессы я пробыл недолго: к четырем я должен был поспеть на примерку к Шаповаленко, иначе — литовский мундир не будет к вечеру готов.

ГЛАВА XI

ДАШИН РАЗГОВОР

Откуда и как затянулась в душу муть — не знаю. Но еще у Шаповаленко, когда он, плоским мелком, метил по лацкану, куда переставить крючки и как чуть-чуть

ушить складки мундирной юбки, — стало темно и тягостно. Когда становится мутно на душе — верный признак: в чем-то за собой недоглядел. И, чтобы разошлось, чтобы найти, где саднит, — надо хорошенько, пристально подумать; лучше всего — подумать вслух. Так легче и вернее. Итти завтра с мутью в душе нельзя. Вечером я прошел к Даше: при ней легко думать: она слушает чутко и хорошо.

Дашина комната — в квартире акушерки, Марьи Тимофеевны. Марья Тимофеевна — красивая, полная: ямочки на щеках, ямочки на локтях; раньше была содержанкой какого-то нето купца, нето банкира. Где ее судьба свела с Дашей, не знаю; но вышло из встречи этой, что в таких случаях полагается: Марья Тимофеевна от Дашиных глаз устыдилась постельной жизни. Даша ее на акушерские курсы готовила, Марья Тимофеевна курсы кончила, стала «жить трудовою жизнью» и — поскольку практика не слишком кормила — вернулась предопределенным путем к исходной точке: опять у нее в комнате — двуспальная кровать с высоко взбитыми пирамидкой подушками, — и открывает она дверь в кокетливом пенюаре, заботливо запахивая на груди слишком глубокий — не по «новой» жизни — вырез. Мы об этой «реставрации Бурбонов» знаем. Даша не замечает, как не замечает ничего бытового: даже собственных развалившихся сапог. Если бы за ней не присматривала организация, она, наверно, ходила бы босая. Партийцы Марью Тимофеевну одобряют: квартира — на хорошем счету у швейцара: поздние гости щедры на чай; конспирации — это на руку. Для печатания на гектографе надежней места, чем у Марьи Тимофеевны, — нет.

Марья Тимофеевна открыла дверь, запахиваясь, как всегда, к самому горлу, как всегда скромно опуская глаза: с тех пор как она «в новой жизни» — она перестала

смотреть прямо. Это мне — сейчас только подумалось: от внутренней слякоти.

— Дома?

— Дома.

Повезло хоть в этом. А то ведь, когда распустишься до мути — ничего не дается: хоть садись, сложа руки.

К Даше ход по коридору: в самую, самую заднюю комнатенку, рядом с кухней. На шаги вышла навстречу, щурится близорукими глазами.

— Михаил! Ну, вот... Разыскал тебя Игорь?

— Игорь, зачем?

— Да как же, господи ты боже мой, — всплеснула худенькими руками Даша. — Он за тобой сегодня по всему городу гоняет, по всем явкам.

— Да зачем я ему занадобился?

— У тебя деньги с собой есть?

— Много надо?

— Почем я знаю, сколько! На ужин у этого, — как его — Контана.

— Силы небесные! С кем это ты собралась?

— Да не я, ты.

— Я?

— Как же это тебя Игорь не разыскал, он бы об'яснил все гораздо лучше, наверное. В общем, так: сегодня, в десять часов вечера ты должен быть у Контана. В общей зале тебя будет ждать американец-корреспондент... а может быть, и не корреспондент, а что-нибудь другое.

— Шпион?

— Да что ты! Политический. Он очень интересуется партией и особенно военной организацией. И союзами твоими. ЦК сказал, чтобы тебя послать с ним переговорить. Обязательно. И сегодня. А то он уезжает, кажется. Словом, на сегодня назначили.

— На что это нужно?

— ЦК знает что делает: если он говорит — надо, значит надо. А ты сам не понимаешь? Американская печать — свободная; оттуда попадет во все газеты мира.

Она зажмурилась.

— Голубчик, ты уж, пожалуйста, постарайся для партии... Покрасивее и побольше. А Игорь ему про тебя уже наговорил... такого! Он обещал о тебе даже статью особую написать, честное слово. Видишь, он какой, Игорь. А ты как к нему... всегда волком.

— Вот он в отместку и втравил меня в эту ерунду.

— Ерунду? Да, я тебе главного не сказала, кажется. ЦК велел передать: там, у американца этого, повидимому, пункт какой-то есть секретный. Так если он заговорит о нем, считай, что ты уполномочен партией ответить утвердительно.

— Это что ж еще за авантюрный роман?

— Брось, Михаил, ну, пожалуйста. Ты бы должен быть рад, что тебе дают ответственное поручение, что ты будешь представлять партию перед американской прессой.

— Сказал бы я тебе, Даша... Ну, не буду, не буду... Как мне ее узнать, прессу?

— У него будет красная гвоздика в петлице.

— Кто их не носит в петлице, красных гвоздик.

— Чашечкой вниз. И у тебя — тоже.

— Это другое дело. Пароль?

— Пароля нет. Просто — чашечка. Ты все запомнил?

— Особенно запоминать нечего, но, по-моему, незачем итти. Поскольку Игорь меня не разыскал, он, наверное, дал отбой.

— Да не дал же! Мы адрес американца не знаем. Игорь оттого и волновался так, что предупредить никаких нет способов. А зря его проморить в ресторане — обидится, еще напишет что-нибудь нехорошее. Как словно, что ты именно сегодня зашел. Точно за этим...

— Я к тебе не за этим шел, Даша.

Она насторожилась.

— У тебя что-нибудь новое есть?

— На душе скверно.

Она быстро пересела ближе. На маленьком, бледном, с синими прожилками лбу тонкие-тонкие собрались морщинки.

— Что ты, родной? Отчего скверно?

Я прислушался к себе.

— Кажется, я тут не дело затеял.

— Что такое?

— По Офицерскому союзу. Завтра — случай исключительный. Император выедет из Царского Села в Зимний дворец. Караул заступает рота, в которой из шести офицеров трое наших. Один из офицеров взялся...

Даша вздрогнула и сжала руки.

— Господи... Николая?

— Да.

— Вот счастье!.. А он... совсем, совсем надежный, офицер этот?

— Совсем.

— Почему ты уверен?

— Потому что он за три дня до срока откровенно и прямо отказался.

— Отказался? Что же ты говоришь?

— Вместо него пойдет другой член союза.

Она закрыла глаза и провела рукой по щекам, от виска к подбородку. Стрелки в дешевом будильнике громко и грубо отщелкивали минуты по кругу. Даша спросила, не открывая глаз:

— Как же ты пройдешь?

— Пройду! Устроили и оформили; я заказывал печать, помнишь? Как раз для этого.

— Бомбой?

— Что ты, разве это оружие.

Она поднялась и быстрыми, мелкими шагами прошла по комнате к двери, назад и опять к двери.

— Центральный комитет знает?

Я покачал головой.

— Опять! Так же нельзя, Михаил. Ты опять в одиночку. Итти на такой акт...

— Он еще не сделан, акт. И я не знаю, — будет ли он вообще выполнен. У меня никогда еще в жизни не было так слякотно на душе, как сегодня, Даша.

— Тяжко? — она нагнулась и ласково заглянула в глаза. — Перед смертью это бывает, Михаил. И это даже должно быть, даже хорошо, если есть. Смерть — великая тайна. Может быть величѐе тайны жизни. Как мы в жизнь приходим? Ничем: человечий зародыш такой же, как всякого животного... А уходим... каждый по-своему великим уходит, Михаил... Даже самый незаметный, проживший так, что сосед его не слышал... И он уходит великим. Куда?.. Тайна. И о ней хорошо думать: мысль о смерти подымает во весь последний, самый большой рост... нельзя выше. Не нужно ее отгонять. Да и все равно не отгонишь. Только измучаешься напрасно. Лучше умереть раньше, чем жизнь ушла, раньше, чем возьмут...

— Меня не возьмут.

— Не говори так, — испуганно и торопливо проговорила Даша. — Это оттуда, из чужого мира. Бравада. Когда на смерть идешь...

— Да не на свою, Даша. Я думаю сейчас не о своей смерти.

— О чьей же тогда? — шопотом спросила она, открыв глаза широко-широко: только и видны стали на худеньком лице: глаза.

— О его смерти, конечно. Николая.

Она опустила ресницы и помолчала.

— А что ж о ней можно думать?

— Нужна ли она?

— Что? — Даша дернулась вперед всем телом и вздрогнувшими пальцами провела мне по плечу. — Да что ты, Христос с тобой. Центральный акт... сколько уже над ним думает партия, готовит... сколько людей на каторгу ушло... Он — кровавый, он сколько, сколько сделал зла — всем, всем, всем... Если бы я могла, если бы мне, как тебе, такой случай, я бы ни секунды не колебалась. Я — маленькая, слабая... А ты... вон какой сильный...

— Вот видишь ты, и я сначала так же принял: совсем без мысли. Цареубийство: о чем раздумывать! И офицеры наши и я — так и приняли: в мысль не приходило — надо или нет. И когда офицер тот отказался (заменить его только мной и можно было), я опять не думал, ни секунды. Так и пошел бы, наверное, если бы...

— Если б...

— Если б сегодня, когда я примерял мундир, в котором пойду завтра, правый рукав не тянуло подмышкой. Я пробовал... вытянуть руку... так, как надо ударить... под бороду, между воротником и ухом...

Даша вздрогнула.

— ...и вдруг почувствовал, что я его не вижу; не ощущаю как тело. Понимаешь, как тело не ощущаю. А если так — как же я ударю? И если это так — то, вообще, нужно ли ударить?

— Я не понимаю тебя, Михаил. Но то, что ты говоришь, ужасно страшно. Не надо.

— Как понятней сказать?.. Подожди. Вот, может быть... Я читал когда-то древнюю легенду о короле или герцоге, не помню, который пал в битве с франками, в глухом, дремучем лесу. В этом лесу жил отшельник. И вот, в ночь, он слышит — кто-то шарит по двери неверной, роб-

кой рукой. «Кто?» В ответ: имя. Имя павшего короля. Отшельник не знал, что он убит; но самое имя — даже он, ушедший от мира, — знал как символ жестокости и крови: молвою народной проклятое имя. Он отказался открыть. «Открой, — повторяет голос. — Именем божиим и королевским именем! Открой. Время бежит, и кровь бежит из ран, в обгон времени. Франки рыщут по лесу. Горе если они настигнут меня у твоего порога». И снова отказал отшельник. Тогда ударила в еловую хилую дверь стальная перчатка: «Откинь засов, или я выбью дверь кованым наколенником и впущу к тебе в келью ночь. Заклятье против заклятья! Берегись, старик». Заклятья ночи испугался отшельник. Он открыл. И видит: под лунным светом — призрак в изрубленных доспехах держит в руках перед собою отсеченную голову. Голова живет: бешеным бегом кружат в орбитах кровью налитые зрачки под всброшенным на лоб наличником. Губы заговорили, роняя черную пену: «Попущением божиим я обезглавлен франками в битве. Тысячи клянут мое имя. Но я чтил церковь и жег воск перед лицом святых и верно держал клятву своему сюзерену-богу, именем которого и ты, старик, живешь. Нет короля без бога, но нет и бога — без короля. И потому святая Анна Арморейская, защитница властных, привела меня к тебе: в твоей силе — возложить мне снова на плечи голову». Нет бога без короля! И отшельник, именем Анны Арморейской, защитницы властных, — принял трясущимися пальцами кровоточащую голову из окостенелых, как стальные налокотники, захолодевших рук — и наложил ее на красный срез над черным иссеченным панцырем. И призрак снова стал человеком и ушел в ночь, на розыск своих знамен, звеня золотыми шпорами по корням деревьев.

Даша слушала, спрятав голову в руки.

— Ты рассказываешь, точно книгу читаешь: ты уже решил не итти, Михаил...

— Ты не думаешь, что если я ударю, — и эту срезанную голову, именем Анны Арморейской или иным чьим именем... снова возложат на монаршие плечи?

— Это же сказка, Михаил!

— Тем ярче смысл: правда — в сказке яснее, чем в жизни. И в этой сказке — подлинная, историей оправданная правда есть. Отрезанные головы приживают, Даша... когда клинок проходит не по телу... Я недаром не чувствую его в том, завтрашнем... Там не тело: там символ, какой-то условный знак. Неужели ты не чувствуешь разницы? Сазонов убил Плеве: это — тело, это — живой человек, мозгом и волей которого живилась борьба против нас. Неповторимый. Убил — не будет больше. Николай — только символ, внешний, плотский знак власти, сам по себе не живой, повторимый в любом теле.

— Послушай...

— Нет, дай кончить, дай до конца додумать. Если бы я мог свести его с престола за бороду среди бела дня, перед лицом всех — так, чтоб над ним надсмеялись от края до края — и посвистом, как собачонку, заставил бы его итти по моему знаку туда или сюда, — я, безвластный и не ищущий власти, не за ней подступивший к престолу с низов, из безвестья, из подполья, — вот когда был бы насмерть убит монарх. Не как тело, как — символ. Вот где подлинное цареубийство! Он никогда бы уже не вернулся к жизни... как царь. Перед таким актом я не колебался бы, хотя бы это стоило мне головы. А так... Нет короля без бога и бога без короля... Отрезанная голова будет вновь отшельником с любого перекрестка воссажена на «царственные» плечи. Не николаевские, конечно. Тем хуже: найдутся плечи покрепче. Александра второго сме-

нил третий Александр: мы в том же подполье, что Желябов.

— Ежели бы было возможно так, как ты говоришь... Но это же сказка, Михаил... За бороду... Если б это было возможно! Нет, убей!

Я встал.

— Время. Я опоздаю к твоему американцу.

— Когда караул?

— Смена в двенадцать.

— Не думай, родной мой. Убей.

Я не ответил. Она крепко сжала мне руки. Глаза лучились и плакали светлыми верящими слезами.

— Ты пойдешь?

Муть разошлась. Мне было спокойно и ясно. И я ответил спокойно:

— Пойду.

Она еще раз сжала руки. И заговорила уже без слез, обычно и деловито:

— Все-таки надо бы дать знать Центральному комитету. Хоть Иван Николаевичу одному.

— Первое правило конспирации, с которого мы все начинали революционную учобу: не говорить о деле никому, кроме непосредственных участников. Зачем мне было делать исключение для Ивана Николаевича?

— Зачем? Да ты знаешь, кто Иван Николаевич?

— Ну?

— Это же Азеф, самый большой наш человек, руководитель боевой организации.

— Не все ли равно? Я уже об'яснил тебе, почему не говорил раньше. Сегодня, сейчас — я, пожалуй, и сказал бы ему... то, что сказал тебе... Если бы он оказался здесь.

— Азеф у меня не бывает.

— Тем хуже для него. Дай руку.

. . . .

Даша проводила меня коридором до двери. На площадке я услышал тяжелый шаг, по лестнице вверх, на меня. Я поднялся уступом выше: встречи сейчас не ко времени. Сквозь перила пролета я увидел Ивана Николаевича. Он подымался, отдуваясь и сопя, колыша грузное туловище на тонких чужих ногах. У двери Дашиной квартиры он остановился и постучал в три удара: длинный и два коротких. В левой руке у него была корзинка, перетянутая бичевой: из гастрономического магазина; сквозь щели крышки торчала солома бутылочных покрышек.

Дверь отворила Марья Тимофеевна, улыбнулась ямочками на щеках и пухлых локтях; широкий капот не был собран складками к горлу: белели плечи, низко открытая грудь. Она сказала что-то, Иван Николаевич быстро обернулся, посмотрел по лестнице вниз. Я откинулся прочь от пролета, не знаю зачем. Дверь стукнула. Я выждал и спустился — пустой лестницей на пустой двор.

ГЛАВА XII

ЗА НАЛИЧНЫЕ

Назначить явку в модном ресторане как Контан, на десять часов, в общем зале — способен только человек, знающий рестораны по наслышке: это самое мертвое время: обедавшие — к этому часу уже раз'езжаются, на ужин — позже начинается с'езд. Еще в кабинетах кое-где занимаются, может быть, послеобеденной ресторанной любовью, но в общем зале пустота: каждый человек — на примете. И подозрителен тем уже, что он пришел в десять часов.

Сразу, пятном, бросилось в глаза бритое лицо под пальмой, в дальнем углу зала: единственный занятый столик. Поблизости недоуменно перетаптывался лакей.

На столике нет прибора. Только пепельница с толстым сигарным окурком: американец, должно быть, ждет уже давно. В петлице у него — красная гвоздика, чашечкой вниз. Свою я поспешил снять, как только он меня заметил: уж слишком глупы в пустом зале эти опознавательные знаки.

Он привстал, скаля ровные, белые с золотом, зубы. Мы пожали друг другу руки, как старые знакомые. Лакей заюлил вокруг, отставляя стул, подбрасывая подмышку салфетку.

Перейти в кабинет? Пожалуй, покажется еще более странным. Лакей смотрел просительно и умильно: перейдем — пропадут чаевые. Кругом никого. Я остался. Подали шампанское и жареный с солью миндаль: ужинать рано.

— Чем могу служить?

Американец наклонил голову, ощупывая меня взглядом.

— Вас хорошо информировали, кто я? Фред Уортон, официально — корреспондент «Нью-Йорк-Геральд». — Это не требует дальнейших рекомендаций, не правда ли? Конфиденциально — я представитель группы друзей русской революции... Не политиков... Да хранит бог: это могло бы осложнить, не правда ли?.. но бескорыстных (он ударил на слове) людей культуры, во имя ее следящих с интересом и восторгом за вашей борьбой. Когда на развалинах деспотизма в России подымется новый строй, какой праздник для мирового прогресса, для всех цивилизованных наций!.. Мы будем беседовать со всей откровенностью, не правда ли?

Он вынул из бокового кармана блокнот в крокодиловой пестрой коже.

— Беглые заметки для совершенной точности: память изменяет иногда.

— Итак?

— Итак, о вас я имею уже сведения. Они были даны дискретно — я отдам в этом честь вашим партийным товарищам, — но я сумел сделать вывод для заголовка нашей беседы. Он звучит, смею вас уверить! Вы — гвардеец, князь, член боевой организации, командующий вооруженными силами революции, сосредоточенными... пока... в подполье.

Я от души расхохотался:

— Какая дьявольская яичница! Здесь в каждом слове — по роковой ошибке, дорогой мистер Уортон. Вы восставили от действительности перпендикуляр — в миф.

— Это то, что нужно, — радостно закивал американец. — Как всякий подлинный газетчик, я начинаю с сенсации: не пытайтесь меня разубеждать, я не уступлю ни одной буквы. Если вы будете спорить, я возьму Готский альманах и выпишу вашу генеалогию... с той страницы, которая подойдет мне больше всего. Миф, говорите вы! Но вы не будете отрицать, что вы председательствуете в Офицерском союзе?

— Допустим, что не буду.

— И председательствуете в Боевом рабочем союзе?

— Да.

— Вот видите, — торжествующе взмахнул карандашиком Уортон. — Но это и есть ударные силы революции, как говорит ваш друг, мистер Тшернов: мы беседовали. Но об этом после. Вы командуете ударными силами — это факт. Что касается происхождения, оно не требует пред'явления бумаг: поверьте, никто не опознает так легко подлинного аристократа, как подлинный демократ.

Он черкнул на листке несколько быстрых слов.

— Вы простите... Мелькнувшая мысль, афоризм, который будет оценен редакцией.

— Вы не находите, мистер Уортон, что мы тратим слишком много времени на прелиминарии, по существу, совершенно излишние?

— Излишние? Задание наше — возбудить симпатии великой американской демократии к вашей революции, не правда ли? Но к этой цели всего вернее ведет тот заголовок, о котором наша беседа. Вы не знаете моих соотечественников. Судьба всякой демократии: уничтожив титулы, вздыхать о них. Проклятие эпохи: в век капитализма нет элементов, из которых можно было бы составить герб. Мясная туша, уголь, железо, фабричная труба... это годится для значков на экономической карте, но не на щит — против ваших единорогов, львов, медведей и лилий. Фи! Демократия чтит поэтому старые гербы, как никто... Я удесятерил бы успех статьи, если бы мог дать к изложению нашей беседы ваш герб и ваш портрет. Бог мой — какая сенсация!

Он хлебнул шампанского и вздохнул мечтательно.

— Я вижу вас в гвардейской форме... гусарской... или нет, нет! лучше в этой... как зовется полк, который носит кирасы и шлемы с тяжелым серебряным двуглавым орлом?

— Кавалергарды.

— Именно. Это как раз тот полк, который нужен... Кавалергарды были героями декабрьского восстания против первого Николая.

— Вы опять ошиблись, мистер Уортон.

Американец приложил ладони к ушам.

— Я не слушаю: Вы опять хотите мне испортить статью, я не дамся. Я продолжаю. Кавалергарды — Декабрь. Второй Николай — и второй Декабрь. Опять те же серебряные орлы на шлемах, но под красным знаменем революции. Вы следите за развитием моей темы?

— Вы прядете ее нить — в обратную сторону. Прошли времена и сроки, Уортон: кирасу сменяет блуза.

— И это говорите вы! Я уже заметил: у русских нет ни малейшего чувства сенсации. У вас никогда не будет настоящих газет и никогда не будет успешной внешней политики: и то и другое требует сенсации. Блуза! Это — не тема. Но орлы на груди и на шлеме — это импонирует, но титул — это гремит! Это придает революции характер всенародный: именно так должен ее ощущать мир, если вы хотите потрясти его и обеспечить себе сочувствие... и поддержку. Если принять, как серьезное, ваше слово о блузе, — революция снизится до вульгарнейшего бунта рабочих и крестьян. Кому это интересно?

— Вы давно в России, мистер Уортон?

— Около двух месяцев...

— Этого мало, конечно, чтобы ознакомиться с положением дел, с действующими у нас общественными силами... Но все же в основном вы должны были разобраться: для вас должно бы быть ясным, где центр тяжести событий.

Корреспондент обидчивым жестом скривил бритые губы.

— Я полагаю, что этим центром я овладел. Основное — ваша аграрная оппозиция. Semstwo. И, как всегда в революциях, то — что вы, революционеры, зовете мелкой буржуазией: горожане, интеллигенция.

— Скиньте со счетов.

Уортон откинулся в кресле и закрыл блокнот.

— Вы смеетесь.

— Нимало. Вы говорите о тех, кто больше всего шумит... кто виднее с поля. Адреса и с'езды: у них есть, где поговорить... друг с другом. Но реальная сила? Земцы и горожане пробуют опереться на самоуправление... которого нет, и говорить именем крестьян и рабочих... которые не с ними. Солома на огне революции: когда он разгорится, от них останется пепел.

— Я беседовал с лидерами, — пробормотал Уортон. — Это — культурнейшие люди, с большими знаниями и прекрасно воспитанные. Правда, они не показались мне хорошими администраторами. Революция требует администрирования, как любое предприятие. Но все же это крупные люди.

— Вы опять восставляете перпендикуляр, мистер Уортон. А главное: за этими людьми нет ничего, кроме спинки собственного стула. Повторяю: ни у земцев, ни у горожан, ни у интеллигенции нет связи с ударными силами революции — с массами. А без этого — они ничто.

— При всем уважении к вам, — покачал головой американец, — мне невозможно принять ваш вывод. Сбросить со счетов!.. Но тогда ничего не останется. Ваши капиталисты — они не существуют как класс...

— На чем ему было сложиться?

— У ваших капиталистов нет даже правильного понимания своих интересов. Вместо того чтобы создавать собственные рабочие организации, как это делается у нас в Америке, и этим путем овладеть движением рабочих,— ваши фабриканты откупаются. Я видел в Москве — это же центр вашего капитализма — двух крупнейших заводчиков: они субсидируют революционные партии, притом крайнего фланга. Для этого надо три раза сойти с ума!

— Это не так глупо, как кажется. И это подтверждает мой тезис. Они страхуются, как могут, московские заводчики. Свержение царизма для капиталистов так же необходимо, пожалуй, как и для трудовых масс: им негде развернуться в нынешнем застенке; сами они — своими средствами—не могут сломить юнкерской инерции, определяющей политику самодержавия; и в борьбе — они ставят на ту карту, которая единственно может выиграть: на революционное движение рабочих и крестьян, надеясь, что им

удастся этими руками вытащить каштаны из огня — как не раз уже было в истории. Известно ли вам, что нынешним летом, на совещании московской промышленной группы, один из капиталистов предлагал об'явить локаут, чтобы «выгнать рабочих на улицу» и таким образом заставить их выступить? Это свидетельствует не о безумии, а о чрезвычайно ясном и правильном политическом расчете: если бы летом одновременно с крестьянством в период массовой и прямой борьбы крестьян за землю, в период погромов помещичьих усадеб поднялись и рабочие, — самодержавие капитулировало бы. Нет, капиталисты понимают, что делают: они ставят на единственные реальные у нас силы.

— Крестьянство! Но оно же не может стать базой революции.

— Аграрные волнения этого года... двести сорок уездов...

— Я их и имею в виду: много погромов, но мало успеха, — правительство справилось с ними без труда.

— Это неверно: правительству пришлось мобилизовать и разбросать по деревням целую огромную армию, с артиллерией и пулеметами.

— Я имею сведения из первоклассного источника. Не только департаментские, но... я имел случай беседовать с сановником, прибывшим из губернии для доклада монарху: он лично усмирял волнения.

— Юренич?

— Вы угадали. Обаятельная личность, не правда ли? Образование, такт и порода. Наша беседа произвела сенсацию в прессе, смею вас заверить. Он обещал мне еще некоторые дополнительные и документальные данные. Но... — американец развел слегка руками, — вы убили его!

— Да.

— Террор! Преклоним головы. Вот это — действительная сила. Убийство сановников — это уж сенсация, это настоящая пресса, крупный шрифт, экстренные выпуски... Это делово, это может дать прибыль. Но вы слишком умеренно пользуетесь этим прекрасным средством.

— Вы находите, что следовало бы перейти к «машинному производству»? Я готов разделить вашу точку зрения.

Американец снова показал зубы: белые с золотом.

— Вы говорите ужасы! Но поддерживать настроение регулярными ударами, со строгим выбором... Во всяком случае, террор — это то, что нужно, это заслуживает всяческой поддержки. Остальное: нет. Рабочие с их стачками? Это дезорганизует производство, но не может дать политического эффекта.

— Вы полагаете?

— Бесспорно. Я не буду говорить о том, что рабочее движение уже само по себе недоразумение, легко рассеиваемое правильной рабочей политикой. Там, где она правильна, движения нет. Англия и Америка — страны фабричных котлов, где счет рабочим ведется на миллионы. Но именно здесь революционного рабочего движения нет. Тред-юнионы: вот подлинный лозунг пролетариата, остальное — мусор, привносимый извне. Интересы рабочего и предпринимателя едины: рабочему не трудно открыть на это глаза. Когда ваши капиталисты подрастут, они это сделают. Но для данного момента все это несущественно: Россия — аграрная страна, рабочих у вас горсть, пролетариат всегда будет у вас социальным привеском к крестьянству.

— Горсть относительная: около десяти миллионов. И потом, социальное значение — определяется не численностью голов. В русских условиях — то, что вы называете привеском, само собой выдвигается во главу угла: при

резком, ничем не устранимом, кроме ликвидации помещиков, конфликте между крестьянством и буржуазией с кем может пойти деревня? Только с рабочими: другого пути ей нет. А тем самым «горсть» обращается в кулак огромной, бронебойной силы. Да и непосредственно в борьбе с самодержавием удар в центр силы противника возможен только руками рабочих: этот центр — в крупных городах, вне сферы досягаемости крестьянства.

Американец записывал, с сомнением покачивая головой.

— Как вы себе мыслите этот удар?

— Вооруженное восстание.

— Ваш Боевой союз — в первую очередь. О нем я уже информирован. Но это приведет вас к столкновению с армией.

— Борьба за революцию есть борьба за армию.

— Я записываю: эта фраза просится в жирный шрифт — ленточкой во всю ширину газетной полосы. Борьба за революцию есть борьба за армию. Здесь ключ, не правда ли? И вы ведете ее?

— У нас есть Офицерский всероссийский союз. Беспартийный. Несколько сот офицеров в разных гарнизонах.

— Беспартийный. Это превосходно. Это именно то, что нужно. Центр? В Петербурге, конечно? Праздный вопрос, заданный для порядка.

— Партии имеют свои организации в солдатской массе. Главным образом эсеры и большевики. Эти организации связаны территориально без различия партий, — местными гарнизонными комитетами, и во всероссийском масштабе — по партийным линиям.

— Превосходно. Их численность?

— Трудно определить, нельзя же вести списки. Да это и не важно, ведь это только кадры: в момент выступления они увлекут и всех остальных.

— У вас есть высшие офицеры?

— Немного. Мы их не ищем. Нам нужен младший командный состав — те, что непосредственно связаны с солдатами.

— Гвардия?

— Есть члены союза в пехоте и в артиллерии. В гвардейской кавалерии слишком много пьют и слишком мало думают.

— А флот?

— В связи с особыми условиями флотской службы — там особый отбор офицерства: это — контр-революционная каста. Исключения редки. В союзе у нас имеются только офицеры-механики флота, на которых строевые морские офицеры смотрят как на «черную кость». Машинное отделение, котлы!

— Вы полагаете, что союзу удастся увлечь за собою войска в случае выступления?

— Уверен.

— Тогда все в порядке. Лозунг движения?

— Учредительное собрание и республика.

Уортон поморщился.

— Отчего вы не поставите вопрос более делово? Учредительное собрание — это игра в фанты. Что бы вы сказали о республике, временно возглавляемой хорошей, очень надежной и бескорыстной, лишь о благе народном мыслящей, диктатуре?..

— Чьей?

— Вам лучше знать имя.

— Я не знаю и не хочу знать. С именем мы построили бы новую монархию, из-за этого не стоит становиться на кровь. Примите нашу революцию такой, какая она есть — безымянной.

— Ни в коем случае! Это явно не серьезно! Славянская романтика. Имя будет: более того...

Он сделал паузу и приподнял бокал.

— Оно уже есть! Ваше здоровье. Когда династия рухнет, вспомните меня. Имя взойдет.

— На трупе революции. Не иначе.

— Как все аристократы, вы — крайни. Россия произвела Бакунина и Кропоткина, это ее типы. Вы даете мне тему за темой. Наша беседа будет перепечатана газетами всего мира — во славу революции! Но я говорил больше вас: вы скупы на слова, как все люди дела. Вы не будете в претензии, если в моей корреспонденции, в том или другом абзаце, вы будете говорить, как я, а я, как вы? Смысл не изменится от этого.

— Это ваше дело.

— Благодарю вас. Теперь, если разрешите, о другом, — уже внегазетном. Я вам говорил о группе друзей революции, так? Я беседовал с разными людьми, по их поручению, в том числе — с членом вашего Центрального комитета: Тшернов — я упомянул уже. Я буду откровенен. Печально. Я не дал ему денег, как не дал ни Союзу освобождения, ни земцам, ни социал-демократам. Некоторую сумму на террор, остальное — не делово. Но Тшернов направил мея к вам. Он угадал: военная организация — это подлинное дело. Судьба культуры — на штыках армии. Борьба за революцию есть борьба за армию. Я дам вам денег.

— О каких деньгах вы говорите?

— Мы платим наличными, — засмеялся американец. — Разве вы не предуведомлены? Мне поручено группой, о которой речь, — имена не нужны, дело идет о свободной американской демократии — передать в надежные руки несколько... ну, скажем, десятков тысяч долларов на дело великой русской революции. Как внести эти деньги в кассу вашего союза?

— Союз не примет этих денег.

Американец отставил бокал и пристально посмотрел на меня, отклонив голову вбок.

— Не примет? Добрая шутка в завенчание беседы. Будем деловы: адрес или текущий счет?

— Я говорю серьезно: мы не возьмем этих денег.

— Золото — нерв войны; это знал уже Филипп Македонский, хотя его солдаты ходили без панталон благодаря тамошнему климату и не требовали патронов, консервов и коньяку. Вы не имеете права отказываться. Тем более, что это не налагает на вас никаких обязательств. Я сказал уже: это — не политические деньги. Договоримся.

— Немцы говорят: «Ein Mann, ein Wort».

— Это хуже романтики: это — безумие!

— Вы ошибаетесь. Самый трезвый расчет.

— Именно?

— Если у нас нет внутренних сил для революции, их не создать никакими деньгами. Если эти силы есть, мы сделаем революцию без денег. Тем более, простите меня, мистер Уортон, без денег... неизвестного происхождения.

— Это очень неожиданно, — с расстановкой произнес американец. — Я полагаю, вам следовало бы посовещаться с товарищами. У мистера Тшернова, мне показалось, не было такого отношения к предмету.

— Вам это именно показалось, дорогой мистер. И мнение товарищей мне заранее известно. У вас не возьмут этих денег, Уортон.

Американец молча допил бокал, рассеянно посмотрел по сторонам и пощупал для чего-то обивку кресла.

— Странная страна, — проговорил он, словно про себя. — Невозможно поместить деньги: тем, кому хочешь дать, — не берут, и тем, кто просит — нельзя дать. Мировой абсурд.

Он приподнялся. Тон его резко изменился, он медленно цедил слова:

— Я, наверное, безумно утомил вас: повадка американских корреспондентов — мы способны довести до смерти. К тому же, зал начинает наполняться. Вас могут опознать, не правда ли? В моем обществе... Это не входит в ваши расчеты. Мы выйдем вместе? Конечно, нет. Вы тысячу раз правы. Я не рискую предложить вам оплатить этот маленький счет: я знаю обычай русских.

Он удалился с достоинством, принимая поклоны лакеев.

ГЛАВА XIII

НАВОЖДЕНИЕ

Мы условились, что я примкну к роте на углу Невского и Владимирского: здесь, на неизбежной приостановке, пока будут заходить, «правое плечо вперед» солдатские шеренги, перестраиваясь на новое направление, — удобнее всего «явиться» Карпинскому по форме, не замедляя марша. Я был на месте за десять минут. Отпустив извозчика, я стал на углу, у кофейни, между газетчиком и роем посыльных в красных фуражках с медными покривленными ярлыками на тульях.

Запинаясь о заторы у магазинных витрин, бесстройно гнала ряд за рядом тротуарная толпа. Расплескивали с мокрых торцов свеженанесенную — случайною дождевою тучею — шоколадную грязь бежавшие в обгон друг другу пролетки. И, злобясь на многолюдность перекрестка, били в повтор, под пугливой рукой вагоновожатых трескучие, безголосые звонки. Все, как обычно, но шумнее, пестрее, настойчивее, ярче, чем всегда.

Тугой, высокий воротник наспех пригнанного мундира чуть резал шею. Пять, десять, пятнадцать минут: никаких признаков колонны. Но через двадцать минут — смена караула...

— Не пришла? — тихо, чуть слышно говорит сзади незнакомый низкий голос.

Обернулся: бледное, с синевою под черными, тусклыми при дневном, при полуденном свете, глазами, припудренное небрежными пятнами, усталое лицо. Кровавятся, по обводу слишком тонких и сухих губ, поблекшие мазки кармина.

Она открывает улыбкой белые, ровные, молодые зубы.

— Не ждите.

Я отворачиваюсь в сторону, туда, где от Пяти углов круто завертывается вправо Загородный, и молчу.

Тогда она быстро наклоняет к самому уху красные губы и шепчет:

— Из-ме-на! Спасайтесь, пока есть время. Идите за мной, скорее. Скорее, говорят вам!

И, подхватив затянутой в лайковую перчатку узкой рукой суконную, простроченную по подолу четким синим узором юбку, она быстро переходит Невский к Литейному, высокими каблучками шнурованных коричневых сапожков обходя рябящие в выбоинах торцов дождевые лужи. Завеса экипажей задернула ее фигуру: я увидел ее уже на той стороне. Ждет.

Но бодрым перекликом меди и тугих барабанов уже перекрыт уличный гомон. Поток пролеток рассекся, отжимаясь к тумбам; вдоль тротуаров уже вытягиваются шпалеры зевак, и мальчишки, крутясь, выбрасываются на раскрывшийся уличный простор под ноги огибающему перекресток оркестру. Идут!

Я оправляю шашку и кобур, подтягиваю оползшие слегка пальцы замшевых белых перчаток. Ряды надвигаются. За жерлами вспяченных ввстречу, из-под плеч музыкантов, посеребреных труб, на коротком интервале, я вижу нахмуренное лицо Карпинского. За ним, в пяти шагах, чуть вздрагивая толчками по грязи бьющего

твердого знаменного шага — полковое знамя в чехле, меж двух ассистентов. Офицер незнакомый: должно быть это и есть Сухтелен. Опять интервал. И за ним, белым кантом зачерченные по лацканам, грудь за грудью — шеренги, остороженные гранеными синими жалами штыков, над черною лентой барашковых заорленных шапок.

Гвардия его величества!

Нестерпимо рвет слух крик труб. Выпучив до ужаса глаза над напруженными щеками, в'евшись шеями в галунный мундир, отбивают мимо меня шаг музыканты. Руку к козырьку. Я подхожу к командиру, сложенный приказ в левой руке.

Он козыряет, не глядя, развертывает бумажку боком и на короткий мой рапорт бросает на ходу:

— В первый взвод.

Три шага назад. Я салютую знамени и примыкаю к флангу, рядом с Жигмонтом: второй наш офицер. Он насуплен так же, как и Карпинский.

Трубы обрывают взревом. И тотчас раскатистой дробью вступают барабаны, за знаменем, перед колыхащимся фронтом колонны. Чаще шаг! Мы опаздываем к смене. Чаще шаг! Левой, левой!

В бешеной ритуальной пляске исступленно бьют тугую кожу круглые ступни барабанных палок. Мы молчим, ширя шаг: Карпинский, Жигмонт, я. Все трое — мы смотрим прямо перед собой: без мысли, должно быть.

Равнодушно развесили гибким размахом ноги на крутом взгибе моста, над мутной водой, бронзовые кони. Аничков дворец. Итти еще далеко. Шаг тяжел. Время уходит.

Подошва цепляет за выщеп торца, я сбиваюсь на секунду. Жигмонт вздрагивает от темени до каблука — не оглядываясь. Что? Недобрая примета?

Плывет, тянется, завертываясь полукружьем темных колоннад, безлюдная Казанская площадь; пригнутой смиренномудрою впадиной чернеет за крутизной высоких ступеней низкий, затаившийся церковный вход. Она пуста сегодня, площадь студенческих революций.

Прикрываю глаза: и эти самые, могильным плитняком тянущиеся сейчас мимо нашего мерного шага — каменные ступени собора четко видятся мне залитыми кричащею бурной молодою толпой. Царапают камни, дыбясь к подножью колонн, копыта атакующей сотни. И вьются над красными шапками лейб-казаков градом остервенелых ударов нагайки.

Это было в воскресенье. Когда убилась Ветрова, курсистка, в каземате, в крепости. Первая смерть, которую я принял, как смерть.

Мерный бой барабанов держит в два темпа, ровным размахом — шаг и мысль. Мы идем прямо. Левой, левой!

В день этой смерти я был в препаровочной—«трупярне», как звали студенты. Надо было сдавать препарат: я работал тогда над нижней конечностью. Последние дни не ходил: препарат лежал без присмотра, завернутый в тряпки. Теперь, развернув их, сквозь запах карболки, промаслившей ткань, остро почувствовал я запах загнившего мяса. Нога была женская, полная; жировой покров я не смог удалить без остатка: меж волокон сизых ослизлых мышц туго налитые ядом темнели частицы из-под пинцета ушедшего жира. Но запах шел не от них. Я повернул препарат, отбросив кожный лоскут, нависавший от таза. Под ним, зеленым комком лежал совершенно загнивший мускул — quadratus lumborum. Запах стал нестерпим. Плеснув карболкой по мясу, я наложил пинцет и дернул скальпель по связкам.

В эту минуту кто-то стукнул в окно — то, что выходит в «ботанику»: трупный домик стоит на задвор-

ках. Я обернулся: Жорж, товарищ. Кивнул. Я вышел во двор. Он сказал: «Ветрова там, в каземате, себя облила керосином и сожглась». Значит — теперь в гробу, кучею сизых мышц, пузырьков ядовитого зловонного жира, зазеленевших язвин.

Смерть.

В воскресенье, здесь, на Казанской, мстили за эту смерть — подставляя голову, плечи под удары казачьих нагаек...

Левое плечо вперед!

Мы поворачиваем на Морскую, к арке, под колеса триумфальной колесницы, вздыбленной над камнями свода шестеркой бронзовых покорных коней. Седой капельмейстер, жалкий в гражданском щуплом мундире своем перед строем крутых, словно панцырных грудей, — пятясь, танцующим шагом в такт и ритм быстрому ходу — подымает руку. И предвестием смены караулу, ждущему там, за желтокрасной, глухой и застылой дворцовой стеной, — бьют воздух торжествующей медью уверенные и кичливые звуки полкового марша.

Гвардия его величества!

Знаменщик круче выпирает в небо древко знамени. В первый раз за весь путь оглядывается на меня Карпинский. Было что-то в глазах: я не успел перенять: он отвел их.

У чугунных высоких ворот, с золочеными двуглавыми орлами, наклепленными на узорочье створов, — уже равнялся выведенный нам навстречу сменявшийся караул. И у всех нас троих, одним движением, так ясно — одна и та же — запоздалая, только теперь молнией обжегшая мысль: а что если в сменяющемся кавалергардском эскадроне есть офицеры, знающие меня в лицо...

. . . .

Шеренги заходят, фронтом к кавалергардам. Фланговый, у моего плеча, честно и упорно отбивает шаг на месте.

— Ро-та, стой! Смирно... На кра-ул!

Вынесли штандарт. Взблеснула салютом сталь палашей и штыков. Сощурясь, сколько мог, спустив губу краем (это меняет лицо) — я глядел поверх медной глади касок, стараясь не опустить, ошибкою, глаза на кавалергардский строй.

. . . .

Наконец... От них и от нас — короткая команда, перетоп ног, перезвон подравнивающих шаг на марш — шпор. Медленно и тяжко расползаются, кивая орлами, чугунные створы. Ряды, вздваиваясь, проходят ворота. Двор, полицейская охрана, татарин в белом фартуке с мусорным совком и метлой; придворные коляски, кучера в нелепых красных многоярусных пелеринах, треуголки набекрень; сухой асфальт под навесом; крытый широкий под'езд и, — обтирая подошвы о стертый камень пологих приветливых ступеней, мы подымаемся, колыша строй.

— Куда ступени, Жигмонт?

Он останавливается на секунду, вздрогнув губами под завитым, щипцами уложенным по щеке усом. Но не говорит ничего.

ГЛАВА XIV
ДВОЙНИК

Только в караульном помещении, — когда был проделан весь сложный ритуал развода постов, когда стали на места, оправляя ремни, часовые, когда Сухтелен отвел свой взвод во внутренний караул к самым покоям императора, и остальные люди роты, тихо топча тяжелыми сапогами, составили ружья в соседнем высокостенном безоконном зале, — Карпинский потеплел, разжал губы полуулыбкой.

— Ну, не сглазить бы — пока слава богу... А тебе бы все-таки караульный устав подчитать следовало: запинаешься. Смотри, не подсади.

— Где у тебя остальные офицеры?..

— Полторацкий вчера рапорт о болезни подал; а Бринкен отпросился прямо во дворец приехать: до часу путается где-то. Я, конечно, разрешил.

— Бринкен не опасен, — отозвался Жигмонт, растягиваясь на диване. — Он даже приказов по полку не читает: писарь ему докладывает, что к нему относится. Бумажкой вашей не смутится, поручик Силин.

— Где она, кстати? — схватился Карпинский. Пошарил за обшлагами, достал, развернул на столе, оглаживая примявшиеся концы.

— А все-таки ваши здорово, надо сказать, работают. И почерк писарской, со всей каллиграфией. Подпись хоть самому ад'ютанту полковому подсунь: признает. И печать: чисто. Ты видал, Жигмонт?

«Выписка из приказа... № 89, 10 сентября 1905 г.

§ 4. Прикомандированного к полку 51 пехотного Литовского полка поручика Силина, прибывшего 9 сентября сего года, полагать с того же числа налицо и зачислить на все виды довольствия.

§ 5. Прикомандированный к полку 51 пехотного Литовского полка поручик Силин назначается в 4-ю роту младшим офицером.

С подлинным верно: подпись, росчерк, печать».

— С подлинным верно! — Карпинский осмотрел меня и поморщился.

— Напрасно ты на погоны кованые цифры заказал. Государь не любит: надо было — шитые.

— С шитьем возня — не поспели бы; а штамп в Гвардейском экономическом готовый.

Лакеи в тяжелых темнозеленых фраках, с широчайшими фалдами, обшитыми позументом — черные орлы по золоту, — внесли подносы: в час — завтрак.

— Подкрепимся, — мигнул усами Жигмонт.—На офицера в дворцовом карауле полагается две бутылки — белого и красного. Сорт — по чину: табель о рангах. Однако, если дать лакею соответственно, — будет и вне нормы и вне рангов.

Он глянул на Карпинского и осекся. И в самом деле — лицо Карпинского, ссунувшееся и серое, под морщинами, как у мученика. Этот — помнит.

. . . .

Я садился за стол, наискось от Карпинского, когда в раскрывшейся двери мелькнуло чем-то знакомое, где-то, как будто близко и часто виденное и все-таки чужое лицо. Два офицера вошли в комнату: один — в гвардейском, штабс-капитанском мундире; на погонах второго — штампованные, новенькие, блестящие кованые цифры: «5» и «1». Мои цифры.

Карпинский обернулся на дверной стук. Мгновенно остановившимися глазами оглядев вошедших, он выдернул из-за борта мундира край подкрахмаленной салфетки, бросил ее на стол и медленно встал.

— Ты опоздал, Бринкен, — сказал он, отбивая слоги, как шаг на учебном плацу. — И что это значит? — Он повел взглядом к Литовцу. Тот сомкнул каблуки и поднял плечи:

— Честь имею явиться.

— Наш новый прикомандированный, — развязно сказал Бринкен; с той минуты, как он вошел, он не отводил глаз от Карпинского. — Полторацкий, как ты знаешь, болен. Я захватил с собой поручика — ему на замену. Вот приказ.

Карпинский развернул сложенную четвертушку, старательно разглаживая замятые обшлагом углы. Через стол я увидел: каллиграфический писарской почерк с крючками и завитушками: «с подлинным верно», подпись и печать...

«Выписка из приказа... № 89, 10 сентября 1905 г.

§ 5. Прикомандированного к полку 51 пехотного Литовского полка поручика Никольского, прибывшего и т. д.

§ 6. Прикомандированный к полку 51 пехотного Литовского полка поручик Никольский назначается в 4-ю роту, младшим офицером...»

Карпинский дочитал, обернул бумажку, внимательно посмотрел на нее зачем-то с оборотной стороны, раздул ноздри и бросил коротко и жестко:

— Ну, что ж... Знакомьтесь.

Он кивнул в мою сторону.

Бринкен выпрямил грудь и обернулся ко мне.

— Пятьдесят первого пехотного Литовского полка поручик Силин, — отчеканил Жигмонт, расстегивая револьверный кабур.

Грузное лицо Бринкена налилось кровью. От подбородка к левому глазу, отдергивая кожу от скулы, забилась судорога. Он переступил ближе и протянул руку.

— Вы давно прибыли?

— Вчера явился.

— Я не был в полку, — с усилием проговорил он, не выпуская моих пальцев. — Поручик Никольский — ваш... ваш однополчанин...

Но Литовец уже обогнул стол и подходил ко мне, уверенно и упруго ступая сильными и стройными ногами в высоких лакированных сапогах.

— Здравствуй, дорогой! — И, раньше чем я успел ответить, он крепко поцеловал меня в губы.

— Господа офицеры! — командно крикнул Карпинский. Мы обернулись и стали смирно. С порога ласково потряхивал седой стриженой головой тучный генерал, об руку с коротеньким и таким же круглым флигель-ад'ютантом.

— Не беспокойтесь, господа. Приятного аппетита. Кушайте, кушайте... Капитан, полковник Мордвинов имеет к вам поручение от его величества.

Флигель-ад'ютант наклонил белорозовое, с черными длинными, словно наклеенными усами, лицо, показав расчесанный волос к волосу пробор.

— Его величество, — произнес он низким баритоном, — приказал узнать, не болят ли у кого-нибудь из ваших солдат зубы?

— Зубы? — недоуменно переспросил Карпинский. — Никак нет... И вообще, простите, полковник... как могут у солдат болеть зубы?

Мордвинов тряхнул эполетом.

— Если государь император пожелал... Опросите людей, капитан: совершенно необходимо, чтобы у кого-нибудь из них болел зуб... У его величества собрался небольшой кружок... особоприближенных. Государь император хотел бы испытать... действие магнетических пассов... Они исцеляют зубную боль, вы знаете. Его величество pour le moment очень увлечен этими пассами... Флюиды — это совершенно замечательно. Но необходим об'ект, не правда ли? Его величество приказал доставить ему солдата.

— В первый раз в жизни слышу, чтобы у солдата болели зубы, — пробормотал Карпинский. — Мне кажется даже... в дисциплинарном отношении... такой вопрос может породить... За своих я ручаюсь. Но я немедля телефонирую в полк.

Ад'ютант кивнул.

— Как угодно. Но дайте нам солдата с зубною болью. Вы — старый гвардеец, капитан, не мне вас учить службе.

Он многозначительно глянул Карпинскому в глаза, улыбнулся и, обведя небрежным полупоклоном комнату, вышел. Карпинский торопливо вышел следом.

— Что же вы, господа, садитесь, — радушно повторил генерал и подошел, колыша под широким сюртуком тяжелый живот.

— Дворцовый комендант, — шепнул Жигмонт. — Держись в струну. Заверни салфетку за погоны снаружи, чтобы шифра не было видно.

— Я присяду, с вашего разрешения, — отодвинул кресло толстяк. — Признаюсь, господа, ваш полк — моя слабость! Скажу откровенно, — он понизил голос, — лучший полк в гвардии.

Мы поклонились. Комендант оглядел стол и нахмурился.

— Семен! Отчего у капитана го-сотерн? Сейчас же сменить. Когда такой полк в карауле...

Мы снова заняли места. Прямо насупротив меня — Никольский, спокойно поглядывая серыми, светлыми глазами на меня, на Бринкена, на Жигмонта, на коменданта, мазал уверенной рукой масло на хлеб.

Генерал перевел глаза с него на меня и расплылся улыбкой.

— Вы что же, господа, извините, двоешки?

— Как? — не сразу понял я.

— Двойни?

— Никак нет. Мы даже не родственники.

— В таком случае игра природы, изволением божиим. Вы на одно лицо, — как братья родные.

Мы все переглянулись, присматриваясь. Жигмонт пожал плечами. В самом деле: между мной и Никольским никакого, даже приблизительного сходства.

Генерал продолжал улыбаться.

— А я то думал, как в Атаманском... Не знаете: братья Черемховы, как же! Двойни — в одном чине, в одном полку, на одно лицо — только у одного глаза чуть-чуть косые, у другого нет. Однакож, и второй, когда выпьет, тоже начинает косить, и тогда их мать родная не разберет. Только по бороде и отличают: полковой командир первому приказал бороду отпустить, а то скандал: случись что — не знаешь, с какого брата взыскивать. Был с ними, я вам скажу, на почве этого, так сказать, полового сходства, такой анекдот... Свеженький, только что слышал.

«Только чтоб разговор начать...» Так вот зачем генералу понадобилось в нас сходство...

Комендант уперся животом в стол и, снизив голос, рассказал нецензурнейшую историю... в которой слушатель без труда мог узнать один из наиболее игривых эпизодов Декамерона.

Осолдаченный Бокаччио! Если бы хоть одному из нас за столом было до этого дело!..

. . . .

Мы закончили завтрак в беседе на гарнизонные темы и на злобы дня: пал «Горкулес», выигравший в прошлом году всероссийское дерби; гвардейской артиллерии хотят вернуть кивера; великий князь Константин читал в Эрмитаже новую свою поэму.

— На гефсиманскую тему...

— Мифологический сюжет?

— Стыдись, Жигмонт. Что ты делаешь, когда бываешь в церкви! Канун Голгофы.

Комендант, подливая ессентуки в лафит, сказал спотыкающимся, старческим шопотом:

— Его высочество, говорят, имел его величество в виду. Действительно, времена тяжкие! Их величествам при-

шлось в нынешнем году отказаться даже от обычной поездки в Ливадию. Как угадать, под какую шпалу злоумышленникам вздумается заложить динамит? Год без солнца, без моря... Затвор в Царском. Подлинно, Гефсимань...

Вошел и вытянулся осанистый фельдфебель.

— Ваше высокородие! Из полка, в распоряжение вашего высокородия, ефрейтор Родионов.

Карпинский посмотрел на часы и озабоченно качнул головой.

— Что они там провозились так? Давай его сюда.

Фельдфебель посторонился и пропустил вперед красавца-солдата в новом, чудесно пригнанном мундире, в начищенных доотказа сапогах; на белом широком поясе — горящий медью рукоятки тесак.

Он отрапортовал о прибытии. Капитан откинул голову, любуясь.

— Молодец, Родионов!

— Рад стараться, ваше высокородие!

— А ну-ка дохни! Рот-то прополоскал, на случай?

— Так точно, ваше высокородие. В околотке... как об'яснить: ад-еколоном полоскали, ваше высокородие.

— Одеколоном? — поднял брови капитан. — Вот это здорово! Жжет наверно?

— Так точно, ваше высокородие. Жжет.

— Ну, иди, послужи государю.

— Рад стараться, ваше высокородие!

— Пойдем, богатырь, — вытащил тело из кресельных ручек комендант. — Вы не беспокойтесь, капитан, оставайтесь при карауле. Его величество не дал указания на то, чтобы вы лично представили ему больного.

ГЛАВА XV

ВНУТРЕННИЙ КАРАУЛ

Карпинский любовным взглядом проводил повернувшуюся лихо, налево кругом, плечистую фигуру и сразу потемнел, отведя глаза к нам. Мы остались сидеть, как сидели.

— Жигмонт, запри дверь.

Сдвинув рукой прибор, Карпинский положил перед Бринкеном два — ровным цветом зажелтевших под косым и вялым солнечным лучом — приказных листка.

— Слово за тобой, Бринкен...

Бринкен отстегнул крючок мундира: лицо стало снова наливаться кровью.

— Чего ты, собственно, хочешь?

— Брось, Бринкен, — зло сжав руки, резко выкрикнул Карпинский. — Это *моя* рота и *я* — не ты — отвечаю за караул. Что это за офицер? И зачем он здесь?

Бринкен молчал. Никольский, покусывая ус, смотрел на него злым и пренебрежительным взглядом.

— Я скажу, — внезапно проговорил он звонким детским голосом. — Я скажу, потому что — так или иначе, Бринкен, — мы с тобою — конченные люди. Зачем я здесь? По долгу присяги...

— Я не имею чести вас знать, — холодно, прямя плечи, оборвал Карпинский. — Потрудитесь замолчать. Перед полком и мною отвечает Бринкен. Я вас спрашиваю вторично, штабс-капитан, не как товарищ, — как старший по команде.

Бринкен подернул головой и встал.

— Ах, так! Не как товарищ... Ну, извольте. Я повторю то, что сказал Никольский: мы здесь по долгу присяги.

— Бросьте загадки, мы не в petits jeux играем!

— Вы правы... мы играем головами. Я могу сказать прямее, если для вас не ясно, капитан, каков долг присяги для каждого, кому родина и престол — не пустое слово. Для нас, монархистов, — принадлежность моя к «союзу дворян, верных присяге», вам небезызвестна, капитан Карпинский, — родина и престол — святые слова. Во имя их мы приняли на себя грех — цареубийства

Карпинский и Жигмонт вздрогнули.

— Вы...

— Да, мы. Мы не можем дольше смотреть, как гибнет Россия, великая Россия, взращенная на крови и костях наших предков... Преступно проигранная война, преступно проигрываемая революция... Измена кровью торгует на торжищах. Нас продали японцам, нас продают социалам. Отечество исходит кровью, этой кровью революция красит свои знамена. Все колеблется, все готово рухнуть, гибель над нами. Государственный руль требует как никогда твердой и мощной руки... А он, возлюбленный монарх, — он вертит столики, коронованный шут.

— Тише! Солдаты услышат.

— Пусть слышат. Я — не масон, не наймит еврейского синедриона, не убийца из-за угла. Я говорю громко во весь голос, что думаю. Шут в короне, злой карлик, да... Мы видели на всероссийском престоле развратников, пьяниц, отцеубийц, но это были монархи. Они правили тяжкой, доподлинно царственной рукой: я прикладываю губы благоговейно к их кровавой печати, — при них Россия раздвигала свои пределы, она дробила кованым кулаком зубы соседям. Тогда знали, зачем носят гвардейский мундир. А этот... юродивый, прикармливатель кликуш, «магнетизер»... — он захохотал, запрокинув голову. — Ублюдок! Он толкает престол и родину в бездну. Довольно. Мы решили: сегодня в ночь, во внутреннем карауле. Жребий пал на него: вот почему он здесь. Имя? Не все

ли равно. Он дворянин и честного рода. Этого довольно для права цареубийства.

Он смолк, тяжело и прерывисто дыша.

Никольский перекрестился, истовым и широким размахом:

— Во имя отца и сына, и святого духа. Митрополит Антоний благословил нас на кровь.

— Митрополит? — взметнул глаза Карпинский.

— Слова владыки, подлинные, закрепленные в памяти: «Самоуправство и самосуд — вот единственное, что остается сторонникам порядка и закона. Но правительство, которое до этого довело, преступно, и терпеть его — еще преступнее. Только с истреблением династии возможен поворот». Владыка благословил и присовокупил: «Се время помощи»...

— Так читается в отходной, — закрыв глаза, молитвенно прошептал Бринкен. — Мы приняли благословение преосвященного; вчера мы отслужили по себе панихиду.

— Ты начал как гвардеец, ты кончаешь как псаломщик! — брезгливо морщась, проговорил Карпинский. — На последних словах я перестал тебя понимать.

— Не все ли равно, — холодно пожал плечами, вставая, Никольский. — Наш план сорвался: мы — раскрыты. Судьба — за Николая. Божий перст над нами. Не привелось — его святая воля.

Он отстегнул шашку и положил ее на стол перед Карпинским.

— Исполняйте ваш долг, капитан, как мы исполняли свой. Арестуйте.

Бринкен, отведя глаза, в свою очередь стал отстегивать портупею.

Карпинский молчал, низко опустив голову. Затем он жестко улыбнулся.

— Не так просто. Вам придется, я вижу, бросить...

Он не договорил. В дверь постучали резким и властным стуком. Жигмонт поспешно повернул ключ.

Флигель-ад'ютант, с порога, подозрительно оглянул комнату.

— Господа офицеры запираются в караульном помещении? Насколько я знаю, это не предусмотрено уставом.

Карпинский не ответил. Мордвинов еще раз оглядел нас: его розовое лицо казалось каменным, черные усы топорщились стрелками вверх.

— Об этом мы побеседуем, впрочем, после, а сейчас... Кто командировал ефрейтора Родионова?

— Я передал высочайший приказ дежурному по полку. Полагаю...

— Государь император повелел передать пославшему ефрейтора, что он — дур-рак! Вы слышите, капитан: дур-рак! — со смаком повторил флигель-ад'ютант. — И арестовать на семь суток с содержанием на гауптвахте. Фамилию сообщить мне для доклада его величеству.

— Ради бога... что случилось, господин полковник?..

— Кого приказано было послать? Или вы меня не хорошо поняли, капитан?

Карпинский вздрогнул всем телом.

— Разве у него не болят зубы?..

— Теперь, вероятно, болят, — усмехнулся полковник, оправляя усы, — потому что я набил ему морду, с вашего разрешения, капитан. Но когда его величество произвел над ним — в присутствии приглашенных — августейшие магнетические пассы и изволил спросить, насколько сильна была исцеленная пассами боль, — эта скотина ответил, что у него вообще не болели зубы! Положение его величества...

— Позор! — прошептал Карпинский. — Неужели там забыли его предупредить, второпях... Я был уверен, что он знает, что у него болят зубы.

— Вам надлежало удостовериться в этом, во всяком случае, капитан, — потряхивая аксельбантом, процедил полковник. — Полку это будет поставлено на вид. Честь имею.

Он щелкнул насмешливо шпорами и вышел, высоко неся под эполетами пухлые плечи.

— Позор! — повторил Карпинский, сжимая ладонью виски. — Жигмонт, кликни фельдфебеля.

Он тронул, машинально, рукой шашку Никольского на скатерти и поморгал устало глазами, словно припоминая.

— Нет. Погоди, надо же кончить.

— Запереть? — нагнулся к его уху Жигмонт.

Карпинский досадливо махнул рукой.

— Не надо. Теперь уже все равно. Возьмите вашу шашку, поручик. Опять может кто-нибудь войти.

Бринкен и Никольский переглянулись.

— Карпинский, — начал Бринкен, но капитан остановил его резким движением бровей.

— Поручик Никольский немедленно оставит дворец. Присмотри за этим, Жигмонт. Вот ваша фальшивая бумажонка. Идите и — забудем об этом, Бринкен.

Никольский, молча, продевал кольца ножен в застежки портупеи, Бринкен подошел и обнял Карпинского. В углу под потолком настойчиво и смешливо затрещал электрический звонок. Бринкен разжал руки.

— Государь вышел из внутренних аппартаментов.

— В ружье! — крикнул, открывая дверь, Жигмонт.

— Никольский, немедля из дворца. Бринкен, Жигмонт — при главном карауле, — торопливо сказал Кар-

пинский. — Поручик Силин, — он сгорбил плечи, словно подымая тяжесть, и добавил глухо: — Идем.

Мы прошли, почти бегом, мимо строившегося караула, и свернули в амфиладу зал, выводившую от нашего помещения во «внутренние покои» императора.

ГЛАВА XVI

«ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ»

Пустые залы гулко отдавали шаг. Мы шли в полусумраке. Полусумрак сменял тени: красными, желтыми, синими, серыми спадами тяжелых, глушащих солнце, завес закрыты провалы окон. Тупым казенным ранжиром вдоль стен зачехленная мебель. Кое-где, редко, лакеи: черные-фрачные, красные-ливрейные; они привставали со стульев, у входа, при нашем проходе. Минуем, и опять — скользь паркета, мебель вдоль стен, пустота зал, глухой свет сквозь закрытые окна.

— Далеко еще, Карпинский?

— Нет, — хрипло, не глядя ответил он. — Сейчас будет, за поворотом.

Он круто остановился. Из отдаленья сквозь тишь и потемь, гулко отдаваясь от зала в зал, донесся голос. И тотчас — расчисленными взрывами ровных вскриков — зычный отклик муштрованных, сильных, молодых голосов:

— Рад старат... Ваш... императ... лич-ство!

— Государь в карауле, — прошептал Карпинский, судорожно поджимая пальцы под туго стянутый по талии шарф. — Как же теперь...

От сдавленного, растерянного дыхания жутью дохнуло в желтый, полутьмою окутанный, темнее прежних занавешенный зал. Пусто и глухо. Глыбой висит с потолка, на тяжелых чугунных цепях, обернутая желтой мате-

рией люстра. Топорщатся по простенкам кресла в желто-серых вскоробленных чехлах. Вверх, в темь уходят, сгущая пустоту, плоские, под желтый мрамор расписанные, фальшивые колонны, накрытые раззолоченными коринфскими капителями.

Карпинский ждал, прислушиваясь. Внезапно он наклонил голову, медленно и жутко сводя плечи.

— Ты ничего не видишь?

В медленном, тягучем шопоте — кошмарная, смертная дрожь. Я глянул: померещилось тоже... Меж креслами, тесно прижавшись к стене желто-серым, недвижным, на удар... на прыжок подобранным, пригнутым телом — кто-то... Шевелит пальцами. Цепко. И смотрит в упор... Глаз в глаз.

Кто?

С трудом оторвав взгляд, я повел им дальше по стенам. Еще один... и еще, и еще... Из ниши — две головы, до кожи простриженные, гладкие, круглые... Тела не видно.

— Гайда, Карпинский!

Но Карпинский, перехватив левой рукой замотавшуюся шашку, бросился к выходу. Тени у стен распрямились... Быстрый шипящий голос окликнул:

— Виноват, капитан...

Человек в желто-серой рубахе, кольт за широким ремнем, стал в дверях, неслышно ступая мягкими подошвами желто-серых сапог.

— Виноват. Потрудитесь вернуться. Его величество изволит следовать...

Карпинский отпустил ножны и поднял грудь.

— Я — начальник караула, и иду...

— Так точно, — мягко перебил желто-серый, кривясь кругом обритым, жестким лицом. — Но порядок внутренней охраны...

Он насторожился. Из соседней перед нами залы скользнул гуттаперчевым телом, обогнув без звука дверной косяк, новый желто-серый призрак. Люди у стен, как по команде, пригнулись и, западая за мебель, за выступы стен, один за другим протянулись быстрою цепью — в зев за нами распахнутой двери...

— Идет! Вы не успеете, господа офицеры. Потрудитесь пройти в эту дверь и там переждать. Предупреждаю: если его величество увидит вас — вы будете арестованы в дисциплинарном порядке, на месте.

Он указал рукой: в глубине между колоннами — дверь, в цвет стены, почти незаметная. Желто-серый следил, пока мы отходили, и затем — резким широким броском, как на коньках, раскатываясь по паркету, — неслышно побежал к выходу. Когда он скрылся, Карпинский прикрыл снова приотворенную им дверь.

— Твое счастье, — сказал он, запинаясь. — Я знаю ход отсюда: вторая комната, винтовая лестница вниз, коридор — прямо к караулу.

— Тише.

Он глубоко вздохнул и замер.

Зал пуст. Ни шороха. И звонко слышно — в тишине этой — слабое пристукивание одиноких шагов, срывающееся позваниванье шпор. Кто-то шел, неровно, точно путаясь ногами.

Я взглянул на Карпинского. Он стоял, вытянувшись во фронт, на полшага вперед от меня, плотно зажав глаза вздрагивающими, напряженными веками. Он почувствовал взгляд, свел ко мне, полураскрыв, глаза, и сказал свистящим шопотом:

— Чем?

Стилет был подвязан к запястью левой руки, рукоятью к ладони: обшлаг мундира широк — легко достать и левой и правой рукой. Я не ответил. Он снова

сдавил веки еще крепче и зашептал сквозь стиснутые зубы:

— Нет, нет, нет... Слышишь, нет. Слышишь, нет...

Шпоры звякнули совсем близко: император вошел в зал.

Венгерка лейб-гусарского полка с золотыми шнурами туго обтягивала подваченную выпуклую грудь, черный барашковый стоячий низкий воротник уходил под бороду. Лицо — одутловатое, с краснотой на скулах, наклонено вниз. Глаз я не видел: он смотрел себе под ноги. И, видимо, думал.

Посреди зала он вдруг остановился, вобрал голову в плечи, переступил ногами, путаясь шпорой о шпору, и странно, по-мертвячьи зажелтевшей в полусумраке зала рукой провел по волосам.

Веки Карпинского вздрагивали на пути моего взгляда: он еще чуть-чуть выдвинулся вперед, все теснее поджимая к телу локти.

Опустив руку, император сомкнул каблуки, подбоченился и сказал вполголоса, словно пробуя тон:

— Молодцы, брат-цы!

Затем притопнул лихо шпорой, вынес, как на параде, левую ногу, и пошел дальше, печатая «с носка» шаг по паркету... Дзынь, дзынь...

Карпинский отжал локти; руки свисли. Он тяжело и часто задышал и открыл глаза.

Фигурка в венгерке, покачиваясь, мелькнула в дальнем просвете. И тотчас, следом, из пройденной залы, поползли быстрым ползом вдоль стен, западая за мебель, за колонные выступы, неслышные желто-серые тени. Передовые, дотянувшись до распахнутых створок, осторожно, как на разведке под прицельным вражьим огнем, выдвинули головы, следя за удаляющимся. Выждали и шмыгнули, легким оборотом, по-мышьи — в потемь даль-

него зала. Еще минута или две... и опять кругом тихо и пусто...

«Проследовал...»

— Идем, Карпинский.

Он отер рукавом, по-солдатски, пот со лба. И, не глядя, повернул ручку двери.

. . . .

Мы вернулись в караульное помещение по винтовой лестнице, коридором. Караул был в строю. Жигмонт, с шашкой наголо, не по-уставному — настороженный и подтянутый, ждущий, — недоуменно глянул нам навстречу.

— Вольно! — отрывисто бросил Карпинский. — Составь ружья.

Жигмонт бегом догнал нас у входа в офицерскую комнату.

— Что ж вы?

— Кончено! — Капитан подошел к столу, придвинул бутылку и налил, плеская вино на скатерть.

— Карпинский...

— Кончено, говорят тебе! — почти выкрикнул тот, вторично наполняя стакан. — Бринкен, прими роту; я сменяюсь.

Жигмонт отошел ко мне.

— Что случилось?

— Ничего особенного.

— Вы не встретили Николая?

— Встретили. И с глазу на глаз.

— С глазу на глаз? А внутренняя охрана?

— Жуткие люди! Карпинский, повидимому, никогда не видал этих охранников раньше.

— И я не видал. Они прячутся. Они помешали?

— Да нет же! Кроме нас не было никого. И сзади — свободный выход.

— Почему ж ты не ударил?

— Шут! — крикнул, вслушавшись, Карпинский. — Ударить! Если бы ты видел... ты снял бы мундир и надел бы рясу... или больничный халат... Убить! Жизнь хуже смерти. Я должен бы арестовать вас во имя революции, господа цареубийцы... А они еще гоняются за ним, голова в петле!.. Один только и есть мудрый, да и тот — Антоний Волынский! Да, да, Бринкен, не смотри на меня быком...

Он поискал по столу и пододвинул к себе недопитую бутылку.

— Так как же, поручик Силин? — «Идем, Карпинский?» Просто, как апельсин! Отчего ты мне не сказал сразу: «Чем?» — «Ничем». Ты знал тогда уже, я теперь по глазам помню... Зачем ты пришел?

— Чтобы иметь право не ударить, надо подойти на удар.

— Уверился? — подмигнул кривой усмешкой капитан. — Подвел черту и — вывод. Я то-ж-же делаю выводы.

Бринкен, сжав губы, переводил взгляд с меня на Карпинского.

— Ты в самом деле уходишь?

Капитан отогнул от стакана наклоненное горлышко бутылки.

— А ты видел когда-нибудь, чтобы я пил в карауле?

— Ты понимаешь, что делаешь? — холодно произнес Бринкен. — Когда начальник караула оставляет свой пост... и вообще... В наряде оказывается... карнавал какой-то... приходят... уходят... Ответственность...

— Потрудитесь меня не учить. Я лучше вас знаю службу, и люблю полк, и сумею ответить, будьте уверены... Позвони в полк, пусть пришлют когонибудь, с одним Житмонтом и Сухтеленом ты не управишься.

— Я позвоню. Но назавтра нам придется серьезно поговорить с тобою, Карпинский. Теперь, кажется, слово — не за мною, а за тобой...

— Сделай милость! — капитан приподнял пустой стакан. — Ты меня разыщешь легко. Я никуда не тронусь завтра с места. Идем... поручик Александр Силин... «С подлинным верно»? Брехня... Силин и Карпинский — кого из двух нет? Разгадай, Жигмонт...

. . . .

Мы вышли комендантским под'ездом на набережную. Здесь расстались. Молча. Только пожали друг другу руки. Он пошел в сторону адмиралтейства, покачивая головой и боченясь, как император, там, в пустом зале. Я свернул вправо, к Троицкому мосту. Истово козыряли франтоватые городовые, частой цепью стоявшие вдоль дворца — от угла до Зимней Канавки. Приваливаясь, через десяток шагов, к гранитному парапету усталыми поясницами, бродили филеры. Накрапывал дождик. Желто-серыми тяжкими отражениями падали в Неву с того берега сутулые бастионы Петропавловской крепости. Нелепо торчал в белесой мути неба золотокованный шпиц — точно кол, вогнанный в царские могилы, засклепленные под сводами собора. Сегодня, к этим могилам могла бы прибавиться еще одна.

Могла бы прибавиться... чтобы гноем этого нового трупа совершилось новое миропомазание? Нет. Только за бороду. Кончено. Об этом можно больше не думать.

И все же: подумалось. Кто-то толстый, в черном резиновом, глянцевом от дождя, растопорщенном макинтоше, прошел мимо — шатаясь и хлястая тяжелыми калошами по лужам. Что такое? Почему от этой черноты — мысль о царских похоронах?..

Вспомнил... «Черный рыцарь с опущенным мечом». На похоронах Александра. Он шел, по церемониалу, где-то

там, перед катафалком, после царской охоты или волостных старшин. Говорили: черный доспех был настолько тяжел, что — по росту и силе — не удалось подыскать никого, даже из гвардейских правофланговых. Нашелся, по вольному найму, какой-то мясник. Но и тот не сдержал: когда он шел мимо нашей делегатской шпалеры, он хлястал ногами и шатался — совсем как тот, в макинтоше. И подпирался мечом, наваливая на него окованный сталью живот... Символ царственной скорби, хранитель династии!

В трупе иногда больше силы, чем в живом. Даже Даша не назовет этого афоризмом...

А ведь Карпинский застрелится. Или уже застрелился?



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

КОНСТИТУЦИЯ

Тучи гонят в обгон, черными, синими клочьями. Мелькнул, между дымными клубами, месяц — ярким осколком щита рассекая края налетевшего облака. Растерянный! Погнутый! Вот-вот повернется под новым налетом тылом к земле... дзиг! и... нет света! Ни зги не видать — ни вверху, ни внизу...

Стачка!

С адмиралтейства бьют в мглу, хлеща по сгорбленным крышам, шаря бледным, твердым лучом, по черным площадям, черным улицам — прожекторы... Один, два, три... По Троицкому мосту — редкие пешие... Один, два, три... На Неве — быстрая, чуть-чуть засеребреная рябь.

Ветряно, весело.

Последняя железная дорога — Финляндская — стала.

Все-об-ща-я за-бас-тов-ка!

. . . .

Но упрямо отзванивают, над стеной Петропавловки, столетним звоном часы: «Коль славен». На крепостном фасе, что выходит к Каменноостровскому, у запавших вглубь, под иконою, древних, плотно припертых ворот, наспех ставят полевую батарею. Пригибаясь, словно под вражьим огнем, перебегают между орудиями серые,

в синем сумраке, солдатские тени. Глухо цокают вдали, по торцам проспекта, копыта полицейских патрулей. Парк шумит октябрьским ненастным шумом.

Пусто кругом, глухо...

Ночь близко. Над самым городом.

. . . .

Каменноостровский застыл. Плотно приспущены занавесы в окнах попутных домов. Пугливо выглянул, на случайный звонок, из-за тяжелых, еще не разбитых каменным градом, зеркальных стекол непривычно растрепанный швейцар. Слизлой дрожью передернутая, тянется обывательская жуть — от домов, от торцов, от дребезжащих под ветром, сиротливых над пустыми панелями фонарей. Любо!

— Ударим наконец?.. «С одними ножами засапожными».

. . . .

В тупиковом, незаметном проулке тускло мигают над четырехколонным под'ездом два белых, еле налитых светом, фонаря: «Аквариум» торгует: единственный, кажется, притон в городе, который не затронут забастовкой... Некому о нем вспомнить. Рабочий здесь не бывал и не слышал.

Вдоль брандмауэра, насупротив под'езда, и нынче, как всегда, вытянулись цепью пролетки и автомобили с затушенными огнями. С'езд. Но не юлят под ногами голоногие мальчата, навязывая афишу, выпрашивая окурок. Стачка ли их разогнала? Или что?..

Иван Николаевич назначил — к двенадцати, точно. У меня еще полчаса времени в запасе. Иду я с пустыми руками. Азеф просил обязательно добыть сведения о секретном совещании, которое было сегодня в штабе, в связи с забастовкой. Я не узнал ничего.

. . . .

В передней, у вешалок, — некстати, — знакомое лицо Щекотов, саратовец, земец. Познакомились летом, в Москве, на земско-городском с'езде — в Долгоруковском доме, что за пустырем, против храма Христа спасителя.

Хотел пройти стороною. Заметил.

— Во-от, батенька, дела. И вы сюда? Ничего не поделаешь, хоть дорого: единственное место — все рестораны закрыты, а есть хочется, смерть... Ну, и вспрыснуть, собственно, надо бы — по русскому, по православному обычаю... Можете, батенька, поздравить.

Швейцар, покачивая головой, принял мое пальто.

— Уж не знаю, как вас Иван Павлович устроит, такое нынче скопление... Как бы сказать: катастрофа.

— Еще бы не скопление, ежели некуда иначе и деваться: стачка! Вы не знакомы, господа? Это — наш предводитель уездный; тоже со с'езда. А я вашу фамилию, простите, забыл. Лицо хорошо помню, а фамилия выскочила.

— Ну, и не ловите. Вы что же, «учредились», наконец? Конец «Союзу освобождения», да здравствует «Конституционно-демократическая партия»? Я не поздравляю вас с переименованием.

— Вот мы сейчас бутылочку, и поздравите.

— Не с чем! «Союз освобождения» — это звучало нелепо, если хотите, но в этом было что-то свое, Восток. «Конституционно-демократическая партия» — от одного имени на три версты тянет парламентской скукой, застегнутыми сюртуками, застольным спичем... Вы переходите с Востока на Запад; с восхода — на закат: берегитесь!

— «Ворон, каркая, к мести зовет»! Крайний вы, крайний! Знаю — Милюков жаловался: к нему, говорит, ни с какого боку. А я, батенька, бок-то найду, — гогоча, он просунул мне руку под локоть. — Пойдем, в самом деле, никогда не был так голоден, как сегодня. А насчет

судеб наших не сомневайтесь! В России три силы: горожане, земцы, интеллигенция, все три у нас. С нас довольно.

— А Совет?

— Государственный? — дернул бровями Щекотов. — При чем он тут?

— Ни при чем. Я говорю о Совете рабочих депутатов. О том, что тринадцатого организовался. Сегодня первый номер его «Известий» вышел.

— Видал! — Щекотов теснее прижал мой локоть и расхохотался. — Мы с ним, с Советом, контакт установим, это само собою разумеется. Организация масс облегчает маневрирование. Чрезвычайно важное событие, но... Но у них, извините, замашки! Игра под рабочую власть. Это уж, между нами, курам на смех. Этого в истории не было и не будет.

В вестибюле накурено и людно. Столики вдоль стен, столики посредине — вкривь, вкось; даже наверху, на галлерее, обводящей входы в отдельные кабинеты, столы, столы... И все заняты. Плотно.

Действительно, «катастрофа». Здесь никогда не бывало раньше столов: кого загонишь ужинать в прихожую.

Щекотов оттянул тяжелую драпировку, в арке между вестибюлем и залом, и присвистнул.

— Ну, и штука. Яблочку негде упасть.

— Придется отыскивать Ивана Павловича, пусть устраивает.

— Как честный человек — пол-Питера здесь, — хмуро оглядывая зал, протянул Щекотов. — Нет ли из наших кого? В глазах рябит, ей-богу. Какой-такой Иван Павлович?

— Не знаете Ивана Павловича?

— Откуда мне знать, я здесь третий раз всего.

— Иван Павлович—граф, богач, здешний метр-д-отель.

— То есть как? — Щекотов отпустил портьеру и обернулся. — Что вы такое рассказываете?

— То, чего одни провинциалы не знают. Да, сначала был только графом, постоянным здешним посетителем, здесь и спустил все свое огромное состояние. В один прекрасный день проснулся здесь же, в отдельном кабинете, с потрясающей шансонеткой, мятой скатертью и счетом, который он, наконец, не смог оплатить. Оливье, хозяин здешний, великодушен: они столковались быстро: он дал ему отличный оклад и чин метр-д-отеля. У Ивана Павловича опять то, что было прежде: тонкий ужин, отдельный кабинет и потрясающая шансонетка.

— Какой ужас! — повел плечами предводитель. — Ведь он каждый вечер рискует встретить знакомых...

— Рискует? Во-первых, это его прямая обязанность — встречать. Во-вторых, вы совсем превратно судите о здешней золотой молодежи: быть на ты с Иван Павловичем — шик.

— Наши, ей-богу! — радостно воскликнул Щекотов, снова отвернувший портьеру. — Вот видите — там, с краюшку от эстрады — пятый... шестой... Фу ты, чорт, спутался, так тесно насовано... шестой или пятый стол. Идем. Как-нибудь к ним приспособимся...

Огромные шляпы, открытые груди, открытые плечи, погоны, черные сюртуки, черные фраки лакеев, снующих по узким, чуть приметным проходам между сдвинутыми столиками, — не разобраться глазу в этой пестряди. Лавируя, мы добрались до стола земцев. Щекотов представил меня — широким жестом и невнятным мычанием. Четыре бородатых лица, приподнявшись, промычали так же в ответ, кто коротко, кто длинно. Лакеи, виляя фалдочками, тащили стулья из оркестра. Все устроилось. Я сел и осмотрелся. И первое, что метнулось в глаза: груз-

ная спина и толстый затылок Ивана Николаевича... Близко, за два стола от меня.

Я встал: извиниться перед земцами и перейти к нему. Но, поднявшись, увидел, что он — не один. Невероятно. Против него, уютно уложив локти на стол, почти по пояс обнаженная, играя алмазами ожерелья — сидела Минна... Minna la Cyrillienne — как звали ее в гвардии, потому что она проделала весь дальневосточный поход в вагоне великого князя Кирилла Владимировича. За ее стулом, интимно опершись на спинку, стоял Иван Павлович и, смеясь, что-то говорил «Толстому».

Без четверти двенадцать. Подойти раньше срока или выждать?

Я передвинул стул на тот край, так, чтобы видно было и Минну и Ивана Николаевича, и сел снова, не спуская с них глаз. Земцы говорили что-то, вголос, о с'езде. Я не слушал и через ровные промежутки повторял: да, да. Иван Павлович стронулся с места, дружески потрепал Ивана Николаевича по плечу и ушел, хозяйским взглядом осматривая зал. Минна осталась.

О чем они говорят? У них серьезные, у них даже сердитые лица.

Щекотов одернул меня за рукав.

— Вот, Каменный Гость: мы к нему, а он даже не слышит. Ничего, господа! Он крайний, но сейчас он будет слушать. Вы знаете, милостивый государь, какую мы нынче на с'езде резолюцию выкатили?

Он сдвинул брови и вытащил из кармана отшлепанный на машинке листок:

— «Учредительный с'езд к.-д. партии приветствует крупный шаг народа, — он поднял многозначительно палец, — народа на том пути, на каком стоит сама...». Тонко сказано, Родичев писал, он мастер. «Организованное мирное и в то же время грозное вы-

ступление русского рабочего класса, политически бесправного, но общественно могучего»...

— Карасев платежи прекратил, — визгливо донеслось с соседнего столика. — Кто расчет на наличные вел, все прекратили.

— «Учредительный с'езд, — напрягая голос, перекричал говорившего Щекотов, — считает долгом заявить свою полнейшую солидарность с забастовочным движением». Видите, как мы, батенька: на самый гребень событий!

— В банке государственном — не отвечаем, говорят, за срочность переводов, — опять забубнил голос за моей спиной. — Ты это слышал? Это тебе, брат, уж не крушение самодержавия, а попросту говоря — крышка.

— Ну, с крышкой-то мы еще погодим, — ответил другой голос и перешел на шопот. Под самым моим ухом, противно! — Акции-то держатся на заграничной-то бирже: это как понимать? И в Париже, и в Брюсселе... Криворожские — до тыщи трехсот поднялись, прохоровские — с шестидесяти пяти на сто пять, донецко-юрьевские... Русский Провиданс, брянские рельсопрокатные... все вверх полезли. Здешняя на понижение играет, Брюссель — держит. Это, надо думать, — штучка!

— Программа Витте отклонена, — гремел уже полупьяный Щекотов. — Мы идем на полный разрыв с правительством.

Скрипки одолели, наконец, шум. Конферансье крикнул что-то с эстрады. В зале зашикали: тише!

Первое отделение программы — то, которое никто не слушает — отошло. Сейчас — выход Марион, «любимицы публики», популярнейшей шансонетки сезона.

— Ти-ше!

Губы Минны шевелились попрежнему — быстрым и сердитым потоком слов. На этот раз обрывки слов доходили сквозь стихавший гомоп. Она говорила по-немецки.

— Нет, мой лягушенок, mein Frosch, — на этот раз не отвертишься. О мебели — я уступила. Но сейчас, со столовым серебром — завтра же... Денежкые... не верю... столько тратишь... три-четыре сотни... в нашу квартирку...

Ударили литавры. Голос затерялся в звоне, треске, гуле аплодисментов: Марион вышла.

Костлявая, узкоплечая, с угловатым «сатанинским» ртом, за укус которого платили бешеные деньги, — она стрельнула глазами по залу, рикошетом, без прицела и, приподняв двумя руками топорщащиеся шелком, блестками, кружевами юбки, показала высоко над коленями черные бархатные подвязки.

— Мар-Мар-Мар-Мар-и-он! — крикнул чей-то пьяный и восторженный голос. — Япон-скую!

Шансонетка кивнула копной соломенножелтых волос, с пучком перьев над левым ухом, и постучала носком туфли по пюпитру дирижера. Скрипки взвизгнули. Марион передернула бедрами:

Я Куро-паткин,
Меня все бьют.
Во все лопатки
Войска бегут...

Четыре офицера в защитных кителях поднялись из-за столика, у эстрады, и подхватили слаженным, спевшимся хором:

Орел дву-главый,
Эмблема мощи,
Со всею славой
Попал ты во-щи!

— Брав-во!

Минна и Иван Николаевич перегнулись друг к другу через стол, почти губы в губы. И жутко-противное — в этих, так близко друг от друга шевелящихся, жирных мя-

систых губах... Она — очень полная, Минна: Матвеев, капитан из Кирилловского штаба, называет ее — «мясная лавка».

Под Ляо-яном
Били, били, били...

азартно выстукивают литавры.

— Ah, mais non! — взвизгнула на эстраде Марион.

Скрипки срываются.

— Штурм! — ударяет себя по коленкам Щекотов.

Четыре офицера, в защитных кителях, приставив стулья к барьеру, отделяющему зал от эстрады, пытаются перелезть, через головы музыкантов, на подмостки. Марион, оскалив зубы, как норовистая лошадь, подобрав ногу, целится в грудь наиболее яростному поручику:

— Espéce de sal c...

Между столиками скользящей походкой уже мчится Иван Павлович, помахивая рукой; лакеи, спешно составляя подносы, со всех сторон устремились к барьеру. В дверях, четко рисуясь на малиновом бархате драпировки, выросла фигура плац-ад'ютанта, в фуражке, в походной форме.

— Господа офицеры!

Офицеры оборачиваются к портьере — и никнут. Гул смеха по залу. Кое-где хлопают... Гуськом, вслед за Иваном Павловичем, вытягиваются к двери, цепляясь за спинки стульев, четыре человека в защитных манчжурских кителях. Портьера поднялась, портьера опустилась. Дирижер взмахнул палочкой. Инцидент исчерпан.

Опять — черные подвязки, взмет юбок, — картавый, высокий голос:

Bonsoir, madame la lune,
Bonsoir, bonsoir!

За столиком Ивана Николаевича нет уже Минны; он пристально смотрит к выходу. Значит, пора?

Я жму руки соседям по столу и перехожу к Ивану Николаевичу.

Он обертывается и улыбается доброй, усталой улыбкой. Он ведь и в самом деле, наверное, ужасно устал за эти дни. Ведь с 7-го числа, как только стала стихийно и необоримо нарастать забастовка, без перерыва идут партийные и межпартийные совещания.

— Точны, как всегда. Узнали?

— Нет.

Лицо потемнело. Нижняя губа дрогнула, выпятилась, отвисла. Лицо стало противным.

— Ну, конечно. Общее правило наших организаций: когда надо — так нет.

Он досадливо отодвигает мельхиоровое матовое ведро, из которого торчит горлышко бутылки.

— Нам совершенно необходимо знать, что было на этом совещании. События зреют с часу на час. Вы знаете о ходе забастовки. Со вчерашнего дня стоят все заводы. Ни одна труба не дымит. По сведениям, правда, не проверенным, в провинции начались уже вооруженные выступления. — Он понизил голос. — И здесь, по заставам, настроение такое, что... если искру бросить, взорвет!..

— А-гур-ца!

Мы чуть не вздрогнули. За спиной Ивана Николаевича; кирасирский полковник, восставив четырехзубцем вверх вилку в крепко зажатом кулаке, топорщась крахмаленной салфеткой, засунутой за борт колета, повторил, глядя прямо перед собой, эскадронной командой:

— А-гур-ца!..

Лакей, прошмыгнувший мимо — два соусника на подносе, — остановился на полном ходу и подбежал, прядая фалдами фрака.

— Ваше сиясь... изволили требовать?

— Свежего огурца к филе.

Татарин переступил ногами и пригнулся.

— Виноват-с. Огурцов нет.

Полковник поднял бровь.

— То есть как «нет», если я требую?

— Виноват, ваше сиясь. Негде достать. Привозу нет, ваше сиясь...

Полковник положил вилку и нож и поморгал глазами.

— Что за вздор! Почему нет привозу?

Лакей пригнулся еще ниже.

— Осмелюсь доложить: всеобщая забастовка, ваше сиясь.

— Ну, знаю... Что же, что забастовка?

— Так что огурцов не подвозят, ваше сиясь.

Полковник пожевал губами, брови поднялись еще выше.

— Скажи, пожалуйста! Так это, в самом деле, так опасно? — Он подумал еще и добавил: — Вот... сволочь!

— Сволочь, ваше сиясь, — заюлил татарин. — Совершенно пра...

— Как? — внезапно побагровев, крикнул кирасир. — Ты какое слово, в моем присутствии, поганая морда!

Лакей попятился, балансируя подносом.

— Виноват, ваше сиясь.

Полковник смотрел на него, что-то соображая.

— Всеобщая забастовка... А ты чего не бастуешь, если все хамы бастуют?

— Помилуйте, ваше сиятельство... Мы, так сказать, в вашем услужении...

Пушистые усы раздулись над забелевшими улыбкой зубами.

— Они — сволочь, а ты — трижды рассволочь! Пшел! Стой! Убери филе. Без огурца есть не стану.

— Разрешите, ваше сиятельство, корнишону.

— Прими тарелку, я тебе говорю!

— Слушаюсь.

Лакей вильнул фалдами и побежал дальше. Кирасир покачал головой и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Гос-су-дар-ственная власть! Распустили хамье. Теперь... извольте видеть: ешь корнишон.

— Именно что распустили, господин полковник.

Кирасир всем корпусом медленно повернулся на голос. За ближайшим, тесно придвинутым столиком — два, купеческой складки, осанистых старика.

— Я к вам не обращался, — с расстановкой сказал полковник.

— Мы не в претензии, — благодушно закивал головою один из купцов. — В кабаке, извините, какое обращение. Но как мы городской думы гласные...

Лоб кирасира собрался в морщины. Он подернул левым усом.

— Позвольте: гласные? Разве это люди — гласные?

Купцы озадаченно переглянулись.

— Какие же люди, что вы, помилуйте... Гласный — это который состоятельный.

Кирасир захохотал, колыша крепкие плечи.

— А не состоятельные, что же они — со-гласные?..

Иван Николаевич положил мне ладонь на руку.

— Вы слушаете? Урок социологам.

Полковник затрещал стулом, поворачиваясь к купцам.

— Это, что вы говорите, очень забавно. И, знаете, верно. У вас есть деньги, вы — гласный. У меня есть имение, я — гласный. У лакея нет денег, он — со-гласный. У чиновника нет имения, он — со-гласный. У рабочего нет денег, он...

Кирасир остановился.

— Позвольте, как же это? У рабочих нет денег, а они... э... бастуют. Значит, они не согласны?

Иван Николаевич давно перестал улыбаться. Он сидел, тяжело оперев голову на руки, пристально глядя на чуть пенившуюся еще желтую влагу в недопитом плоском, узорчатом бокале.

— Что же все-таки теперь делать?

Он медленно поднял красные, припухшие веки.

— Ужасно досадно, что мне так и не удалось повидать ваших офицеров. Подогрел бы я их... Что бы вы думали, если нам их бросить вперед...

— В каком смысле?

Он досадливо потер лоб.

— Мне казалось, я сказал уже. Напряженность подымается: она дойдет скоро — завтра, послезавтра... до кульминации... В этот момент — надо взорвать. Но, чтобы поднять массу, нужна искра извне. Нужна — запальная трубка. Сами, одни, массы не поднимутся: у них голые руки. У нас мало оружия. Чудовищно мало оружия... Надо искру извне. Войсковое выступление — вот искра. К тому же, это даст рабочим оружие в самый первый, самый опасный момент.

Он перегнулся, — как тогда, к Минне, — близко-близко придвинув отвороченные, пришлепывающие на шопоте, губы. Он говорил совсем тихо. В перекрестном гуле голосов, щелканьи кастаньет с эстрады я едва различал слова.

— Я много думал эти дни. Центральный комитет решил: надо взрывать. Тем более, что какие-то меры принимаются... Это проклятое секретное совещание. И как это вы, при ваших связях, не могли узнать...

Он допил вино, и выпрямился.

— Так значит так: начнем? Сколько вам нужно, чтобы приготовиться окончательно?

Я пожал, невольно, плечами.

— Год, или полчаса. Укажите день.

Он сузил зрачки, соображая. Лакей убирал со стола посуду и пустые бутылки:

— Кофе прикажете?

— Нет. Счет. Или вы... останетесь еще?

— Я жду Курского. Машинку, две чашки и шерри-бренди.

— Ну, а я пойду, — потянувшись всем телом, сказал Иван Николаевич. — Сколько с меня?

— Свежая икра, балык, рябиновой четыре рюмки, — начал лакей, быстро доставая из кармана фрака таблетку.

— Сколько всего? — морщась, перебил Иван Николаевич.

Лакей подсчитывал, беззвучно шевеля губами.

— Сорок два рубля.

Иван Николаевич, попрежнему морщась, выбросил на стол две двадцатипятирублевки.

— Ну, я пошел.

— На чем же мы кончим?

— Ах, да, — словно вспомнил он, останавливаясь. — Чем кончим? Срок векселю — после завтра. И без всяких отсрочек. Послезавтра мы протестуем его. Примите меры. Завтра в три я буду у трех сестер. Знаете?

Он медленно прошел зал, между столиками. Я следил: никто не поднялся за ним следом: слежки нет, чист.

День, и еще день. На этот раз он прав, Центральный комитет... Запальная трубка?.. Мои офицеры обиделись бы, если б услышали. Курскому нельзя так сказать... Но их надо бросить в дело обязательно... пока они еще дадут себя израсходовать... Сейчас еще можно, через неделю... кто знает! Первым подымем Финляндский полк... Там больше всего этой гремучей ртути... Куда задевался Курский!

По залу прошел сдержанный, удивленный гул.

— Оливье!

В самом деле: событие — небывалое. На эстраде, блестя бриллиантами запонок на белоснежном пластроне рубашки, в безукоризненном фраке, с пробритыми до синевы щеками, округлый, гладкий, сияющий улыбкой, — сам содержатель «Аквариума», monsieur, monsieur Оливье.

Он кивал во все стороны напомаженной головой и делал какие-то таинственные знаки за кулисы.

— Ivan Pavloff!

Иван Павлович выступил. За ним — Марион, Минна, негритянское трио... Пестрой лентой потянулся цыганский хор.

Номер-монстр? Вся труппа сразу?

Акробаты, шансонетки, шпагоглотатель, человек-змея... Эстрада заполнилась... Оливье улыбался. Иван Павлович выступил вперед и жестом конферансье протянул руку.

Гудение в зале слегло. Шагнув к самой рампе, Иван Павлович изящно склонился и вынул из кармана фрака печатный листок.

— «Божиею милостью, мы, Николай вторый, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский...»

— Манифест?

Зал застыл. Голос Ивана Павловича дрожал, наливаясь слезой, от слога к слогу...

— «Смуты и волнения в столицах... великой и тяжкой скорбью преисполняют сердце наше... Великий обет царского служения...»

— Встать! — крикнул, подымаясь навытяжку, кирасир. Стулья простучали торопливо. И опять тихо.

— «Признали мы необходимым... даровать населению незыблемые основы гражданской свободы... личности... совести, слова, собраний и союзов...»

— Конституция!

— «Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной думы...»

— Конституция! — Шопот, неверящий, по залу—разросся гулом, криком... Задвигались стулья и столы...

— Гимн!

Дирижер, стоя, уже взносил палочку. Марион, поддернув привычным движением бедер топорщащиеся, качающиеся юбки, бросила первую картавую ноту:

— Боже, цар-ра...

— Храни... — вступили цыганские басы.

Зал очнулся окончательно.

— Кон-сти-ту-ция!

Земцы, краснолицые, чуть пошатываясь на растопыренных ногах, восторженно вторили басам. Рядом, уткнув голову в стол, между майонезом и оглоданным рябчиком, плакал, судорожно дергая плечами, высокий белокурый человек:

— Довелось... миллионы, миллионы...

Иван Павлович снова подступил к рампе.

— Я имею честь от имени monsieur Оливье...

— Parfaitement, — закивал француз и приложил руку к пластрону.

— ...и всех нас поздравить в лице вашем всю Россию с конституцией. И просить от имени всех нас выпить бокал шампанского за великое будущее нашей великой родины.

Портьера откинулась: вереница лакеев с подносами, уставленными бокалами, потянулась по проходам между столиками.

— Ура! — подняв руку, крикнул Иван Павлович.

— Ура! — отозвались эстрада и зал. — Гимн!

— Марсельезу!

Ого! Шляпки закивали. Кто-то вскочил на стул:

— Марсельезу!

К нему, толкая столики, мимо нас ринулся, придерживая эфес шашки, какой-то очень пьяный улан.

— Я тебе дам... Марсельезу!

Полковник ухватил улана за руку.

— Бросьте, ротмистр, в чем дело?

Улан качнулся, подернулся и стал прямо.

— Какая-то сволочь потребовала марсельезу...

— Ну, и чорт с ним! — благодушно сказал кирасир.— Пусть споют. Может быть, это что-нибудь веселенькое.

Ротмистр заморгал глазами. Но на том месте, откуда раздался «мятежный призыв», уже хлопотал вездесущий Иван Павлович. Оркестр играл, надрываясь, бравурный марш.

— Стакан вина? — кивнул кирасир. — Здоровье его величества!.. Подвоз теперь, знаете, возобновится. А то. изволите видеть, ешь кор-ни-шон!

Белокурый все еще плакал.

Щекотов, с бокалом в руке, постучал вилкою о тарелку.

— Господа! Сто лет, как лучшие силы российской общественности изнемогают в тяжелой непосильной борьбе...

Я поспешно расплатился и пошел.

— Тише!—прошипел кто-то. Странное дело: Щекотова слушали.

. . . .

В вестибюле было тихо и свежо. Дуло в приоткрытые двери. На галлерее, за столиками — уже никого. Я отдал швейцару номерок и закурил, дожидаясь пальто. Мысли бежали вперегон — тяжелые и бешеные.

— Сережа!

Я поднял голову. Перевесившись через перила галлереи смуглыми обнаженными плечами и грудью, — Ли.

— Поднимись к нам. Мы здесь с Асей в кабинете. Он очень устал за день и уснул. Мне жалко его будить.

ГЛАВА II

«СЛАВА ТЕБЕ, ПОКАЗАВШЕМУ НАМ СВЕТ»

Курский приехал ко мне на квартиру рано утром, в восемь, взволнованный и радостный.

— Ну, наша взяла! Теперь конспирацию по боку, будем жить.

— С завтрашнего дня.

Он остановил глаза недоуменно.

— С завтрашнего? Почему с завтра?

— Потому что завтра мы выступаем.

— Как выступаем? — Рука одернула тугой лацкан сюртука. — Ты шутки шутишь! Ты не знаешь, что ли? Конституция!

Я вспыхнул.

— Ты что: плотва? Клюешь на заслюненный мякиш? Не понимаешь, нет? Забастовка взяла за горло самодержавие, насмерть: оно пробует откупиться, выбросив вексель. Безденежный! Ты думаешь, они станут платить? Выверт. Мы требуем расчета на наличные. Выпустить горло сейчас, когда одного, еще одного только последнего нажима пальцев довольно, чтобы старое дернулось трупом, — безумие, или хуже: предательство. Я видел вчера Ивана Николаевича. Вопрос вырешен. Завтра мы выступаем.

— Ну, извини, — глухо сказал Курский, крепко сжимая челюсти. — Мы не имеем права так не доверять. Почему обязательно безденежный? Что же, по-твоему, государь, Витте и все, кто с ними, — мерзавцы и шулера? В других же странах есть конституция. Там не обманули, почему обязательно обманут у нас?

— По-твоему, там не обманули? Болото. На кой она нам прах — конституция. Что ты в самом деле: неужели опять с азов начинать!

Он закусил губу.

— Ты меня ошарашил совсем... И ты думаешь, союз пойдет на выступление?

— Должен пойти.

— Не пойдет. Сейчас, когда можно легальным путем продолжать борьбу, добить самодержавие со скамей парламента, — лезть на нож... Наши офицеры ни за что не согласятся...

— Надо раз'яснить им, если они, как ты... Всякий военный не может не понять, что выпустить противника из-под удара, которым его можешь прикончить, противоречит основам военного искусства. Нельзя откладывать на «после», когда мы «сегодня» крепко держим в руках. Всеобщая забастовка...

— Но ее же прекратят, наверное, после манифеста.

— Там же дети сидят, в стачечных комитетах! Не беспокойся, не прекратят.

В прихожей настойчиво и торопливо зазвенел долгий звонок. Шаги незнакомые. В кабинет, отирая усы, вошел приземистый, очкастый человек, в инженерной тужурке.

— Я от Владимира Ивановича, из Союза союзов. Сейчас идет межпартийное совещание в связи с событиями. Меня попросили спешно вас привезти. Извозчик ждет.

— Одну минуту, мы только договоримся с штабс-капитаном: он — член президиума Офицерского союза.

Инженер замялся.

— Так, может быть, нам втроем поехать? Дело в том, что на сегодня назначены две демонстрации на Казанской: утром и в три часа. Предполагается после второй итти к тюрьмам освобождать политических.

Я оглянулся на Курского.

— Чувствуешь? Ошибка — на целые сутки. Мы думали завтра: дело будет сегодня.

— Вы понимаете: такая попытка может повести к осложнениям. Конечно, освобождение политических — в духе манифеста: амнистия неизбежна. Но неизбежна и некоторая канцелярская волокита: для отбора и прочего. Но левым, извините, не терпится. Мы принимаем все меры. Однако веское слово Офицерского союза...

— Мы его бросим на весы... и двумя руками, будьте уверены...

Я отвел Курского к окну:

— Поезжай сейчас же в полк, собери офицеров, раз'ясни положение. И так — чтобы никаких лазеек... конституционных, слышишь? Втолкуй им: выбор между самоубийством...

— И убийством?

— Да. Пусть будут готовы. Из казармы не отлучаться. Я с'езжу к егерям и в Московский. В три часа у меня свидание с Иваном Николаевичем. В четыре... нет, лучше в три с половиной — будь у Николаевского моста, на набережной, угол восьмой линии. Там ресторанчик есть какой-то — помнишь? Черная вывеска: не то Бернар, не то что-то в этом роде. На самом углу, не обознаешься. Я приеду с Петербургской, встретимся, стало быть, как раз на полдороге к Финляндскому полку. Там окончательно решим, кому выступать первым. Думаю, первыми двинем ваших финляндцев: все-таки там у нас больше всего офицеров, и они, пожалуй, надежнее, чем в остальных полках. Ну, действуй.

. . . .

Инженер бочком втиснулся в узенькую пролетку. На улицах людно, тревожно, шумно. Там и здесь на тумбах, придерживаясь за фонарь, неистово машут руками ораторы. Кое-где — красные значки, розетки на лацканах пальто.

— Все спуталось, — бормочет мой спутник, пока мы тянемся по Литейному, приостанавливаясь каждую минуту: прямо под морду лошади шмыгают с панели на панель пешеходы.

— От непривычки к свободе никто не верит как-то! Шут его знает, какой режим сейчас. И как дальше... Левые, однако, насколько я знаю, решили забастовку продолжать.

— Это главное: остальное приложится само. Единственное, чего я боюсь: как бы не сломали забастовку...

— Перегибать палку тоже не надо, знаете. Доведем скорость до взрыва котлов... потом, знаете, не починишься... Направо, к под'езду, гражданин извозчик.

. . . .

В пустой столовой, закинув за ухо шнурок пенснэ, дожидался Игорь. Остальные разошлись.

— Да, предполагали совещание, но сговориться — часы нужны; такой разнобой — не между партиями только, внутри каждого комитета, у каждого свое. А события идут: видели, что на улице делается!

— Под вечер к тюрьмам?

— Вот. Для этого-то вас и вызывали. Могут двинуть войска. Это уже ваша сфера действий.

— К середине дня я буду знать, на что можно рассчитывать, и сообщу... В три — у меня свидание с Иваном Николаевичем.

— Он просил передать: не в три, а в два.

Хозяйка квартиры, пожилая высокая учительница, — ее не раз уже приходилось мне встречать на собраниях,— растерянно ходила по комнате, наступая на разбросанные окурки. Когда я уходил, она догнала меня в прихожей. На глазах стояли слезы.

— И сын и дочь на Казанскую ушли, на демонстрацию... Господи, что-то будет!.. Только и надежды, что

на войска... А Витте сегодня ночью сказал нашей депутации от Союза союзов: «Войска остервенели, никакой пощады не будет».

Она внезапно наклонилась и прижалась губами к руке.

Я отдернул пальцы:

— Что вы делаете!

— Спасите нас! Господи! Только на вас, на военных, надежда.

. . . .

Я вышел с тяжелым ноющим сердцем. Мысль о выступлении, четкая и светлая, точно налетом покрылась, как пепел на недогоревшем угле. Стало чадно.

С тумб попрежнему, надрываясь, кричали ораторы. К Казанской, к центру, со всех сторон тянулся народ. Я торопил извозчика: до двух надо побывать у егерей и на Выборгской. Как сейчас разыскать начальников районных дружин?

. . . .

Егеря отказались, начисто. Они считают, что акт конституции уже сам по себе упраздняет Офицерский союз. Основное сделано: надо поддержать государя в его стремлениях пойти навстречу желаниям нации; черные силы отогнаны, Витте — европеец. Дальнейшее — в руках Государственной думы. Поводов к военному вмешательству нет. Манифестом 17 октября государь восстановил действенность присяги. Выступление было бы актом злейшей, ничем не оправданной крамолы.

В Московском полку — настроение как будто лучше. «Как будто», — потому что здесь, в отличие от егерей, «наши» не глядят в глаза. Оценивать акт уклоняются: ни да, ни нет: тут тонкая политика, собственным умом не разобраться. Прикажет Центральный комитет союза —

выйдут... Если Финляндцы выступят... Первыми... они «не хотели бы выступать».

Выступят ли хотя бы «вторыми»?

. . . .

На Выборгской мимо Московских казарм, по Сампсоньевскому, по Нижегородской, к мосту — густыми и тесными толпами шли рабочие демонстрации, под красными знаменами, под запев марсельезы. С трудом пробираясь, пешком, по затопленным народом улицам, я опоздал на Широкую.

Широкая, 10. Городская библиотека-читальня. В рассказе об этих годах должно найтись место теплому слову об этом доме — о «Кабачке трех сестер», как звали, ласковой шуткой, партийцы — квартиру заведующей: три комнатушки за библиотечным залом, где она ютилась с двумя сестрами. Чем была эта квартира: складом, явкой, клубом? Всем понемногу. Здесь — почти в любой день можно было найти партийных людей, боевиков, комитетских, периферийных, зашедших с делом или без дела — передохнуть на диване, сжарить яичницу на коптящей, пывкающей керосинке, — или сгрузить в прихожей в тяжелый платяной шкаф, под нафталином пахнувшие шубы — жестянку с динамитом или пачку свежеотпечатанных прокламаций. В спальне Шуры, хозяйки, в комоде красного дерева, пузатом, — мы сгружали не раз — перегоном из Финляндии — браунинги и патроны, перекладывая их по ящикам наволоками, простынями и юбками. Здесь дневали и ночевали, хотя, казалось, меньше всего было приспособлено для ночевки нелегальных это слишком людное, слишком неохраненное место. Но провалов здесь не было.

Заходили филеры в читальню, но весь штат библиотеки души не чаял в Шуре — в ней, действительно,

совершенно несказанная, покоряющая была мягкость. И филеры уходили, сбитые с толку, ни с чем.

Провалов здесь не было. Все-таки странно, что именно это место выбрал Иван Николаевич для нашего свидания: для явки ЦК — не место.

Я застал Ивана Николаевича в задней комнате, в Шуриной спальне. С ним был Мартын, боевик. Это — хороший признак.

Я передал о сделанных распоряжениях и о том, что видел на Выборгской стороне. Он слушал, тяжело вдавив грузное тело меж ручек старого полинялого кресла.

— Идут, вы говорите? А вот, у Технологического разогнали... в шашки. И... ничего.

Он криво усмехнулся.

— Вы знаете, где государь?

— В Царском.

— Его нельзя было бы захватить?

— Какой смысл?

Он не ответил. Мартын тревожно взглянул на меня и кашлянул.

— Вы вполне полагаетесь на своих офицеров?

— Какие бы они ни были, надо выступать. Это однозарядные пистолеты, Иван Николаевич. Если мы дадим им отсалютовать на воздух в честь конституции, мы вторично никогда уже не зарядим их.

Он опустил голову и долго молчал. Мартын ходил по комнате, останавливался по временам у окна: с Большого проспекта долетал шум проходящих толп и выкрики.

Старинные часы, на комоде, у зеркала, на черной вязаной салфеточке, отбили четверть — четким, неторопливым звоном.

— Время идет. Если полки выведут по наряду...

— Повторите еще раз, что у вас есть.

Я перечислил полковые группы. Иван Николаевич молчал, выставив пухлые ладони щитком перед глазами, локти упором в ручки кресла. Потом тягучим движением отбросился на спинку кресла и поднял на меня вялые помутнелые глаза; нижняя губа отвисла, обнажив мясистые десна.

— Поезжайте на вашу явку и дайте отбой.

Мартын круто обернулся и подошел к столу, жестким жгутом свертывая попавшую в руки газету. Хотел сказать что-то, но только пожевал губами: быстро, беззвучно, бешено.

— Вы сами же вчера сказали...

— Я взвесил, — резко оборвал меня Толстый, повертываясь боком и выпрастывая тело из-под ручки кресла. — Вооруженное выступление политически несвоевременно. Оно не будет поддержано. Я знаю, что говорю. Именем Центрального комитета я приказываю: дайте отбой!

— Вы выбрасываете за дверь оружие, не пустив его в дело. Для запала — офицеров, во всяком случае, хватит. Ударные силы, — они ж в рабочих кварталах! Вы знаете сами, там счет на десятки, на сотни тысяч. Я видел вчера своих: все дружины уже под ружьем. Через час я выеду за заставу... Поддержите же меня, товарищ Мартын.

— Если ЦК решил, обязанность каждого дисциплинированного члена партии...

Иван Николаевич порывисто встал.

— Слушайте, Михаил. Вы что же думаете — мне легко дается это решение? Вы думаете, я меньше вас хочу?.. Но играть головами людей, когда шансов нет на победу... Вы не победите. Я взвесил, говорю вам... Нет. Этого я допустить не могу. И не допущу. Дайте отбой. Идите.

Кровь ударила в голову.

— Нет. Я дам сигнал на свой риск.

— Вы? — Азеф вскинул голову, глаза стали злыми и презрительными. — Вы? Чьим именем?

— Именем революции.

— Фанфаронство! — резко захохотал он. — Это не мандат. Пред'явите действительные ваши полномочия! Данные, не схваченные на улице, от ветра, толпы. Кто вы такой? Кто вас, в сущности, знает? Десяток офицеров, кучка дружинников! Ха!

Он провел вздрагивающей рукой по воротнику, обводя пальцем толстое горло.

— Партия раздавит вас своим авторитетом, если вы рискнете отклониться от ее директив. Ваше имя — против имени Центрального комитета? Смех на вашу голову. Попробуйте — встаньте. Мы отбросим вас назад. Одним словом.

— Каким?

Мы смотрели в глаза друг другу, в упор. Он шевельнул толстые губы усмешкой...

— Есть такое одно слово... выжигающее клеймо, навсегда, на всю жизнь, непоправимо.

— Даже, когда оно брошено заведомо ложно?

Глаза блеснули.

— Да.

Мартын быстро положил мне на плечо руку:

— Не надо так, товарищ Михаил. Центр знает, что делает, положитесь на их опытность...

— И на то, что дело революции нам не меньше близко, чем вам. Вы — хороший работник, Михаил. Но вы — романтик. Это — само по себе чудесно тоже, но это не годится для политики. Политика — тяжелое ремесло. Когда, впоследствии, вы будете вспоминать этот день — вы не раз скажете: как он был прав тогда, старый ворчун... Азеф.

Он протянул руку.

— Идите. И — друзьями, попрежнему?

Я вышел.

. . . .

В ресторанной зале на углу Восьмой было пусто и тихо. Только в биллиардной, за стеной, щелкали, каменным щелком, шары и постукивал кий. Маркер в зеленом фартуке выглянул в дверь сонными глазами и снова скрылся.

«Двадцать шесть — и ни одного».

Я спросил пива и сыру. Лакеи липли к окнам, черной мушиной стаей: должно быть, идет демонстрация. Обрывок напева всколыхнул в памяти вчерашний конституционный канкан... Оливье во фраке, толстая голизна Минны над столом и хлюпающие решающие губы...

Отбой!

А если все же на свой страх и риск?

Они — политики, они — опытнее.

И он так ясно мучался решением, Иван Николаевич: я поверил. Но ведь верить не надо. Да, конечно ж. Почему решает он, а не я? Ведь он все равно бы не пошел, даже если бы ЦК решил выступление. Мы пойдем, — нам и решать. Ведь ни он, ни я, конечно же, не знаем, как лучше.

Внутри засмеялось радостно и светло: по-старому, как в далекие дни. Да, да, конечно же!

Входная дверь хлопнула. Сквозь стекло — из залы в прихожую — я увидел темнозеленый сюртук, красный «анненский» темляк на шашке. Расстегивая перчатку, медленно переставляя колени, пошел через залу ко мне Курский.

Курский ли? Это не его лицо. Глаза тусклые, глубоко запали в зачерневшие, как у мертвеца, орбиты. Губы сжаты в узкую, как саднящий рубец, щель. И бледен, как...

— Ты болен, Курский...

— Болен, с чего ты взял?

Он выждал, пока отошел подававший ему пиво лакей, и сказал, отставляя тягуче и мертво слог от слога:

— Я имею доложить, что мы готовы к выступлению.

Он повертел в руках граненую ручку пивного бокала.

— Сначала никто не хотел. Потом решили, если будет приказ из центра. Слово твердо. Мы выступим. Если будет приказ.

Радость гасла. На смену — черное, скользкое, гадливое.

На кровь вести — так?

— Отбой!

Курский вздрогнул всем телом и наклонился вперед, толкая стол грудью. Глаза загорелись. Если бы мертвецы воскресали, — у них были бы такие глаза, когда открывается гробовая крышка.

Прихлопнуть ее: мертвецам на гибель? Он не поверил еще...

— Отбой? — переспросил он хрипло.

— Да, да. ЦК отменил выступление.

Он широко раскрыл рот, обводя языком губы, подышал, быстрыми и жадными глотками.

— Слава тебе, показавшему нам свет.

Плеская пеной, он выпил залпом стоявшую перед ним кружку.

— Человек, еще бокал!

Руки шарили по сюртуку, от плеча к локтю, от плеча к локтю. Глаза быстро хмелели. Лакей принес вторую кружку. Он выпил ее так же, залпом.

— Вот видишь! Утром ты был неправ. Твой ЦК лучше оценивает события; у вас там умницы. Я поступлю в партию. Хорошо?

— Чудесно.

— Пойдем, да? Надо скорее в полк. Ты представляешь себе, что там... Если бы ты слышал, как я их уговаривал утром... Отбой! Они не ждут этого, наверное... Но как это умно решили... Ты к нам сейчас, в казармы?

— Нет.

. . . .

Мы расстались на набережной. Из-за Невы, издалека, доносился победный, радостный гул. По набережной, полыхая красные полотнища, торопилась запоздавшая демонстрация. Ряды шли, сбиваясь с шагу, толкаясь плечами, крепкие и единые... И глаза верящие, светлые такие... Идут!

Я свернул вправо, за Николаевский мост, мимо пристаней и причалов, мимо черных пустых бортов, на зимовку закрепленных у каменных парапетов, замертвелых кораблей. Пусто. Я шел, пробираясь меж штабелей выгруженных бревен, между грудами ящиков, между тесовых баррикад... Никого. Еще немного и можно будет присесть. Здесь, где-нибудь.

Нет!

За грудой бочек, на каменном помосте, стоял, отставя ногу, бронзовый Крузенштерн.

И здесь — люди...

Но там, дальше — у Горного — опять полыхают полотнища знамен.

ГЛАВА III

ПОД УКЛОН

21 октября Петербургский совет рабочих депутатов декретировал прекращение стачки:

«Считаясь с необходимостью для рабочего класса, опираясь на достигнутые победы, организоваться наилучшим образом и вооружиться для окончательной борьбы

за созыв Учредительного собрания на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права для учреждения демократической республики, Совет рабочих депутатов постановляет прекратить 21 октября, в 12 часов дня, всеобщую политическую забастовку с тем, чтобы, смотря по ходу событий, по первому же призыву Совета возобновить ее так же дружно, как и до сих пор, за наши указанные выше требования».

Курский с торжеством кинул мне третий номер «Известий», где напечатан был этот декрет.

— Видишь, как ты был неправ? Ты, если присмотреться, совсем не политик. У тебя нет эдакого кругозора. Хороши бы мы были, если бы выступили...

Первая панихида по 1905 году.

. . . .

22 октября — новая резолюция.

«Совет рабочих депутатов имел намерение устроить жертвам правительственных злодейств торжественные похороны в воскресенье 23 октября. Но мирное намерение петербургских рабочих поставило на ноги всех кровавых представителей издыхающего строя. Поднявшийся на трупах 9 января генерал Трепов, которому уже нечего терять перед лицом революции, бросил сегодня петербургскому пролетариату последний вызов. Трепов нагло дает понять, в своем об'явлении, что план его состоит в том, чтобы направить на мирное шествие вооруженные полицией банды черной сотни, а затем, под видом умиротворения, снова залить кровью улицы Петербурга, как другие полицейские башибузуки залили кровью Томск, Одессу, Тверь, Ревель, Курск, Кременчуг и другие города. Ввиду этого полицейского плана, который лишний раз показывает, какую цену имеют обещания и манифесты царского правительства, Совет депутатов заявляет: Петербургский пролетариат даст царскому правительству последнее сра-

жение не в тот день, который изберет Трепов, а тогда, когда это будет выгодно вооруженному и организованному петербургскому пролетариату. Посему Совет депутатов постановляет заменить всеобщее траурное шествие внушительными повсеместными митингами чествования жертв, памятуя при этом, что павшие борцы своей смертью завещали нам удесятерить наши усилия для дела самовооружения и приближения того дня, когда Трепов вместе со всей полицейской шайкой будет сброшен в общую грязную кучу обломков монархии».

«Отбой!»

Чего они испугались, люди, составлявшие приказ?

В массах еще не остыл бросивший их в стачку под'ем. Вчера на заседании Совета я видел: попрежнему ровным и сильным светом горят глаза рабочих на депутатских скамьях. Эти — готовы. Взмахни рукой — пойдут. Запрятавшийся за «стратегические соображения», лгущий страх, что смотрит на меня из-за гремучих, из-за грозящих строк — потухшими, загнанными глубоко в орбиты глазами, как тогда, у Курского... этот страх — не их, не рабочих окраин. «Толпа» готова; но «герои»... боятся этой готовности к бою.

Вечером приехал из ссылки Жорж.

. . . .

Мы очень давно не видались. Почти с Памирской нашей поездки в 1898 г. По весне, когда мы кончили университет, он уехал в провинцию, скоро перестал писать, потом был арестован и сослан. Он был социал-демократом: по линии наших организаций ко мне не доходило поэтому о нем даже слухов.

Я застал у него в номере — в меблированном доме на Пушкинской — белесого лысого человека в черных очках. Они продолжали говорить и при мне об отношении к будущим выборам и о делах Совета, в который

только что кооптирован Жорж. И по монотонному, вескому голосу Жоржа, по тому, как он помешивал ложечкой чай в стакане, я остро почувствовал: Жорж—не тот. И я почти обрадовался, что нам не удастся поговорить: вместе с мужчиной в черных очках он торопился на митинг.

. . . .

День за день — мы тонем в резолюциях. И каких резолюциях! Полных призывов к борьбе. Но никто не борется. Я сказал это Авксентьеву. Он говорит: нет оружия...

Так зачем тогда кипятить воду?

. . . .

Встретил на Невском князя Барятинского, Владимира Владимировича, мужа Яворской — директриссы «Нового театра». Год назад я бывал у нее часто.

— Сколько лет, сколько зим! Заходите, забавно. У Лидии Борисовны сейчас политиков: труба!

— Именно, что труба...

— Нет, в самом деле: Финн, Парвус, Чириков, Арабажин, много... Вы тоже социал-демократ? У нас ведь — социал-демократы: я, как вам известно, по своим убеждениям — давний марксист.

— Знаю.

— То-то. Что скажете о режиме? Удивительно. Подал я, знаете, заявление на юмористический журнал «Благой мат». Так, изволите ли видеть, не разрешают: в управлении по делам печати говорят: такого слова нет. А как же, ежели «мы кричим благим матом»? Матом, говорят, можно, а «мат», говорят — дурное иносказание. Прямо анекдот. И это, по-вашему, конституция?

— По-моему, конституция: самая доподлинная.

— Ну, вы всегда были, как Лидия Борисовна говорит... Помните?.. Забыли? Гм... Как это?.. Заходите, она напомнит. Обязательно заходите, слышите! Тот же

особняк, на Лиговке. Признаться, они немного скучноваты, все эти Финны, с их политической экономией... А Чириков — тот нас совсем зачирикал, ха-ха!

Он засмеялся в холеную, расчесанную бороду, помахал рукой и пошел — бодро и весело.

Он напомнил мне кстати — об этом, зажатом между двумя «доходными» пятиэтажными громадами, маленьком, в коричневую краску покрашенном, особнячке. Мне по союзу как раз нужно надежное место. В один из ближайших дней я зашел в обычное «приемное» у Барятинских время — после спектакля.

Я застал в кабинете Лидии Борисовны — во втором этаже, в длинной и неуютной, ковром застланной комнате, в которой было все, что угодно, кроме полагающегося в кабинетах письменного стола, — целое общество. Действительно, Чириков с женой, со всем своим беллетристическим «бытом», уютно осел в креслах, у подножья деревянной резной статуи «гидальго, пробующего шпагу». Две таких статуи остораживали лесенку — несколько ступеней, — выводившую из кабинета в спальню Лидии Борисовны. Два профессора — из «постоянного штаты» Яворской—пятили на него, в горячем споре, очки. Мрачный Финн, болтливый и противный Арабажин, бывшая правая рука или, как мы смеялись, «правое мозговое полушарие» Владимира Владимировича в те недолгие месяцы, которые он был редактором «Северного курьера». По разным углам, у разных столов — овальных и круглых — еще с десяток очень почтенных, очень седобородых и плешивых, прочно засюртученных людей. А у трюмо, на самом виду, монументом стоял, опершись небрежным локтем на резную дубовую тумбу — так, как снимаются молодожены, — какой-то особый старик, в очках, но — не в пример прочим — с коротко остриженными седыми волосами. Яворская, с непривычной мне морщинкой на

лбу, переходила от одного к другому с вазой апельсинов и говорила, полушопотом, показывая — к трюмо — углом продолговатых, умных глаз:

— Вы знаете? Это — Лев Дейч... тот самый... знаменитый.

Разговор шел, конечно, о политике: уверенный, веский, со знанием дела разговор. Было бы невыносимо скучно, если бы Лидия Борисовна не была очаровательна в новой «политической» своей роли, с этой — такой значительной и крепкой — «политической морщинкой» на лбу. Я смотрел, как рецензент на спектакле. Она почувствовала, засмеялась, разгладила морщинку и погрозила пальцем. Она очень умная женщина, Яворская.

Перед ужином я задержался в кабинете, пропуская вперед, стадом к водопою спускавшихся, политиков. Барятинский, всей фигурой являя значительность, повел Дейча. Чириков, очевидный завсегдатай, с совершенной компетентностью раз'яснял одному из профессоров развешенные на лестнице эскизы к какой-то постановке. Лидия Борисовна торопила, под руку увлекая неожиданно оттаявшего Финна. Я присел на шелковый, потертый по сшивам полотнищ, диванчик. Яворская вернулась, волоча тяжелый бархатный шлейф.

— Не пытайтесь сбежать. Как вам нравится моя новая обстановка?

Она кивнула головой в направлении удалявшихся по лестнице шагов.

— Как всегда, в стиле dernier cri..

— Вы дерзки, как всегда... Ничего святого... Куда вы запропали? Кстати, скажите мне, ради богов, кто такой этот Дейч? Все говорят: знаменитость, знаменитость... а чем он знаменит — никто не знает. Войдите в мое положение: вдруг кто-нибудь из случайных спросит. Вла-

димир Владимирович смотрел в Энциклопедическом словаре — там ничего нет.

— По-моему, ничем не знаменит.

— Головой клянусь: вы опять нарочно. Вы ужасно нарочный человек, и это ужасно хорошо. Мы друзья попрежнему? Да? — Она протянула руки: я поцеловал. — А теперь — бежим. Старички нивесть что подумают. Актриса... В их представлении мы и одеваемся только, чтобы... раздеваться. Между нами говоря: утконосы... Что вы все-таки делаете?

— Разное. В сущности — ничего. Но, поскольку вы стали заниматься политикой, — что если бы кое-кто из моих добрых друзей поместил у вас на время — у вас вон какое хозяйство — фунтов тридцать-сорок динамиту?

— Динамиту! — всплеснула руками Лидия Борисовна. — Восхитительно! Конечно, да, когда хотите! Только не сюда, конечно: Владимира все пугают обысками. И, правда, как марксист, он на виду. Вы смеетесь? Злюка! Но в театре... У меня в уборной, например? Что вы скажете? Там никому не придет в голову искать. Только предупредите накануне, чтобы я могла принять меры... Ну, идем же!

Она потянула меня за руку. Но не успел я подняться, как в дверях показался... я ждал чего угодно, только не этого: Жорж.

. . . .

Лидия Борисовна блеснула улыбкой... из «Мадам Сан-Жэн».

— Георгий Васильевич, я так рада. Позвольте вас познакомить.

— Мы — на «ты», — поспешно и сухо прервал Жорж.— Я очень извиняюсь. Я из заседания Совета. Мы только что получили известия, которые необходимо спешно обсудить.

Я помню ваше любезное разрешение пользоваться вашим кабинетом в любое время... В Совете оставаться было по некоторым обстоятельствам неудобно. В частную квартиру ночью... вы понимаете... Здесь — положение особое. Вы не посетуете: я привел с собой Носаря и еще трех-четырех членов Исполнительного комитета. Вы позволите нам — полчаса разговора.

— К чему столько церемоний? — просто сказала Яворская. Морщинка сошла со лба; она стала совсем по-хорошему серьезной. — У меня есть кое-кто, но я задержу всех их внизу, в столовой. Хотя...

Она многозначительно взглянула на Жоржа.

— Здесь Дейч. Может быть, он вам будет нужен?

— Дейч? — недоуменно переспросил Жорж. — Нет. Зачем?

— В таком случае зовите же скорее ваших товарищей. Где они?

— На верхней площадке.

— Итак, мы оставляем вас.

— Нет. Оставьте его нам. Он очень кстати. Я даже пробовал вызвонить его в Совет.

Яворская укоризненно покачала мне головой. Затем приоткрыла дверь на лестницу.

— Пожалуйте, господа.

Они вошли гурьбой, — три, четыре, пять. Два — несомненно рабочие, три — обыкновенные, в пиджаках. Яворская осмотрела их с некоторым разочарованием. Она задержалась на минуту в дверях и шепнула Жоржу... Я слышал:

— А почему нет этого... знаете... такой жгучий — типа демона?

Жорж улыбнулся.

— Он ушел с заседания сегодня раньше конца.

Дверь закрылась. Жорж показал на меня.

— Это тот самый товарищ, о котором я говорил вам. На ловца и зверь бежит. Ну, к делу.

Хрусталев-Носарь уже сидел за круглым столом, раздвигая нагроможденные на шитой скатерти альбомы, пепельницы, вазочки.

— Начнем. Вы из Офицерского союза, товарищ? Да? У вас есть организация в Кронштадте?

— Нет.

— А по линии партийных военных организаций?

— Кое-что у социал-демократов, кое-что у эсеров, но очень мало. Работа началась только летом, и организации налаживаются туго.

Носарь развел руками.

— Тогда я не знаю, что делать.

— Он не в курсе, — вмешался Жорж. — Дело в том, что мы только что получили сведения, что в Кронштадте началось восстание.

— Восстание... в Кронштадте? Быть не может!

Жорж кивнул головой.

— Вот и мы так же думаем: не может быть. С Кронштадтом, на поверку, ни у кого нет сколько-нибудь организованных связей. Даже попросту сказать — никаких. Директив тоже никто не давал: даже совсем напротив. Откуда там быть восстанию?

— Ты меня не понял, Жорж. Восстание в Кронштадте более чем возможно: ведь нигде не накоплено столько горючего материала, как во флоте. Там ведь по сие время бьют, бьют открыто, перед фронтом... Эскадренный режим тяжелее казарменного, а матросская служба отрывает от дома на шесть-семь лет... Это ужасно, конечно, если Кронштадт взорвался так, в одиночку, и в такой гнусный момент... но взорваться он мог. Надо немедленно проверить известие...

— Как же проверить, если нет связей? Да мы и не знаем даже откуда это известие. Меня вызвали к телефону. Какой-то женский голос сказал: «Товарищ Хрусталев, в Кронштадте со вчерашнего дня восстание. Взбунтовался четвертый экипаж»...

— Четвертый? Это похоже на правду.

— Почему? — подозрительно прищурился Хрусталев. — Вы же говорили, что у вас нет связей?

— Организационных нет, информационные есть. Нам сообщали, что в четвертом экипаже и третьем артиллерийском батальоне беспокойнее, чем в остальных частях. Недели две назад там были аресты.

— Без всякой связи с партиями?

— Без всякой.

— Невероятно, — сказали три голоса враз.

— Так или иначе, констатируем, — стукнул карандашом по столу Хрусталев, — связей с Кронштадтом очевидно, Совет сейчас получить не может. Восстание идет (если оно идет) уже второй день.

— Два дня! Значит, оно уже подавлено. Если бы восставшие захватили форты, батареи не молчали бы. Петербург... Петергоф особенно... услышали бы их, будьте уверены.

— Весьма возможно, — сказал Жорж. — Но гадать не следует. Имея неточные данные, можно с известным приближением к истине делать выводы; но когда не имеешь вовсе никаких данных, — а это именно наш случай, — надо брать труднейшее. Что вы предполагаете делать, если Кронштадт действительно восстал?

— Итти на все, чтобы поддержать кронштадтских товарищей, — быстро сказал один из рабочих.

— Оружия нет, — глухо отозвался другой.

Носарь приподнялся, порывистым жестом отодвинув стол.

— Нам и не нужно его, — заговорил он горячо и веско. — Пусть у нас нет оружия, чтобы вступить в открытый бой. Но у нас есть другое могучее средство: грозно скрестить на груди руки и сказать правительству — руки прочь! Забастовки мы не отменили, мы приостановили ее. Итак, решаем, товарищи: с завтрашнего дня об'явить забастовку...

Жорж покачал головой.

— Это сильное оружие. Товарищ Яновский правильно говорил, помните, в Совете: это — то же восстание. Злоупотреблять этим оружием не следует. Если судить спокойно и здраво, что вносит нового восстание в Кронштадте, по сравнению с тем моментом, — несколько дней назад, когда мы прекратили стачку по невозможности развернуть ее дальше... и даже поддержать ее в прежнем масштабе? Ибо дело обстояло именно так.

Носарь закивал.

— Я согласен. В сущности говоря, такие неорганизованные выступления только срывают подготовку общего удара. Мы даем бить себя по частям, мы растрачиваем силы раньше, чем наступит день генерального сражения. В сущности, такие вне общего плана возникающие выступления заслуживали бы даже открытого и вполне определенного порицания. Примем?

Опять заговорил первый — черный — рабочий.

— Как это вы так предлагаете? Нельзя же выдавать, если товарищи выступили.

— Кто против этого спорит! — отозвался Носарь, снова придвигая к себе стол. — Поэтому я и предлагаю забастовку, политическую забастовку.

— Но политическая забастовка — в данных обстоятельствах — опять-таки такая же непроизводительная растрата сил, как и кронштадтское восстание, — возразил, щурясь, Жорж. — Вы непоследовательны, Хруста-

лев... как всегда, впрочем. Вы меняете кукушку на ястреба.

— Товарищ Иванов прав, — поддержал молчавший до сих пор неизвестный мне человек в пиджаке. — Всеобщую забастовку можно начинать только с заданием перевести ее в восстание, в последний удар. Иначе она только зря растратит силы. Мы выпускаем накопленный пар, не сдвигая паровоза с места.

— Что же в таком случае делать? — нервно завертел карандашом Носарь. — По-вашему выходит: и так нельзя и так нельзя...

— А пройдет забастовка?

— На крупных заводах пройдет, спору нет. У железнодорожников — безусловно. Разве что Николаевская ненадежна. Так, Михайлов?

— У нас, в главном железнодорожном стачечном, считают так, — кивнул с дивана рабочий, — Николаевская и еще Финляндская. Однако пристанут и они, ежели пройдет дружно. Только вот, пройдет ли?

— Не пройдет, верно можно сказать, у табачников, у приказчиков, у портных, ну, и на мелких заводах: там и в прошлый раз на одном страхе держались. Но крупные не выдадут.

— Может быть, на какой-нибудь срок об'явить? — нерешительно сказал Носарь, оглядывая присутствующих.

Никто не ответил.

— Если подавили, — сказал, наконец, один из интеллигентов, — тогда, конечно, можно дня на два. Как сочувствие и протест. А вот если не подавили...

— Да, тогда нам выхода нет, — отчаянно махнул головой Носарь. — И так и эдак — итти на проигрыш.

— Какое сегодня число? — спросил я соседа, — у меня дни перепутались.

— Двадцать восьмое октября.

— Десять дней всего! Что будет через месяц!..

— О, главное — время! Организация, организация, организация... А для этого нужно время.

— На чем же мы все-таки решим?

Жорж пожал плечами.

— Придется все-таки об'явить забастовку. Срок не назначать, но стремиться сделать ее как можно короче, чтобы не растрачивать сил.

В дверь осторожно постучали.

— Вы, может быть, закусите, господа? «Нижние» уже разошлись. Остался один Дейч, но ведь вы его не будете стесняться?

ГЛАВА IV

В МОСКВУ

Я думал, развязка наступит скорее. Но Хрусталев-Носарь был арестован только 27 ноября; и только 3 декабря был взят голыми руками, под шумиху безвредных словесных хлопушек, весь Исполнительный Комитет Совета. 4-го — обе фракции РСДРП, социалисты-революционеры и восстановленный — худо ли, хорошо ли — Исполнительный комитет Петроградского совета призвали к всеобщей забастовке с 8 декабря.

> «Свобода или рабство! Россия, управляемая народом, или Россия, расхищаемая шайкой грабителей! — Так стоит вопрос. Подымайтесь все — рабочие, крестьяне, интеллигенция, подымайтесь, борцы за народную свободу и народное счастье! Присоединяйтесь к нам — остановим производство, остановим торговую жизнь, остановим сообщение по всей стране и соединенными усилиями уничтожим остатки самодержавия. Лучше умереть в борьбе, чем жить в рабстве.

Борьба начата, она будет стоить великих жертв, быть может, многих жизней. Но что бы ни было, мы не сложим оружия, пока не будет обеспечено следующее: Учредительное собрание... уничтожение военного и осадного положения, исключительных законов... переход земли к народу... и т. д.».

Коротко говоря, вся программа-минимум.

Я был на заседании Совета, когда вносилась эта резолюция: временный президиум потребовал доклада от Офицерского союза для полного освещения обстановки.

Докладчика мы выбрали из слушателей Военно-юридической академии, почтенного, облыселого уже, армейского капитана: так казалось солиднее и надежнее, в смысле сдержанности оратора. Обстановка требовала огромной осторожности, чтобы не подтолкнуть необоснованным, легкомысленным словом на выступление, в неуспехе которого мы, военные, были уверены. Вот оно, Носаревское: «время, время, время»... Оно работало не на нас.

Центральный комитет союза тщательно подготовил доклад: взвешено каждое слово. Капитан вытвердил его на зубок: мы репетировали дважды.

Он выступил. И сразу — от одного вида его капитанского сюртука, с орденской лентой в петлице, с открытыми погонами, не в пример обычному закручиванию их платком, — долгими и бурными аплодисментами дрогнул тесный, доотказа переполненный людьми зал. Так бывало всегда, когда выступали военные. Но на этот раз острее, чем когда-либо, чувствовалось, что в той фазе борьбы, которую мы проходим, которую мы долго еще будем проходить, решающее слово — за армией.

Голос капитана — долгими годами приученный к команде, — дрогнул непривычной теплотой, когда он про-

износил первые слова приветствия от имени «революционных войск». И снова взрыв рукоплесканий, дурманящий и зовущий, как предрассветный, день в ночи будящий, набат. И сотни глаз, горящих надеждой и верой, тянущихся навстречу словам.

Я видел, как от этих глаз, от этих изможденных, к бою, к смерти готовых лиц, заискрились, разгорелись глаза капитана. Голос поднялся вскриком. И вместо сухих, трезвых, остерегающих слов, которые подбирали мы в прошлую, бессонную ночь, в комитетском заседании, — роями призраков рванулись от ораторской трибуны «стальные когорты революции», колебля тысячи на кровь отточенных штыков. Он исчислял революционные силы. Полк за полком, бригаду за бригадой выводил он на смотр, на присягу Совету рабочих депутатов, верховному органу пролетарской силы. Он как будто забыл, что у нас нет, в сущности, ничего, что разгромлены уже Севастополь и Кронштадт, что подавлено Киевское выступление, что здесь, в Питере, та самая организация, от имени которой он говорит, тает день ото дня, сжавшись уже до грани маленьких, чисто революционных и чисто социалистических кружков; что беспартийные отошли; что в том же Финляндском полку, где месяца два назад за нами шла вся офицерская молодежь, теперь мы имеем каких-нибудь трех-четырех офицеров, да и те при встречах опускают глаза.

Капитан говорил — о полках и батареях, о тысячах штыков, уже покорных революции. Совет слушал, затаив дыхание. И мерно, расплавленным свинцом падали раскаленные слова о готовой быть пролитой крови.

Зал вздрогнул еще раз последним, радостным, громовым всплеском. Капитан кончил. Он постоял еще, бледным лицом к скамьям. Глаза тускнели и гасли. На се-

кунду мне почудился в них ужас. Он разыскал меня взглядом, подошел и сказал тихо:

— Простите. Я не мог иначе...

. . . .

Напутственная, предгробовая сказка, для тех, кому нужна сказка, чтобы умереть с улыбкой, с верой «в будущую жизнь». Потому что сегодняшняя — проиграна — для тех, кто думал о последнем напряжении и радостном покое.

И вечный бой. Покой нам только снится,
Сквозь кровь и пыль.

— Ты понимаешь, Жорж, что ставка уже проиграна?

Он пожимает плечами.

— Сегодняшнее решение — логический вывод из всей прежней политики Совета.

— А прежняя политика?

— Логический вывод из об'ективных данных обстановки.

— А ты не думаешь, что было бы другое, если бы вы не были так логичны? Вы играете в шахматы без шахматной доски.

— Опять афоризм! — морщится Жорж. — Ты, в сущности, должен бы быть доволен: вывод мы делаем логический, но как практический шаг — призыв к борьбе до конца, сейчас, конечно, вне логики. Ты мог бы позлорадствовать, если бы...

Он усмехнулся, бледной усмешкой, и протянул мне руку.

— Если бы ты был... логичен.

. . . .

Забастовка началась в Питере вяло. Но из провинции шли добрые вести. Только из Москвы ездившие туда Виктор и Иван Николаевич привезли нерадостные сведения:

настроение шумливое, но сил нет, ни на какие события рассчитывать не приходится.

10-го мы узнали: Москва восстала.

Для уличных боев, для восстания не придумать лучше Москвы, с ее лабиринтом кривых, вверх, вниз катящихся улочек и тупиков, с огромными домами, как командующие высоты подымающимися над разливанным морем особняков, особнячков и, попросту, кривобоких, бобылями притулившихся к пустырям, домишек. Войск в Москве, на огромный ее территориальный размах, мало. Притом в гарнизоне не было до сих пор ни выступлений, ни арестов. Революционных сил там, в рядах, не много, но они не израсходованы; предпосылки к брожению в войсках не может не быть, и, стало быть, они могут «детонировать» от взрыва. Но все это — гадание. Твердо одно: бой начался, его надо разыграть с максимальным возможным для нас напряжением, с максимальным возможным для нас искусством.

Мы мобилизовались, как могли. Но организации расшатаны арестами; оставшиеся надрывались, раздувая явно гаснувший на заводах огонь стачки. Несмотря на все старания агитаторов, несмотря на укоризны — «вся Россия встала!», часть питерских заводов упорно не прекращала работ. Это деморализовало бастующих. Николаевская дорога работала. «Стальные когорты революции», реявшие над собранием в ночь об'явления стачки, развеялись грезою. Стачка гасла.

Дружины Боевого союза, по районам, готовились, ворча. Они не верили в успех. Войска питерского гарнизона — на-чеку; подтянуты полки из Петергофа и Гатчины. Караулы по местам утроены. Черная сотня, затаившись, ждала. Угорь говорил, покусывая палец: «Помирать будем, верное слово, товарищ Михаил». Но Булкин

договаривал, радостно жмурясь: «А и ухнем же мы, перед кончиной непостыдной, и-ах!»

12-го — на заседании Совета стал, наконец, вопрос о выходе на улицу: дольше выжидать было нельзя. Прежний пассивный способ действий предрекал, в ближайшие же дни, срыв стачки, не говоря о том, что мы выдавали головой уже четыре дня стоявшую на баррикадах Москву. Председательствовавший выдвинул лозунг: выйти массами, чтобы соединиться с войсками и защищать это выступление боевыми средствами против полиции, казаков и отдельных отрядов.

Хмуро выслушали делегаты это предложение. И то! оно звучало почти издевкой. Соединиться с войсками? Но где — реально, на деле — хоть намек на то, что войска захотят соединяться? Зловеще и вызывающе похлопывали на перекрестках и у застав рукавицами зябнувшие дежурные части. Перейдут? Да нет же, конечно! «Защищаться собственными боевыми средствами»... Юмор висельника! Где они, боевые средства, кроме нескольких браунингов, переложенных Шуриным бельем, в пузатом, красном комоде на Широкой, полутора пудов динамита, вот уже месяц лежащих в уборной Лидии Борисовны в «Новом театре», и еще десятка-другого таких же, по шкафам и комодам, по письменным столам рассованных на разных квартирах «складов»... Нет!

Делегаты переминались. Понуро сменяли друг друга на трибуне ораторы. Не за и не против.

— Конечно, необходимо выступить. Но точно определить срок нельзя, надо привести сначала в боевую готовность дружины.

Это говорит рабочий от Московского района. Там они есть, дружины.

Остальные потупляют глаза. Разве сейчас соберешь дружинников под оружие? И если поверить старые, от

времен под'ема не тронутые поверкою, списки, — сколько их окажется налицо?

Жорж берет слово. Он говорит строго и беспощадно. Он бьет логикой. Приступить к работам, после того как Советом брошен призыв всей России, — невозможно.

Невозможно, действительно. Это понимают все. Резолюция принимается единогласно:

> «Продолжить забастовку, приступить немедленно к открытой борьбе, не допускать распущения митингов, обезоруживать полицию, разгонять казаков».

Мы крепко жмем руки, прощаясь. Мы знаем, что мы больше не встретимся. Совет принял резолюцию, которую он не может исполнить: он голосовал ее, зная, что она невыполнима. Больше он не может собраться.

Военная организация решила: командировать меня, как специалиста по уличным боям, в Москву. В тот же день с извещением об этом и небольшим грузом оружия и патронов выехал в Москву товарищ.

. . . .

13-го днем приехал ко мне, из 1-й гвардейской артиллерийской бригады, член союза, поручик Марков: в Москву отправляют семеновцев и часть 1-й бригады; его, Маркова, батарея назначена.

О семеновцах можно оставить всяческое попечение: эти — выступят. Генерал Мин заласкал солдат. Пища — выше всяких хвал; режим — «сверхдемократический»: офицеры играют с солдатами в шашки; лекции — днем, разрешение на женщин — вечером. Монаршие милости — при каждом наряде, когда по полтиннику, когда по рублю. Офицерский состав подобран, человек к человеку: в этом полку у нас не было никогда ни малейшей зацепки. Этот — не выдаст.

Но артиллеристы!..

— Когда был последний бригадный обед, поручик? Вы не помните?

Марков соображает:

— Когда Сахарова убили: двадцать второго или двадцать третьего.

— Ну, вот, а после обеда что было, когда ушли старшие, помните?

Поручик потупился.

— По винному делу... сами знаете, — все радикалы. Разве по своим легко стрелять. Но приказ по бригаде дело острое: это тебе не обед. За выпивкой легко сказать: откажемся! А пойди-ка откажись теперь. Разинь рот — зажмут, пикнуть не успеешь.

— Как же все-таки остановить выезд?

— Никоим. Поднять бригаду, только. Да она сейчас не подымется. Хотя бы из-за одних конно-артиллеристов. У нас ведь, знаете, вражда с ними, так сказать, историческая, еще от дедов традиция, а сейчас до того обострилось, хоть рубись, бригада на бригаду. Если мы шевельнемся, начальству только мигнуть — к соседям, в конноартиллерийские казармы: не дадут орудий на передки поднять.

— А если на конно-артиллеристах сыграть?

— Чтобы они, так сказать, за революцию? Что вы! Бригада твердокаменная. Да и оснований нет: довольствие улучшено по всей гвардии, обращение — как с барышнями: по морде не бьют. В городе спокойно: забастовкой не напугаешь уже, видели. На этом деле со всей уверенностью: крест.

— Значит, едете?

Марков улыбчиво и прямо посмотрел мне в глаза:

— Пошлют, поедем... Если вы как-нибудь не помешаете... собственными средствами.

. . . .

Но помешать было нечем. Единственно, кто мог в этом деле помочь—железнодорожники. Их комитет горячо отозвался: можно рассчитывать привести железнодорожные бригады к отказу перевозить войска. Но если бы даже это и удалось — так не разрешить вопроса. На три-четыре поездных состава найдутся штрейкбрехеры; на худой конец— поезда поведет железнодорожный батальон. Надо — круче.

Спустить поезда под откос? Но против этого горячо и единодушно возражали партийцы. Отправка держится в тайне. Когда пойдут, какой скоростью? Как и где перехватить, так, чтобы не ошибиться, не сбросить с рельс пассажирский или попросту грузовой? И, наконец, какое впечатление произведет на Россию и, прежде всего, на армию, известие, что мы переломали кости эшелону солдат, на братание, на «соединение» с которыми зовут собственные наши прокламации!

Совещание шло долго и тягостно. Тягостно потому, что всем нам, участникам, пришлось, наконец, со всей прямотой сказать то, что так долго и тщательно все друг от друга (а может быть, от себя самих) скрывали: налицо у нас сил для серьезной борьбы, не для одиночных ударов, нет. Есть самоубийцы, но бойцов — нет. Горсть боевиков по районам, само собою разумеется, не в счет.

Сильнее всех оказались опять-таки железнодорожники. Дружина у них небольшая, но крепко сколоченная. Она предложила взорвать до прохода воинских поездов — или под ними — мост на Волхове, если им дадут динамита.

Час был уже поздний. Я тотчас поехал в театр к Яворской.

Уборная ее — совсем особняком, из левой кулисы, по винтовой лестнице, вверх; остальные уборные — внизу, под сценой. В конспиративном отношении это чудесно. Динамит мы свезли к ней в лубочной длинной картонке: как платья носят портнихи.

Я приехал в антракт. Шло «А Пипа все пляшет». Пройдя на сцену, где, постукивая молотками, торопливо сменяли декорации плотники, я поднялся по знакомым ступеням, к закрытой двери.

Снизу окликнул басистый, много раз слышанный голос:

— Вы куда?

Голос — много раз слышанный, но под густым гримом не узнать лица, не узнать фигуры в коротких бархатных штанах, в итальянской распашонке-куртке.

— К Лидии Борисовне.

— Фьють, — свистнул итальянец. — Вы не в курсе. Уборная — в ремонте. Лидия Борисовна принимает — я разумею: переодевается — внизу; там ее временная лоджия. Вниз пожалуйте, в подполье.

Ремонт! Что сталось с нашим динамитом?

— Пожалуйте, провожу, — подвертывается из-за треплющегося полотнища боковой кулисы костюмер. — На низу бывать не изволили?

По узенькому, пятнистому — пятнами опавшей штукатурки — коридору, мимо узеньких, некрашенных, маленьких дверей. Стучим у одной, в самом конце.

— Войдите.

Лидия Борисовна за белым столом, перед зеркалом, поправляет карандашом глаза. Она не оборачивается. Я кланяюсь в зеркало.

По стенкам, на стульях — один из «всегдашних» профессоров, поэт с мудреной, гостиницу напоминающей, фамилией и... Щекотов. Его нехватало!.. Он кланяется, на этот раз холодно.

На лбу Лидии Борисовны вспухает «политическая» морщинка.

— Вы... Ну, что ж, муза истории поворачивает страницу?..

— Дрожащими пальцами...

— Как?

Я оборачиваюсь на подхрипывающий профессорский басок. Он строго смотрит сквозь очки.

— Почему, собственно, дрожащими?

— Она боится, что ее... ударят по пальцам.

Яворская взблеснула глазами.

— Вы, в самом деле, так думаете? Вот милый. А я уже боялась, что опять станет скучно... Астор...

Поэт наклонил голову.

— ...читал сейчас после долгого, долгого перерыва новый сонет... Венок на могилу революции... Он опять вернулся к сонетам после нескольких месяцев молчания.

— Что удивительного! — качнул бородою профессор. — За эти месяцы мы все разучились мыслить.

— В дни революции?

— Рев оголтелой толпы! Вонючий охлос, стучащий грязным кулаком по столу мыслителя. Это — революция? Бессмысленный бунт рабов! Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь — четыре месяца загнанной в самые глубины подсознания — мысли...

Яворская улыбнулась лукаво.

— Месяц назад вы говорили иначе.

Профессор покорно наклонил плешь.

— Что вы хотите? Власть террора. Этот совет троглодитов с небритыми подбородками, револьвером в кармане и свистом, останавливающим поезда и заводы... Вместо политики — свист: этим все сказано. Слава богу, это осталось уже позади, на перевернутой странице.

Астор заложил руку мечтательным жестом за отворот застегнутого длинного сюртука с орхидеей в петлице:

Спекшейся кровью знамен
Пятнаются шири проспектов.

— Кошмар... Отчего другие революции были так красивы... Площадь Ла-Рокетт... гильотина... Дантон... и этот изящный, тонкий, гибкий и смертельный, как толедская шпага, как стилет чеканки Бенвенутто Челлини — Сен-Жюст!

— Вековая культура! — авторитетно отозвался профессор. — У нас виселица и топор. Мы должны были пройти через этот бунт, как наследие прошлого мрака, чтобы выйти... — он улыбнулся Щекотову. Тот засмеялся в свою очередь.

— Да, выйти — на простор! В сущности, мы должны бы быть благодарны троглодитам: они проложили дорогу нам — подлинным общественным силам. Поле теперь за нами.

— Вы полагаете?

Щекотов посмотрел на меня, поджав губы.

— А как же иначе? В России три силы: земцы, горожане, интеллигенция: все три у нас. Правительство до сих пор было безумным: оно играло в поддавки. Но в разгоне Совета, в отправке в Москву карательной экспедиции оно уже начинает проявлять твердую руку и здравый смысл. Следующим шагом должно быть — я подчеркиваю должно — другого выхода для правительства нет — соглашение с нами. Конституционное министерство. Мы к нему идем полным ходом. Единственное средство закрепить победу над... низами, выплеснувшимися из предуказанных им берегов.

В дверь осторожно просунулось бритое лицо:

— Лидия Борисовна, мы начинаем.

Профессор и Щекотов торопливо поднялись. Поэт застылыми глазами упорно смотрел на черную родинку на груди Яворской, ниже плеча.

— Идемте. А вы?

Щекотов глянул на меня вопросительно и враждебно.

— Я не смотрю спектакля.

— А... — протянул он. — В таком случае — до свидания.

В посадке головы, в движении торса безусловно появилось что-то министерское. Неужели эти господа действительно «на пороге»?

Яворская проводила его глазами: он вышел с профессором и Астором.

— Что ж, дорогой мой? Ничего хорошего? Отчего вы не смотрите «Пипу»?

— Я выезжаю сегодня в Москву, со скорым.

— Разве поезда ходят? — равнодушно говорит Лидия Борисовна, оттягивая оборку корсажа вниз: грудь широко открыта, но надо — еще больше.

— Ходят. Я к вам за динамитом.

— Вот кстати! — оживляется она. — Вы — милый! Признаться, он мне изрядно надоел. От него воняет аптекой, неистово. Никакими духами не затушить. — Она улыбается и протягивает руку. — Я представлю вашей — как она называется — организации счет на перерасход духов в этом месяце.

Я отыскал уже за ширмой, в углу лубяную картонку.

— Как вы ее сюда перетащили?

— Попросила Карякина: он здоровый — эдакий Скалозуб. Подвернулся как раз, когда надо было перебираться... Я меняю у себя в уборной кретон: тот, розовый, стал совершенно невозможным. Говорю: тащи, но осторожно. «А что тут?» Я говорю: динамит. Он не верит, хохочет. Я так и думала, что он взорвется. Вот дурак!

Я подхватываю осторожно картонку под тройной, туго переплетенный ремень.

— В самом деле едете в Москву? На баррикады? Вы расскажете, когда вернетесь?

Она встает, улыбаясь густым кармином накрашенных тонких губ, и откидывает привычной позой гибкую, длинную фигуру с тяжелым торсом.

> **Смелее защищайте вашу кровь,**
> **Их кровь без страха проливайте, рыцарь,**
> **И эту белоснежную парчу, о рыцарь мой,**
> **назад мне возвратите**
> **Не иначе — как пурпурной.**

Потемнев, она резко обрывает:

— Вы не подаете реплики?

Мы молчим. Потом она быстро подходит, берет мою голову двумя напудренными, надушенными руками и крепко целует меня в лоб.

— Простите меня. Я сделала дикую безвкусицу. Мы увидимся, по приезде? Да?

. . . .

На вокзале много народа, но от'езжающих мало. Дружинников — четверо: они проволокли динамит в служебное купе. Едут отдельно от меня. Все четверо — такие спокойные и сильные, что почти поверилось в успех. Но только двое из них — подрывники: во время войны служили саперами. Больше не нашлось; на такую ферму, как на Волховском мосту, двух мало: ведь затягивать работу нельзя, надо быстро. Но от моей помощи они отказываются наотрез: третьим — много не ускоришь, а пройти труднее; они, николаевские, тамошние, пройдут без приметы, а чужой человек сразу ударит кому не нужно в глаза. Воинские составы еще на запасных путях, посадки не было: поспеем.

Явку московскую дали мне поздно. Даша привезла на вокзал, к самому поезду. И всего одну: а если она, к моему приезду, провалится?

Даша сегодня в шляпке; непохожа на самое себя. Мы сидим, до отхода, в купе: вагон — почти пустой, как и весь, вообще, поезд.

— Как у тебя с паспортом, кстати?

— Еду со своим. Я взял даже для верности из академии официальную бумажку об отпуске в Москву по семейным делам. Пройду где угодно.

Она качает головою и хмурится.

— А тебе это — не неприятно?

— Что?

— А вот что ты — с их бумагами?.. Точно в броне, когда все остальные с голою грудью.

— Это же не состязание, не спорт и... не подвиг. В бою панцырь достоинство, а не позор.

. . . .

Даша пошла. Сиротливо стукнула вправо, по вагону, захлопнувшаяся дверца. В моем купе попрежнему никого.

Я приказал проводнику разбудить меня в Чудове.

. . . .

Но сон не шел. Страница за страницей нелепого, добродетельного до тошноты французского романа, в желтой обложке, купленного в вокзальном киоске. Не захвати я его — что бы было делать?

В Чудове на платформе мелькнула в скупом свете фонаря фигура в полушубке, в заломленной на ухо шапке: один из подрывников, Василий.

Он прошел в буфет. Кое-где, за столиками, обжигаясь без нужды, глотали чай пассажиры. Василий подошел к стойке, к дебелой буфетчице, опрокинул в горло рюмку, вторую... третью...

Я пожурил его у выхода.

— На дело идешь — со шкаликом.

Он подмигнул.

— Какой от него вред? Мозге — оттепель. На дворе видал что: климат! По железу-то ерзать будем, не нагреешься. А ежели нас да подрежут? На том свете, шалишь, брат, не поднесут! На случай, заговеться.

. . . .

Я не видел, как они вышли на Волхове. Должно быть, мимо платформы, прямо через полотно: заходить они будут с той стороны. Здесь — большая охрана.

Поезд, осторожно отстукивая стыки рельс, ползет по мосту. В зябкой темноте, островерхими башлыками отмечены застылые фигуры часовых. Я считаю мостовые фермы: взрывать будут третью от нашего, петербургского берега.

. . . .

Чем ближе к Москве, тем дольше стояли мы на станциях. Бригада, соскакивая на ходу с оледенелых подножек, гурьбою окружала человека в красной фуражке, слушала, вытянув шеи, и потом разносила по вагонам, бодро стуча сапогами: «Отыграли москвичи, окончательно на убыль пошло».

В четвертый раз прошел по поезду жандармский контроль: поверка паспортов и билетов.

. . . .

На под'ездных путях к вокзалу поблескивали штыки солдат, охранявших пустые, только что пригнанные (еще не отцеплены паровозы) составы.

Пассажиры редкой цепочкой по проходу лепились у окон. Почти все — «коммерческой складки».

— Горит?

— Нет, не видать, чтобы горело.

— Москва, как Москва.

— Может, набрехали газеты? Так, замешательство без последствий.

— Очень просто, что и так. С газетчиков станется.

— Однако, войска нагнали. Смотри-ка, в упор стоят воинские. Зря тоже, по нынешнему времени, не будут солдат по стуже гонять. Он те ощерится, ежели по-пустому.

— Чего ощерится! Им на походе винная порция. Выпьешь — и на морозе весело.

Поезд проскрежетал буферами и стал. Без четверти четыре: шли с большим опозданием.

Под стеклянным навесом дебаркадера, на пустых платформах цепь солдат, пулеметы на треногах, жандармы, офицеры. С десяток носильщиков в передниках, но без блях. Штрейкбрехеры или охранники просто?

Пассажиров с багажом было, впрочем, не много. Большинство, как и я, совсем налегке, даже без подушек и пледов.

У выхода — сильный караул. Офицер Самогитского гренадерского полка поверяет, совместно с жандармским ротмистром, паспорта и билеты.

Он вскинул глаза — от моего документа на меня.

— Из академии? Нашего полка там — не знаете? Ладыгина, штабс-капитана?

— Знаю. На старшем курсе.

— Вот, вот, — обрадовался гренадер. — Что же это вы в штатском? Впрочем, верно! При гражданских волнениях спокойнее. Хотя, в сущности, у нас уже можно сказать — конец.

— Разве конец?

— Ротмистр, вы без меня управитесь, правда? — Он отошел вместе со мною в сторону. — Ладыгин, нужно сказать, дядя мой: будете назад в Питер, кланяйтесь. Удостоверите, что цел. А была переделка!

— Да, у нас говорили, что первые дни было туго.

— Еще как! Непривычка, знаете. Баррикады эти на каждом углу: откуда материала натащут — не прило-

жить ума. Растащим, а сзади уже новую наваливают. За день разберем, за ночь новых настроят. Вот, прости господи, канитель! Плана — нет, войск — мало, начальство по штабу мечется. Ежели бы тогда навалились господа социалы! Однако дали осмотреться... Баррикада сама по себе, что: только мебель портить...

— Потери большие?

— У нас-то? Точно сказать не смогу, но не должно быть, чтобы много. Ведь они больше из револьверов. А револьвер сам по себе что: чик, для собственного удовольствия.

— А у них?

— Кто считал? Взятых — и то не подсчитывали. Вывел в расход и бросил.

— Расстреливали?

— Нет, пристреливали. Еще им церемониал заводи. Конечно, ежели, по очевидности, гусь попался — отправляли в охранное; но ежели попросту жидок, — стоит из-за этого шум делать. У меня ефрейтор в роте, так тот изловчился больше прикладом, чтобы патронов не тратить зря. Дух, говорит, из него, каким манером ни стукни, одинаково воняет.

— Ну, я пойду.

— Вам далеко?

— В центр.

— Доедете за милую душу, в центре благодать. За Садовыми еще постреливают. А до Садового кольца тихо. Движение полное, только лупят извозчики, сукины дети: обрадовались случаю. Счастливого.

Беру извозчика у самого вокзала, для осторожности, на Театральную. Улицы, действительно, спокойны. Но пусты. На перекрестках — дозоры и патрули. Останавливают изредка.

У площади отпускаю извозчика, поднимаюсь вверх по Петровке, проулком выхожу на Тверскую и подзываю проезжавшего порожнем лихача. Вверх по Тверской, за Страстную.

ГЛАВА V

ТРОЕРУЧИЦА

На Страстной площади — явственные и тяжелые следы недавнего еще боя. Нелепою грудой топорщатся на углу оттащенные телеграфные столбы, под корень подрезанные, кривым, торопливым срезом. Черными, мокрыми кругами пятнят мостовую следы кострищ. Обрывками зажгутившихся проволок окручен фонарь. Боченок с выбитым днищем, с пестрыми клеймами «Портландский цемент», подкатился к обгорелому киоску. Мигает разлущенным козырьком втоптанная в снег синяя студенческая фуражка. По штукатурке домов — белою оспою сыпь шрапнельных разрывов. Было!..

Было. А сейчас... уже нет. На перекрестке, надежно и прочно врывшись тяжелью сапог в замызганный, расхлестанный копытами, подошвами, орудийными колесами снег, — трое городовых, в башлыках, в черных шинелях, растопыря локти засунутых в карманы рук. Еще стиснуты скулы оторопью недавнего страха, но по всей постати чувствуется: было, и — нет.

Нет? Но... с монастырской башни черным, чуть приметным жалом смотрится вверх по Тверской пулемет.

Шестой дом от угла Страстной по левой стороне. Я зашел под арку полураспахнутых, гнусавых ворот. Через двор, прямо, во флигеле, в третьем этаже, сквозь стекло — белая свечка в бутылке: знак, что явка не провалена; можно входить смело. Четвертое окно от угла: так и мне было сказано. Я поднялся.

— От Ивана Николаевича.

Девушка, открывшая дверь, кивнула головой и, обернувшись в коридор, крикнула:

— Виталий.

Виталий оказался белокурым, крупным, круглым. Но под глазами — бессонная синь, пальцы вздрагивают на лацкане тужурки.

— Товарищ Михаил? От военной организации? Как же, как же — ждем... Но... только... Мы вас, признаться, раньше ждали. А сейчас — уж и не знаю, как вам сказать... Связи у нас за эти дни, признаться, порастерялись.

— То есть, точнее сказать...

— Видите: начали мы очень хорошо. И план был и инструкция. Хотите посмотреть... — Он засунул руку в карман и вытащил печатные растрепанные листки. — Кажется, впрочем, дрались не по инструкции... Баррикадами шли к центру: войска ведь первоначально все были к центру оттянуты. Каждая дружина в определенном районе действовала. Связь держать было легко. А с четвертого дня, как войска начали наступать, вся система спуталась: дружинники начали переходить из района в район... были, скажем, на Бронной — оказались в Замоскворечьи... Разве угонишься! Я сейчас очень затрудняюсь сказать, в каком положении дело... Со вчерашнего дня никто не заходил. Я вам говорю: разбросалась публика...

— Ну, да ведь штаб какой-нибудь у вас есть всетаки...

— Конечно, есть, — закивал головой Виталий, расстегнул и тотчас же снова запахнул тужурку. — Хотя первый, настоящий, так сказать, еще до начала боев арестовали. Но там наших мало было, почти все большевики. А теперешний штаб — на Пресне. Она еще крепко занята. Это — наверное.

— Значит, туда мне и надо пройти. Как там связаться?

— На Прохоровскую мануфактуру вам надо будет. Центр там. Но вот, кого из наших найдете... — он развел руками и сморщился. — Там у нас товарищ Прокофьев был... Вышла, однако, некоторая неприятность: пришлось сменить. Сейчас Ильин должен бы быть, но возможно, что и он ушел. По совести сказать, и он не очень подходящий. Нет людей, знаете... Кто куда... Что бы вам хоть чуточку пораньше. Вы Мусю знаете?

— Какую Мусю?

— Да такая она, знаете... Вы с ней на питерской работе могли встречаться. Она на Выборгской стороне работала, в районном комитете. Не припомните?

— Нет. Может, и встречал когда.

— Она как раз сегодня на Пресню ушла. Вот бы вам с нею...

— Петро здесь еще, — вполголоса сказала стоявшая у притолоки слушавшая нас девушка.

— Как, здесь? — вскинулся Виталий.— Ведь к шести было условлено. Опоздает! Петро...

— Я, — отозвался голос из-за стены. — Не бойся, поспею — сейчас иду.

— Ну, вот, на наше счастье. Тут парень один — должен Мусе для пресненцев передать кое-что: он где-то с нею условился. Кстати и вас проводит. А дальше — вы с Мусей... она — все входы и выходы... Видите, слава богу, все чудесно устраивается. Петро, вот товарищ из Питера, по уличным боям специалист, прислан на усиление штаба.

Петро тряхнул космами оползающих на лоб рыжеватых ребячьих волос, оттопырил безусую губу над белыми ровными зубами.

— Добре! Только где его теперь, штаб, разыщешь...

— Муся разыщет, — успокоительно сказал Виталий, забегая вперед нас к двери. — Ну, счастливо! Осторожненько, переулочками, Петро!

. . . .

Мы спустились во двор.

— Вы Москву-то знаете?

— Мальчиком жил... Вспомню. Мы куда пойдем?

— Да почти что к Горбатому мосту. Там церковь есть — семи, то ли девяти мучеников. Так вот туда.

— В церковь?

— Обязательно. Для явки сейчас лучше места не найти. На улице неспособно, только на ходу прохожих и терпят; остановишься хотя бы и один — того и гляди заберут, а нет — пристукнут. В квартирах опасно стало: охранка очухалась, действует. Рестораны не торгуют. А в церквах — благодать. Попы-то не бастуют, молят о ниспослании. Шпика — за какой надобностью в церковь занесет? Так мы — в притворе, без людности, сойдемся, поговорим и ладно.

Я оглянулся по кривому проулку, которым мы шли. Никого. Приперты ворота и ставни. Синеет поздними сумерками снег.

— В шесть вечерня. Вот мы с Мусей и уговорились. Ей оттуда на Пресню рукой подать. Горбатый мост в двух шагах.

Он тряхнул свертком, который держал в руке.

— Колбасу несу, для отвода глаз. Очень, знаете, странно: у солдат — к с'естному форменное, как бы сказать... Лучше всякого паспорта, ей-богу. Если при обыске провиант — сразу доверие... Мы патроны подвозили, в Замоскворечье: в мешок с мукой насыпали и везем. Восемнадцать раз, не поверите, извозчика останавливали — потрогают: мука — езжай дальше. Даже сами советовали, как об'езжать, чтобы меньше патрулей было... Мы, однако,

все-таки с вами врозь пойдем, с Гранатного... Здесь, видите ли, тихо. А в том районе — по Пресненской границе,— как бы кого не встретить. На одиночных-то они меньше ярятся. Придержитесь-ка, я вперед пройду.

Снег хрустит под подошвой. Весело посвистывая, идет в двадцати шагах от меня, качая колбасным свертком на оттопыренном пальце, Пётро. Затаившись за палисадниками, высматривают в проулок щелками занавешенных окон притихшие, насупленные дома. Пусто.

Свернув с Гранатного влево, Петро перестал свистеть. Дошел по морозному стоячему воздуху — взвизг колеса, похрапывание лошади, тихий людской гомон. Далеко-далеко, за домами, стукнул одиночный выстрел. Я прибавил шаг за быстро уходившим вперед Пётро.

На Кудринской площади, по засыпанному снегом кругу, в темноте медленно мотались два орудия, в упряжке. Лошади, прихрапывая, тяжело оседали на сугробах. У поваленной желтой будки кучка офицеров и солдат с фонарями осматривалась вверх по крышам.

Петро пошел левой стороной, я — правой.

Черные тени заступили дорогу

— Стой, мать твою... Кто идет?

И тотчас на другой стороне, через площадь, отозвались вскриком такие же черные голоса.

— Стой! Кто идет?

— Академии генерального штаба.

Тени качнулись остриями штыков:

— Виноват, вашбродь. Фонарь, Стеценко!

В тусклом свете желтой, испуганно мигающей свечки над моим отпускным свидетельством зашевелились, разбирая слова, отороченные рыжей щетиной, солдатские губы.

— Виноват, ваше высокородие. Как вы есть в вольном, не признать отличия. Притом, вроде бы фронт.

— Стреляют?

— Стишало к вечеру. Однако из-за мостов набегают которые по времени: пальнет и опять назад.

Близко и сухо ударил выстрел. Мы обернулись. Через площадь, в потеми, кучкою возились люди

— Поддай-ка огня. Гей!

— Напоролся, бродята, — тряхнул головой разговаривавший со мной ефрейтор. — А и нахальства этого в них, не сказать, ваше высокородие! Скольких за эти дни таким-то манером... Прет прямо на заставу, — будто мирной. А пошаришь его хорошенько, на ём оружие, или, того еще пуще — бомба. На Бронной, в наряде мы были, бомбой восемь человек вместях срезало. Как, значит, стояли... раз... кого как! Оттого... лютует солдат. Это разве порядок... бомбой!..

Вместе с ефрейтором, несшим фонарь, я перешел площадь к копошившейся кучке. Петро лежал на спине, раздетый. У виска — черным пятном — слипшийся ком волос. Снежным казалось тело из-под задранной к самой шее рубашки.

— Вот сволочь! Добро бы жид... А то, смотри-ка, пра-бославный.

— Что нашли?—крикнул от киоска офицерский голос.

— Патроны. Склад цельный!

Один из солдат, сопя и нажимая коленом на ногу Петро, тащил сапог.

— Голенище-то потряси!

— Тряси не тряси — чисто.

Солдат выпрямился, покрутил голенищем, сплюнул, бросил сапог в снег.

— Тоже ходют! Рвань платаная!

Ефрейтор, прищурясь, присматривался.

— Никак жив еще. Чтой-то у него, будто, брюхо пузырится.

— Жив! — обидчиво отозвался другой. — В самый упор стрелял: небось, будет жив... Берись, братцы, отволоки к стороне. Все же публике проход.

— Э-эх! Что народу перепорчено! И какого, прости господи, рожна!

— Будто не знаете?

Солдаты разом повернули ко мне головы.

— Испытуете, ваше высокородие, — осклабился ефрейтор. — Хоша и молодые, — по военному случаю до срока в строй поставлены, — но в присяге тверды.

Петро белел на сугробе. Я вышел на бульвар, боковой, прямой, снегом плотно закрытой дорожкой меж белых упругих, застылых валов.

В темноте, впереди на аллее, тускло взблеснул штык. Я свернул малой тропкой — к улице. Через нее — в кривой, под гору, проулок. Снег. Темь.

Еще глуше, здесь, еще настороженнее дома. Но курятся над занесенными крышами низкие дымные трубы.

Встречный.

— Как к Девяти мученикам пройти?

Он подозрительно оглянул меня, из-под очков. Седой, борода клочкастая.

— А вам зачем, собственно?

— К священнику мне, отцу Василию.

— Василию? — протянул он. — Что-то я такого не знаю. В приходе у нас отец Николай Виноградов. А отца Василия — я такого не знаю.

— Вы, почтенный, ослышались. Я так и сказал: к отцу Виноградову.

— Я-то не ослышался, — снова осмотрел он меня, и снизил голос. — Вы что, по союзному, слышь, делу — или как?

— По сродству.

— По сродству? А имени не знаешь? — он качнул головой... — Ладно, дело наше сторона. А пройти... Как выйдешь к церкви, по правую руку будет церковный дом. В под'езд войти, левая дверь — будет дьякон, а правая — к отцу Николаю.

— А к церкви-то самой как попасть?

— Вон до угла, до того, налево до улочки, по ней вниз, до первого перекрестка и опять влево, — так прямо к церкви и выйдешь...

Он придержал меня за рукав.

— Вы, однако, с опаской. Здесь-то — ничего. А как к церкви, то там, храни бог, Горбатый мост, — а с моста Прохоровские дружинники так и кроют, так и кроют... Зюкнут, за милую душу.

— Н-на! За что меня зюкать.

— Ладно! — хитро подмигнул он, переминаясь валенками. — Они тоже, брат, ребята со смыслом. Зюкнут, я тебе говорю. Здесь ихнего брата чутьем разбирают, а там — вашего.

— Бог не без милости, казак не без счастья.

— Так-с... В самый раз поспеете... Служба-то божественная, чаю, только-только отошла.

— Отошла!

Я бегом побежал по улочке, по неразгребанному снегу. Старик гнусаво кричал что-то вдогонку.

. . . .

Храм сползал по отлогому склону распластанным каменным остроглавым шатром.

За церковной оградой, — от раскрытой, обмерзшей калитки к паперти, — тянулся широкий, — многими, многими протоптанный след.

Скрипнула на ржавых, на кованых петлях тяжелая дверь. Замигали встречу с золоченых досок высокого иконостаса, отблеском, язычки свечей в паникадилах...

Не разошлись еще... молятся. И сколько их! Почти полна церковь.

В притворе, у иконы богоматери, на коленях стояла бледная красивая девушка, в черном, плотно заколотом к волосам платке. Она не отрывала глаз от образа и, как будто, горячо, пристально молилась.

Она — или нет?

Я стал, несколько отступя. Выждал. Она обернулась — слегка нахмурила бровь и положила земной поклон, истово и крепко.

Я придвинулся ближе и тихо проговорил:

— Муся.

Она не подняла прижатого к каменному полу лба.

Но, мне показалось — чуть дрогнули плечи под лисьим воротником шубы.

На клиросе пели торопливо и радостно:

Взбранной воеводе победительная...

Я повторил громче:

— Муся.

С амвона, пришепетывая, задребезжал старческий голос.

— Братие! Преосвященного владыки, Антония Волынского пастырское к вам слово — о последних днех.

Она встала и вошла в толпу, грудившуюся к амвону. Я протиснулся следом, вплотную, чтобы не разминуться. Перед самыми глазами — русые завитки волос из-под черного платка.

Над рядами склоненных голов кивает с солеи, от царских врат — седая, окладистая, расчесанная борода.

— Братие!

Еще раз прокашляли в толпе. И — тихо.

— Великую смуту воздвиг, изволением божиим, на православную Русь враг рода человеческого, диавол.

На стогнах градских, во образе скверны, во образе жидовстем, еще и устами соблазненных, по скудости веры — ересь социализму проповедуется. Ныне же, зрите, даже и кровь пролита. Во знамение... Во обличение вашего маловерия, людие! Почто терпите, почто соблазну попустительствуете... Егда же исполнится время духовной вашей лености...

Голос креп. Он не пришепетывал больше.

— Поколе будете терпеть сих зачумленных? Ибо, братие, чума на них, милосердием божиим отверженных. Нет в них — ни страха божия, ни совести: такой человек хуже лютого зверя. Смрад от них серный, геенский смрад... Ужели же допустим, братие, торжество диаволово? Ужели сопричастимся греху? Что же делать, како исправить пути наши перед господом? Да не погубим души наши, да не обречемся огню адову...

Он замолчал. В тишине — все громче и громче, напряженнее и злее нарастало дыхание десятков грудей.

Священник поднял желтую в свечных отблесках руку и благословил толпу.

— Молитесь, братие, да заступит нас бог, да закроет, святым покровом своим, пречистая мати. Каяться во гресех наших, за них же попущение божие на нас.

Скорбно опустилась голова, ерзая седой бородой по парче эпитрахили. Но глаза загорелись темным, знакомым, виденным огоньком.

— Сие, по христианскому чину нашему. Но надлежит и иное упомнить: что каждый из нас есть сын родной земли и государю своему верноподданный. В писании же сказано: вера без дел мертва есть. Да сбудется же слово, реченное пророком, глаголющим: подвигом веру мою подкреплю. Изверги те — посреди нас живут. Изымем же их, братие, тщанием общим. Руку разящего да укрепит бог...

Толпа дрогнула и сдвинулась теснее. Липким жутким туманом стлался над головами кадильный, застоявшийся дым.

— Укажи, отец...

— Господь умудрит, — возгласил старец, взнося крестным знамением руку. — Сказано убо в писании...

— На погром зовешь, божий человек! Крест на брюхе, а слова какие?

— Откель взялся? — взвизгнул женский истошный голос. — Родимые! Бери его, беса! От Прохоровских подослан!

В рядах забурлило. Хлестнула, напором, людская волна. Воронкой — туда, к правому клиросу. В просвете жерла — чьи-то головы, чья-то поднятая ударом рука. Раз... раз!

— Двое никак... Глянь-ка... двое и есть.

— Ты куда! На-ва-лись!

Гулко отдавался, под сворами, перетоп ног, глухая резь ударов. Но тотчас перекрыл крик и гомон звонкий девичий голос, как сталь прорезавший храмовую жуть:

— Ни с места! Бомба!

Дикий взвизг. И сразу стало тихо. На амвоне, у заметавшейся тяжелой золотом окованной хоругви, лицом к толпе, высоко взметнув над головой что-то черное, большое, мохнатое, стояла девушка — в короткой шубке, круглой меховой шапке. На всю церковь видна — смелым изломом — крутая дуга бровей над ясными, до дна ясными девичьими глазами.

Так вот она какая, Муся!

— Дайте им дорогу. Брошу: никто не выйдет.

Толпа медленно, не сводя глаз с амвона, расступилась, осторожно передвигая ноги: от Муси до дверей раскрылась широкая просека. Двое... еще один... и еще, поднимая

воротники и сутулясь, быстро пошли к выходу. Я бросился туда же.

Муся выждала, когда за последним — за четвертым — проскрипели ржавые петли... Она попрежнему высоко над головой держала мохнатую муфту. Затем опустила руку и сошла по малиновому коврику.

Она шла неторопливо, смотря прямо перед собой, словно не было по обе ее стороны в двух шагах застывшей, на две стены рассеченной людской толпы. На опустевшем, таким ненужным ставшем амвоне тряс отвисшей челюстью, разметав руки по каменному помосту, седой, сгорбленный, жалкенький попик.

Я распахнул перед нею дверной створ. Она остановилась. И тотчас старушка-богомолка у порога, плача, метнулась ей в ноги, цепляя губами белый валеный сапог.

— Мати пресвятая, троеручица.

Толпа вздрогнула, как один, и отступила еще на шаг. В передних рядах закрестились. В упор перед собой я видел — смелый изгиб бровей — и ясные, такие близкие, такие родные, глаза.

Я положил Мусе руки на плечи и поцеловал крепко. в губы.

— Антихрист! — взвизгнула старуха.

Своды загудели. Кажется. Не знаю: мы вышли.

ГЛАВА VI

СОБАКИ

На паперти мороз, звезды, огни сквозь деревья.

— Ну, здравствуйте, — говорит Муся. Голос спокойный и ровный. — Михаил, из Питера? Что так поздно?

Искрится под ногою, под быстрым шагом белый, нетронутый снег. Мы выходим за ограду, вниз по откосу.

— Вы меня как нашли?

— Так, как вы видели.

— Я же не о том. С какой явки?

— От Виталия.

Кивнула на ходу:

— Как же это он вас так одного отпустил?

— Я не один был. С Петро.

— Вот-вот. Где ж он остался?

— На Кудринской: убили.

Муся вскинула глаза резко:

— Петро убили? Вы видели сами?

— Видел сам. На нем нашли патроны и бумаги.

В темноте зачернел перегибом мост.

— Кто идет?

— Свои. К Медведю в гости.

— Муся, никак?

— Она и есть. Эк вы проволоки напутали. Не перебраться.

— А ты сюда подайся. Тут у нас для своих переходик. Руку давай.

С баррикады тянулись крепкие, широкие ладони. Крякнула под ногой прогнившая доска.

— А ты легче, товарищ! Не разори фортецию.

За баррикадой — десятка два рабочих, с винтовками.

— Медведь где?

— У бань был. Там наши, слышь, фугас запластывали. А нет — так на Прохоровской, в столовке, в штабе...

Рабочий нахмурился и махнул головой.

— Со-ве-ща-ются, старшие-то! Это что же с тобой — комитетский, что ли?

— Нет, из Питера товарищ. На усиление штаба.

— Так, — крякнул рабочий. — Нам бы вот насчет стрелялок усилиться, — это бы дело, совсем снаряду не стало. Патронов пять на ружье — больше не наскребешь.

Муся досадливо сдвинула брови.

— Несли, товарищи, к вам патроны — да не довелось донести... Большой сегодня расход был?

— Сегодня? Нет. Мы и то говорим: что-то тихо в районе стало. То, было, нет-нет казачки под'едут — мы и постреляемся. Соскучиться не давали. А ныне — хоть бы те кто: один поп по косогору бродит.

Дружинник в железнодорожной фуражке сплюнул.

— Поп, это не к добру.

— Почему не к добру? Суеверие. Поп в ограде — на манер козла на конюшне: домашняя животная. В городе-то как, товарищ Муся? Неужли правда, так-таки и подались.

— Нет, держатся, — быстро сказала Муся. — Нельзя не держаться. Что мы — одни на Россию? Поди, и по другим городам началось... Идемте, товарищ...

Синими сугробами справа, слева — пустырь. Снегом ометенные деревья.

— Вы Пресню знаете?

— Нет, не бывал.

— Плохо. Как же вы будете ориентироваться в штабе. Разве вот что? Обойдем скореничко район. В штаб поспеем. По дороге я расскажу, что нужно. У вас, по крайней мере, свое мнение будет об обороне. Штаб в Прохоровке, все время... За ночь едва ли что будет.

— На Кудринской устанавливали артиллерию, когда я проходил.

Она повела плечом.

— В городе уже не осталось дружин. Разошлись или сюда оттянулись. Как вы думаете вообще — сможем ли мы продержаться?

— До чего продержаться, товарищ Муся?

— Пока выступит Питер, Тверь... остальные...

— Питер не выступит, Муся. Со мной выехали на Волхов подрывники попытаться мост взорвать под гвардейскими эшелонами. Это все, что смог дать Питер. А Тверь... Из Твери утром пришли войска, — значит, там — безнадежно тихо.

Она быстро оглядела меня, чуть дрогнула губами, хотела что-то сказать, — не сказала.

— Вот этой улицей пройдем. Тут вправо, за перекрестком — заслон. От Грачевской фабрики. Чудесные ребята! Драгуны здесь четыре раза пробовали прорываться — всякий раз отбивали, да как! Я как раз случайно была, видела.

— Света на улицах нет?

— Нет, зачем: «осадное положение» — по ночам никто не ходит. Хотя можно, совсем безопасно: от каждого дома дежурят выборные от жильцов. Здесь ведь, на Пресне, порядок установлен, как в настоящем рабочем государстве. И суд новый и подоходный налог. И так чудесно выходит: тихо и спокойно. Окраина ведь, а не поверите, — ни одного за эти дни грабежа.

— Мы пока ни одного дежурного не встретили.

— Разве? Я не смотрела. Да, может быть, они во дворах или в доме... Морозно.

Мы обогнули угол: черным перекрестом балок, досок, оглоблями вверх вздвинутых саней застыла в ночи баррикада. На шорох шагов нас не окликнул никто.

— Заснули, Грачевцы! — звонко крикнула Муся. Никто не отозвался. Мы подошли ближе. Нет никого.

Муся оглядела морозные стекла соседних домов. Ни света. Ни знака. Плотно приперты ворота. По свежему напорошившемуся снежку нет следов.

Она тряхнула головой и поднесла к лицу мохнатую, мягкую, чуть засеребренную инеем муфту.

— Выйдем на Большую Пресненскую.

. . . .

Словно вымерла Пресня. Улица за улицей, в темный безглазый лабиринт свившийся клубок проулков, перекрестков, вздыбивших белые тротуары бугров.

Широким, ровным снежным поясом вдвинулась в кругозор река. На том берегу — огни. Мы прислушались. Тихо.

Я посмотрел на Мусю. Строго смотрят серые потемнелые глаза из-под мягких бровей; на высоком лбу — прячется под надвинутую шапочку едкая, тонкая морщинка.

Хоть бы один дозор!

Прошли берегом. Стали подниматься в гору.

До чего пусто...

— Я ничего не понимаю, — тихо говорит Муся. — Если бы был приказ сняться, на Горбатом бы знали. Вернемтесь. Все равно, так... без толку. На Прохоровской узнаем.

— Дойдем до верху: тут недалеко. Посмотрим.

От церкви, на белой горе — далеко кругом видно. На всей Пресне — темно... Лишь кое-где — редко и робко, как светляки на могилах, мерцают прикрытые далекие огни. Огромный корпус Прохоровской мануфактуры чернеет под горой, точно в провале — цепью освещенных окон очерчен фасад: по одному этажу: в остальных — темень. А за рекой — и к центру, за мостами, в городском районе — сотнями настороженных глаз смотрят на нас огневые цепи.

Черной чертой обведена Пресня. Тишь над городом. Ночь.

За слободою, в заречьи, пронзительно и пугливо взлаяла собака. Отозвалась вторая, третья... Внадрыв. И жуткий собачий лай пошел, побежал полосою по всему берегу, от заставы.

— Муся.

— Молчите!..

. . . .

Лай не смолкал, назойливый и надрывный. И вдруг, словно перекинувшись, он взвыл, захрипел, затрясся, на противоположь, от заставы — вправо, — и такой же полосою пополз, нестройным диким набатом, от квартала в квартал, по черной черте — мимо нас, к городу, к мостам.

— Окружают! — сказал в упор за нами надтреснутый, сиплый голос.

Мы обернулись. На ступенях паперти, зябко поджимая тело в потертое ватное пальто, стоял полнощекий человек в картузе, с нелепо замотанной какими-то тряпками шеей.

— Окружают, — повторил он. — По чужому и по многому, — лай-то, изволите слышать? Кольцом идет. В круг.

В самом деле, лай опоясал нас. Он то стихал, то разгорался, выбрасываясь к самой реке, упорный, неотвязный.

Человек в картузе протопал валенками по ступеням и подошел, щуря маленькие, запавшие меж толстых щек глаза. Бородка клином, рыжая с проседью. Он присмотрелся к Мусе и вздохнул.

— Извините, я бы спросить осмелился...

Брови Муси сдвинулись:

— Что вам?

— Вы по обличью, извините, словно бы из товарищей... Не из Прохоровских ли, осмелюсь спросить.

— А вам на что?

— Да вот-с... — Он повел вздрагивающей рукой в широкой варежке. — Окружают...

— Почем вы знаете?

— А собачки-с... Изволите слышать? Неукоснительно. Собачка, она зря ночью не гавкнет, вот уж нет... Всей слободой, и столь упорно. Движение идет, хотя и со скрытностью, будьте уверены. И по полукружью надлежит судить: окруженье в цепь.

В глазах блеснул и спрятался огонек. Он помолчал и прибавил — устало и растяжисто.

— Та-а-ак-с! Выходит: конец Пресне.

— А вам что? — тихо повела плечом Муся. Она, не отрываясь, смотрела за реку, на мерцающие огоньки слободы. Их становилось все больше, больше... Или чудится это...

— Мне-с? — Он потупился и договорил, чуть слышно. — Жаль мне, вот что.

— Кого жалко?

— Вас жалко, барышня... да и рабочих всех. За-зря пропадете. Деверь повечеру пришел из города... рассказывал: прислана от царя большая воинская сила, с гвардии генералами, и сорок с ними пушек.

Муся быстро обернулась к нему лицом.

— Вздор! Никакой гвардии не пришло и притти не могло. Под нею мост взорвали наши, на Волхове.

— Пришли, барышня, пришли, красавица. И из-под Тулы, и из-под Серпухова, и из Питера... Деверь сам видел, своими глазами... Сам с солдатами говорил. Гвардейские, говорит, солдаты, ядреные, семеновские. По улицам, говорит, идут барабанным маршем, похваляются: сотрем, говорят, Пресню с лица земли, на семя не оставим, крамольную.

— Неправда это.

— Правда, красавица. Оттого и жаль у меня.

Торопливо и дробно, хлопушкою, треснул в морозной ночи сорванный, бесстройный залп немногих и гулких ружей. Над куполом дальней церкви огненным шну-

ром бросилась в небо ракета. И с шипом, толчками — близко от нас, из-под самого ската горы — рванулась вверх, ей навстречу, другая.

Муся соскочила с камня, на котором стояла.

— Идем, скорей.

Незнакомец заступил дорогу, широко и беспомощно растопырив руки.

— Не обессудьте, осмелюсь, на глупом слове. Не ходи. Ой, не ходи... Христа праведного ради... Умучают!

— Пустите...

— Как перед Христом... Ведь не люди, звери они... опричина... Деверь говорил: водкой их поят.. для лютости. Кабы только убили... А то ведь надругаются как! Распластают белое тело... Грудки-то девичьи, чистые, лапищей...

— Замолчи, ты!

— Не замай, барин! Я по-хорошему, по-душевному. Не ходи, говорю... Ко мне идем: как бог свят, укрою. Никто не найдет. Укрою и выведу...

Он толокся перед нами, срываясь с голоса, то снимая двумя руками, то вновь одевая картуз.

Муся остановилась и протянула руку. Он сбросил варежки в снег и схватился за нее цепкими крючковатыми пальцами.

— Спасибо.

— Укрою, как бог свят, — бормотал он, стараясь оттянуть ее назад, вверх, к паперти. Но она вырвала усилием руку.

— Спасибо. Нас ждут. Идем, товарищ Михаил.

Мимо него она побежала вниз по кривой ухабистой дорожке.

— Да что же это! — с отчаянием выкрикнул он и дернулся вдогонку. — Силом возьму, не пущу!

Я поймал его за плечо.

— Брось, сказано.

— Пу-сти! — прохрипел он, отступая в сугроб. — Ты что же это... Пусти... Варежки дай поднять.

Глаза, злые, косили. Следом за ним — я оглянулся на паперть. И только теперь заметил: за колоннами — черные, затаившиеся, прижатые к стене тени.

Я остановился на полускате. Уже далеко внизу стояла, дожидаясь, Муся.

— Иди, чего стала... стерва! — выкрикнул он, обивая о колено снег с варежек. — Иди... с полюбовником. Сорвалось, твое счастье. Попадись ты нам — без семеновцев дорогу-то нашли бы тебе под... Не увернешься — из тысячи найду...

— Михаил!

Я не успел добежать. Черный метнулся от меня через дорогу, по снежным буграм, с диким криком:

— Ратуйте!

Я вынул маузер. Муся опять стояла рядом. Она дышала быстро и звонко. Тени закачались и растаяли в лунной полутьме.

— Не надо было этого, Михаил. Зачем...

. . . .

С холма вниз, надалеко — пусто. За рекой попрежнему полукружьем стлался остервенелый, стоголосый лай. По белому поясу, к слободе от нашего берега задвигались черные торопливые точки. Две... четыре... десять... Много.

Муся отвела глаза от реки — полукружьем, по черной черте — и чуть улыбнулась...

— Кажется, и в самом деле — конец.

ГЛАВА VII

НА ЧЕРНОЙ ЧЕРТЕ

Медведь — плечистый, большеглазый — встретил нас на дворе Прохоровки. Совещание кончилось. Расходились.

— На чем порешили, Медведь?

Он пожался.

— Зайдем на минутку, тут на дворе не вполне способно. Только — живым манером: мне к дружине надо. Заждались ребята.

В столовой было пусто. Три женщины, подоткнув юбки, прибирали пол.

— К приему готовятся, — скривил губы Медведь. — Что ж, по-короткому: решено прекратить оборону. Ни к чему. Хотели коммуны — вышла Коммуна: с маленькой буквы — на прописную. Почетно. Так тому и быть.

— А вот, — тихо сказала Муся, — его прислали...

— Слышал уже! Как водится: к шапочному разбору. Боевик, надо полагать — из высоких специалистов? верно? А где, позвольте вас спросить, вы были, когда вся Москва на баррикадах стояла, когда дружинников — хоть с каждого угла бери... Когда у нас — на одной Трехгорной по семьсот человек на смену к баррикадам просилось? Тогда вас не было, специалистов! Мы тогда, как слепые щенки, носом в стенку тыкались... У нас подготовка какая, знаешь... По прейскуранту оружейному курс оружия проходили, уличному бою — как бог вразумит. Вот и вразумил... Знали бы, как ударить — мокро бы было! Нет, размотались по мелочам, дали очухаться. Теперь присылают... на похороны.

— Цекисты из Москвы только что вернулись, говорили, что здесь ничего не будет. Да и из Питера нельзя было раньше отлучаться: ждали там выступления.

— Ждали... — презрительно протянул Медведь. — Дождались? Выдали Москву. Питер! От нас — вот он один, от них — полк с артиллерией: выходите, товарищи, на кулачки! Жив останусь — мы в партии грому наделаем: потянем к иисусу. Сладкопевцы: «восстание, восстание». Ну, вот оно — восстание. Вторую неделю рабочие под ружьем — как шли, как дрались!.. былину складывать, слышишь! — а они где, комитетские? Как до дела было — хорохорились. Клички насадили себе, от звука одного — оторопь: «Непобедимый», «Солнце»: не слыхали? Были у нас такие... Закатились, Непобедимые, до первого выстрела... только их и видели... Дай срок, сочтемся... И у большевиков о том же: Евгений говорит: к партийному суду потяну. Разве так на восстание выходить можно? Нет. Вперед умнее будем. Столько крови порасплескали по России — и все задаром.

— Не задаром, Медведь.

— Задаром, говорю. Это, что «на крови взрастут новые поколения»? Слыхали! На французов оглянись. С тысяча восемьсот семьдесят первого года растут — сорок лет без малого — поколения, — а одно другого сволочнее. То же и у нас будет, небось... ежели замиримся...

Он закрыл глаза и помолчал. Когда он опять открыл их, они были ласковы и спокойны.

— Ну, баста. Душу отвел, теперь дело. Семеновцы прибыли, это — факт. У Горбатого моста — артиллерия. На Кудринской — батарея, войска идут в обход. К утру мы будем в капкане. Драться, конечно, можно бы — да не с чем. Патроны на исходе, народ повымотался. На людях — одно дело; а сейчас — ясно: Пресня-то одна. Которые семейные — бабы за полы хватают: загубишь! Обыватель скалиться стал: смелеет, чует помогу. Ну, да и на фабриках, что греха таить, перелом: дружинники — так и эдак, еще держатся, а остальные... Слышно, к Мину

парламентеров каких-то отправили с белым флагом... Эх, набил бы он им морду, Мин! Да нет: это ему на руку.

Он едко сощурился и зажал в кулак подбородок.

— Кончать надо... Так и порешили. Но чтобы организованно: раньше рабочих на работу поставить, потом баррикады снять, оружие спрятать, кому укрываться нужно — уйти теперь же, пока ход есть через Москву-реку, да и за заставу можно.

Муся кивнула.

— Через реку уже идут. Мы видели.

Медведь стиснул зубы.

— Идут? Эти, стало быть, и приказа не дождались. Ведь решили до понедельника.

— Спору не было?

— Нет. Я ж тебе говорю: дело яснее ясного. Шабаш.

— А ты теперь куда, Медведь?

Медведь осклабился.

— Мне куда деться, я — меченый..

Он приподнял шапку и провел пальцем по проплешине на темени, — яркой — среди густых курчавых волос.

— Тут есть дружинка одна: не здешняя, — из города перешла, сборная. Вовсе без понятия, надо сказать, народ: порешили оружия не складывать, отходить с боем. Зря это — девять человек, — это что за оборона, только разлютуют зря Миновцев-то. Так я — к ним.

— Ну, и мы с тобой.

— Зачем?

Муся рассмеялась.

— А с чем же он назад поедет?

. . . .

Дружину мы нашли в здании гимназии. Дом стоял нелепо: из окон прицельный огонь можно было вести только по улице, выходившей к зданию перпендикулярно фасаду. Подступы к дому ничем не прикрыты: под-

ходи с любой стороны. Да и по размерам строения держать его с десятью-двенадцатью человеками никак невозможно.

— Зачем такое место выбрали?

— А чем плохо? Помещение нежилое: никого не подведешь. А что подступы, вы говорите... Баррикада по той улице есть, еще с двух сторон поставим — вот оно и будет крепко. Тут одними партами полквартала загородишь.

— И ребятам облегчение. Не на чем будет... закону божию учиться.

— Нет, не дело.

Их было девять: семь рабочих, железнодорожник, студент-кавказец, в белой лохматой папахе. Рабочие посмеивались над кавказцем, любовно.

— До чего лют до драки — у-у! Одно слово: Аммалат. А стрелять... семь дней с нами ходит — не научился. Как ни пальнет, нет удачи. Только патрону перевод.

— Э, одним больше убьем, одним меньше — какой счет, скажи пожалуйста.

Патронов — штук двадцать на затвор: одни браунинги. Винтовок всего две, да у меня — маузер. С этим много не наделаешь.

Медведь хмурится.

— Что ж, товарищ Михаил. По-вашему, отсель выбираться?

— Обязательно. Надо другое место подобрать: покреп че и чтобы обстрел был. Здесь как в мышеловке: голыми руками возьмут. Все равно что дуло в рот и — щелкай.

— Ну, это дело не пройдет. Слушай, ребята! Навалятся они, надо думать, с мостов, с этой стороны. Посколь решение есть — не оборонять, пусть входят без боя. Нам отбиваться надо на ходу: чтобы видно было, что не из здешних. А то подведем. Предложение мое такое: с боем

отходить к Камер-коллежскому валу. Оттуда в прорыв: либо на ломки — там близко: нырнем в случае чего, либо в лес прямо.

Железнодорожник заворчал.

— На ходу какой бой! В дому держаться можно. А по улице — мигнуть не успеешь, расчешут. И от города отбиваться расчета нет. В поле тебя голыми руками возьмут.

— Верно, — поддержал кавказец. — Уйдем из города, у меня билет пропадет.

— Что еще за билет?

— Какой бывает, железнодорожный! До Тифлиса брал. Домой на праздники еду. Поезд в Москве стал, что же мне в вагоне сидеть? Я с ними вот — и занялся. Завтра кончим: можно дальше ехать.

. . . .

Поспорили. И на самом деле: с браунингами на улице — неладно. Но, в конце концов — так ли, иначе ли — в сущности, все равно. Поспорили и порешили: переночевать здесь, с рассветом продвинуться к черте и с нее отходить за город с боем. На ночь выставили часовых. Растопили печку, легли. Но не спали долго. Студент сидел под окном, поджав ноги, и вполголоса рассказывал соседям армянские загадки. Одну за одной.

— Много лошадей, посредине один человек, — что такое?

И, не дожидаясь ответа, сам вздрагивает от сдержанного смеха:

— Карапет гулять пошел.

Медведь ворочался.

— Да ну вас! Вы бы о чем толковом. Губами зря шлепаете.

Но на следующем анекдоте сам засмеялся, сбросил полушубок и сел.

— Чорт его знает: несуразный у нас народ какой-то, товарищ Михаил. Можно сказать, события, а он... Тут, знаете, в эти дни по городу корреспондентик иностранный путался, шустрый такой, все около баррикад. Француз, но по-русски чешет здорово, хотя и с пришепеткой. Мы было его заловили даже — думали, не из шпиков ли. Оказался, однако, форменный корреспондент: оставили. Так вот с ним... Умора, ей-богу. На Садовой: били мы с баррикады по казакам, а он тут же вертится. Подошла пехота, мы баррикаду бросили, отходим. А с нами матросик был, тоже вот как Аммалат этот, — приблудший. И тоже — лютый такой матрос. Отошли мы мало-мало, а он обернулся, и бегом опять назад на баррикаду. Взлез, руку поднял. Корреспондентик — тут же за тумбочкой. Глазки горят. «Этот момент, — говорит, — исторический; я, — говорит, — оглашу через печать на весь мир слова этого безвестного героя». А матрос руку поднял — да как обложит гренадер тройной матерью... аж дух заняло. Французик так и сел. Уж и потешались мы над ним: ну, говорим, огласи на весь мир — несказуемое! У нас, братец ты мой, попросту. Без фасона. Да уймись ты там, Аммалат: Мусю разбудите, грохотальщики.

Угомонились, однако, только после второй смены: кавказец ушел на пост. Мы долго говорили с Медведем.

. . . .

Предрассветной прозрачной просинью просветлели оконные стекла. Уже четко видны колеса телеги, осями вверх взброшенной на баррикаду среди досок, мебели, столбов, хламу. Сторожевой дружинник зябко переступал по примятому снегу. Будить?

Но будить не пришлось: от города коротким взлаем ударил пушечный выстрел. Эхом отдался гул близкого шрапнельного разрыва. Второй удар .. Третий.

Дружинники торопливо поднимались. Сторожевой, припав за баррикадой, водил дулом винтовки, словно нащупывая цель. Цель? Улица пуста.

Муся быстрыми пальцами расплетала — на ночь в две косы сплетенные волосы.

Железнодорожник крякнул, помялся: — А может, все же здесь отсиживаться будем, товарищи?

— Э, лень ему по морозу.

Вышли. После комнатного, жаркого, устоявшегося людского тепла — ледяным кажется вздрагивающий от выстрелов воздух. Пушки бьют по всей Пресненской окраине, по всей черной черте — упорно и быстро, почти без перерывов. За два-три квартала от нас тяжелым столбом подымается черный, клубистый пожарный дым.

— Прибавь шагу! Надо было выйти до свету.

Вперед, вниз по улице, к линии взрывов, бегом выдвигается дозор. Двое. Мы, остальные, вдесятером, вместе.

В редкие промежутки между выстрелами — дробь бесстройной торопливой ружейной стрельбы

— От обсерватории, на слух.

— Там наших нет.

— А ты говорил: не будет обороны.

— И нет ее: Миновцы палят.

— Что делают! Креста на них нет. Смотрикось, и там занялось. Спалят Пресню.

Дозорные с перекрестка махали.

— В цепь, товарищи.

Показались люди.

— Здешние. Пресненцы. Видишь, бабы.

Оглядываясь, они пробежали, таща узлы. Осмотрели недобрыми темными глазами.

— Навели пагубу, дьяволы... Ужо, вешать будут — сама веревку принесу.

— Плыви, бабка. Пятки не растеряй.

Дозорные стояли на месте, дожидаясь.

На улице становилось люднее. Всхлопывая дверями, выскакивали из под'ездов, из заборных калиток, укутанные люди, выволакивая пожитки. Старик в рысьей шапке, ушастой, тащил на ремне упиравшуюся седую козу. Тихо и жалостно причитала, мешкая у ворот, заплаканная баба. Шрапнель рвалась все ближе — ровными, казенными очередями.

— Эх, неладно выходит. Какой тут бой!

Проплелся извозчик с кладью, раскатывая санки на ухабах; ухмыльнулся на нас, покачал головой. Все больше людей по панелям.

Солнце глянуло из-за крыш, из-за крутых, черными перистыми клубами встававших дымов.

Дружинники сбиваются в кучу.

— Итти ли? Продвинемся — назад не податься будет. Гляди... разворошились: прет чумиза изо всех щелей. Со спины возьмут — себе в выкуп.

Медведь повел глазами.

— Не узнать Пресни. Пока держалась рабочая сила, притихло, небось... канареечное семя... А сейчас, вишь: каждая шавка волком смотрит... Не итти нам с ними, видно, вовек!

Стрельба смолкла внезапно. Бежавшие стали приостанавливаться. В конце улицы замаячили конные фигуры. Кавказец выхватил винтовку у соседа и выстрелил, не целясь. Ближние к нам шарахнулись, ломясь в припертые ворота.

— Наддайте, наддайте! — весело крикнул Медведь.— Баррикадку на прощанье. Пособи им, братцы, ворота снять.

Прохожие побежали врассыпную. От дальнего перекрестка блеснуло и ухнуло. Где-то жестко прозвенело разбитое, на тротуар осыпавшееся стекло.

Конные скрылись за перекрестком.

— Как бы в обход не взяли. Надо с фланга прикрыться. Муся, бери тройку и — на угол.

Трое рабочих и Муся скрылись за выступом дома. По пустой улице, прямо на нас, развертываясь на ходу, выбросилась темная, тесная серая шеренга в барашковых шапках, в красных гвардейских погонах.

Гвардия его величества!

Две винтовки и маузер. Браунинги молчат: далеко, не достать выстрелом.

Словно обмело улицу. Тупо топотит за спиной мягкий, спотыкающийся бег... Опять прозвенело, дурашливо и протяжно, разбитое стекло.

Мы, трое, стреляем, запав за крытым, коробкою выставленным на тротуар, под'ездом. Медведь с кавказцем и остальными — на той стороне улицы, вдоль забора, за кирпичною кладкой столбов. От тех — серых, краснопогонных — частым, ровным полетом чертят по снегу пули.

Их — не много: взвода не будет. Офицеров не видно. Продвигаются медленно. Стали, стреляют с места.

Кавказец, пригнувшись, перебежал улицу.

— Я предлагаю врукопашку. Их мало. У наших всех — ножи. Медведь согласен. Ударим?

Он поднимает руку. Дружинники с той стороны торопливо откидывают полы полушубков. Взблеснули лезвия.

— А ну, разом!

Ефрейтор на фланге клюнул головой и ничком ткнулся в снег. Шеренга дрогнула и смешалась. Медведь, вобрав голову в плечи, прыгнул вперед.

— В ножи!

Топ, быстрый, бешеный, твердый — накатился сзади. В полуоборот я увидел — взблеск шашек, морды ска-

чущих коней, смятое копытами тело. Снег. Кровь. И — у самых глаз — тяжелый сапог упором в напруженное обмерзшее стремя.

Застыло, под бескозыркою, злобное и напуганное лицо наскакавшего драгуна.

Конь вздыбился под выстрелом.

. . . .

Цепляя полами шубы за копья чугунной решотки, я перебросился во двор особняка, из-за под'езда которого мы стреляли в Семеновцев.

. . . .

Медведь бежал уже далеко — за спутанной свернувшейся семеновской цепью. Посреди улицы, отмахиваясь кинжалом от крутившихся вокруг, наседавших конных, кавказец, прыжками, отходил к желтому высокому дому. Взвизгнул дико, по-горному. Кони шарахнулись. Но кто-то с панели — в толстом, запоясанном синим, кафтане — пожарный?.. откуда! Подбежал, волоча тяжелый и длинный лом.

Я вскинул ствол. Конский круп перенял пулю. Лом взнесся, ударил кавказца сзади. Папаха осела под железом. Еще раз сверкнул оскал белых зубов. Пожарный ударил второй раз, лежачего, острым концом по лицу. Я соскочил с цоколя. В окно, расплюснув носы о стекла, смотрели на меня чьи-то дикие, с безумными глазами, лица.

Драгуны, спешась, перемешавшись с Семеновцами, раскачивали ворота. Сквозь решотку вздрагивали просунутые — мне в угон — винтовочные дула. Я пробежал двор. Из-под ног, с воем поджимая перебитую пулей лапу, отскочила собака. У кирпичной бурой стены, в глубине — скосившийся мусорный ящик. С него закинул руки на гребень стены, подтянулся... По двору, прочь от дома, к воротам, бежал человек в белом фартуке.

Ружейные дула бились в ограде чугунных прутьев тяжелой высокой решотки...

Тот, второй двор был пуст. Я не поглядел на окна. Глубокой широкой аркой — к глухим припертым воротам. Никого. Не сразу дались болты, тяжелый забухший засов. Прогремела ржавая цепь, не пуская ворота распахнуться. Я просунулся в щель. Улица. Толпа — у горящего оцепленного дома. Оправил шапку и вмешался в ряды. Маузер я бросил еще там, у особняка. Без патронов.

Что сталось с нашим заслоном?

. . . .

В город я выбрался через Горбатый мост, в длинной веренице извозчиков: пеших пропускали труднее. Баррикада, разобранная, горела десятком костров. Переход был рассечен двумя цепями винтовок. За мостом — офицеры, солдаты, полиция. Ровным рядом уложенные по откосу берега, по оттоптанному снегу, тела. Стадом, тесно сбитым, стояли по другую сторону, в оцеплении городовых — арестованные. Пропуск шел медленно, мы долго стояли на в'езде.

Солдаты обыскивали, опрашивали. Старший заставы долго и пристально смотрел на меня, пока с передней пролетки сволакивали очередных седоков. Мой извозчик причмокнул и тронул. Мы поровнялись. Солдат махнул рукой, через мост, запиравшей заставе:

— Пропусти!

Извозчик хлестнул. Мы проехали.

. . . .

На Тверской, на явке Виталия — не было белой свечки в бутылке. У Страстного столкнулся с Медведем.

— Ходу нет?

— Нет.

Смеясь, покачал головой.

— Вот было накрыли... как тетеревей — драгуны-то! Когда наших увидите, передайте: подался Медведь до времени в Серпуховский уезд. Скажите: доктор адрес знает.

Отбивая шаг, подходил патруль. Мы разошлись.

Поезда ходили по расписанию. На вокзале по столам уже снова расставлены были пыльные, сухие букеты, и лакеи сверлили пробочниками пивные бутылки, засунув подмышку грязные, мятые салфетки.

ГЛАВА VIII

ЛИЦОМ В ГРЯЗЬ

Мой доклад о Москве «отцы» приняли с неодобрением явным. Пока я говорил, Виктор, морщась, прятал под руку кудреватую голову, потряхивая седеющим хохлом из-под распяленной корявой ладони. Косой глаз пренебрежительно и сердито смотрел мимо меня — в обшарпанную кисть портьеры. Вторым «отцом» на этот раз был не Иван Николаевич, а какой-то новый, ранее не виденный мною старичок — сухенький, туго обтянутый по черепу глянцевитою кожей. Поглядывая на Виктора — для ориентации явно, — он поджимал, в такт его хохлу, тонкой трещинкой запавшие губы: — «Нет, вы не то говорите!»

— Не было подготовки? Это, простите меня, вздор! Совещались достаточно. Была даже печатная инструкция. И прекрасно, детально разработанная, да! Не только в боевой части, но и в административной. Изложена вполне практически организация социалистического самоуправления, хотя бы, для начала, в пределах одного городского района. Предусмотрены даже такие меры, как порядок взимания подоходного налога. Вы что ж, этой инструкции не изволили видеть?

— Видел. Относительно ее качеств вы разрешите мне остаться при особом мнении.

— Это, положим, не наша инструкция, — неприязненно сказал сухенький. — Это — большевистская. И, поскольку они настаивают на том, что именно они возглавляли восстание, — всю ответственность за недочеты и промахи, о которых говорит товарищ Михаил, можно, в сущности, попросту отнести на них.

— Такую точку зрения я готов понять, — вскинул волосами Виктор. — Это политический подход. Но я не склонен разделить его: при всей неудаче, московское восстание есть величайшего значения исторический факт. И, считаясь только с внешним неуспехом его, уступать претензиям большевиков, отступаться от ответственности, — но тем самым и от права на историческую заслугу, — я лично не вижу оснований. Скорее, напротив. Тем более, что, говоря об ответственности... перед кем, собственно, мы отвечаем? Перед историей? Но эту историю мы же будем сами писать. Перед современниками? О них можно не беспокоиться. Московские баррикады обрастут теперь же, сейчас, на наших глазах легендами и без всяких мер с нашей стороны. Свойство пролитой крови: она родит легенды. Так было, так будет. В массы пройдет легенда. А стало быть...

— Местные партийные работники, непосредственные участники восстания, как я уже сказал, находят, что комитет и в период подготовки и при самом выступлении...

— Армейская традиция!— перебил, махая перед угреватым носом пальцами, Виктор. — Строевые, проиграв дело, стараются свалить вину на штабы. К сожалению, постоянное явление в партийной практике: не вы первый, не вы последний: чуть что — виноват комитет... Вреднейшая тенденция на низах, которую вы, товарищ Михаил, как осведомляют нас ближайшие к вам по ра-

боте комитетские товарищи, — всегда и неизменно поддерживаете. Всегда и во всем — комитет! Точно он виноват в том, что в массах нет достаточной выдержки, и точно он может в один день поднять в должной мере политическое сознание. Пока его нет, нужна строжайшая дисциплина: масса должна итти за вождями беспрекословно, — иначе она обратится в толпу, в мятежный охлос: воспоследует анархия. Вы этого явно недооцениваете, товарищ. Даже напротив: в ваших высказываниях какое-то совершенно странное, и неожиданное для нас, — поскольку ваше происхождение нам известно, — выдвигание низов — и самых темных низов.

— Микроб массы, — подхихикнул старичок. — Социал-политическая болезнь!

— Именно микроб, — пренебрежительно сказал Виктор. — Надо быть реальным политиком и знать действительную цену слов и лозунгов... В частности, «масса» — словом этим нельзя не злоупотреблять, в известной мере, в демократической практике, но — всему свое место. Реальное использование массы не может не быть ограниченным. Попытки двинуть ее во главу угла — политически слепы.

Старичок таратакнул языком, сквозь щелочки губ, и поддакнул шопотом:

— Анархо-синдикализм!

Виктор кивнул и с достоинством положил ладонь на ладонь.

— Этот уклон осуждается. Я вам серьезно рекомендую, товарищ Михаил, подумайте над вашим отношением к партии. Или вы входите в общий строй, со всеми вытекающими из этого идеологическими обязанностями и дисциплинарными последствиями, то есть на равных со всеми остальными основаниях... или... или я уж не знаю что.

Прощаясь, он еще раз многозначительно повторил, пожимая руку:

— Подумайте.

. . . .

«Отцы» не одобрили. Зато в дружинном комитете, когда я рассказывал о Пресненских боях — слушали с несказанным захватом, заражая своим волнением, подсказывая волнением этим для меня самого неожиданные слова. В одном Виктор оказался прав: на глазах у меня — от московской крови вставала легенда. И в легенде этой сама собой отмирала, в ничтожестве своем, вся комитетская пачкотня. Когда я кончил, вспомнился мой доклад цекистам, и странно стало: словно я совсем о разном говорил — там и тут: не о той же Москве.

О комитетском — заговорили, впрочем, но уже потом, позже, когда сошло первое впечатление и, естественно, стал перед нами вопрос — что дальше? Начал Булкин:

— Раз'ясни нам учительски, ежели ты нам учитель. Читал я по книжкам и картинки видел: о Коммуне французской и другом, где пишется про истинное геройство. Там — ежели бой, то до смертного конца; ежели на проигрыш пошло — сейчас на баррикаду, а то и так, посередь улицы, в одинок, с красным знаменем в обнимку — под залп или под штык. О Москве ты, однако, докладаешь иначе: дрались лихо, но животом на штык не кидались, и как до каюка дело дошло, всвоевремь разошлись. И сам, видишь ты, заместо того, чтобы со знаменем, как сказать, смерть принять — через забор, на помойку сиганул. Ты, по нашему понятию, человек правильный: стало быть, в книгах тех читаемо неправильно?

— Неправильно читаемо, Булкин. Революционный завет не такой должен быть. Я вам уже не раз говорил: не умри — убей.

— Верно, — кивнул манчжурец (фронтовик, новый у нас, сменил Балясного в Нарвско-заставской дружине). — Умереть, брат, всякая курица сумеет: поклохчет, поклохчет — да богу душу и отдаст, по принадлежности. В нашем деле, как в армейском — на фронте. В цепи, бывало, голову только подними с закрытия — взводный тебя сейчас всесветно кроет: «Подставляешься, мать твою так, эдак и еще так, — полку в ущерб». А чтобы посередь поля, со знаменем в обнимку, животом на штык — и с пьяных глаз в голову не влезет. А по-революционному как бы почитается за геройство! Не возьмешь в толк.

— От нерозмысла, — убежденно сказал Щербатый. — По партийной линии у них тоже ведь так: кто чаще в тюрьме сидел, тому почету больше. А по-нашему: часто попадался, значит — работа не чиста, не мастер. Ну, раз там, другой влип — с кем случая не бывало. Но ежели многажды... обязательно от неуменья. Стало быть, прими во внимание, укороти или вовсе отсунь от дела. А они его, гляди-ко, на первое место: заслуга — по высидке. Это с чем же сообразно?

— У нас в районе тоже завелся такой, из меньших, сбивает народ на конституцию, все о Думе: и такое от нее добро и этакое. Я его на митинге окрыл. Конституция, говорю, господская вольность, а нам она ни на ляд: и кто, говорю, за конституцию говорит — тот, говорю, пролетарию изменник! Он как затрясся весь, оратор-то: «Я, говорит, восемь лет в ссылке сидел». А я ему: «Что ж ты, говорю, козий ты сын, сидел, а не бегал?..» Ребята как загогочут.

— Постой-ка, — перебил Угорь. — Как бы от дела в разговор не уйти. Ты вот что скажи, Михайла. После Москвы нынче что же, опять будем общего выступления ждать? Или — шабаш делу, что ли? Говори прямо.

— Дела, Угорь, на наш век хватит: шабашить не придется. Но относительно общего выступления — теперь, после Москвы, на ближайший срок его ждать едва ли приходится. Временно, по крайней мере, придется на мелкую, на партизанскую борьбу перейти.

Угорь качнул головой:

— Ежели так, значит делу шабаш. Народ у нас такой: навалились раз, нахрапом не взяли — крышка, стало быть; теперь, как в россыпь пошли — нипочем их, браток, не соберешь.

— Соберем, Угорь, дай срок.

— Срок-то давай не давай, сам подойдет. Однако, как с ребятами быть? Ежели до общего — поспишь, да еще выспишься. Не посолить ее впрок, дружину-то. Это надо обстоятельно, я тебе скажу, обсудить.

— Подожди с обсуждением, — отрывисто сказал Николай. Он молчал до сих пор весь вечер, и сейчас бросилось в глаза, что он странный какой-то. Не в себе.

— У меня другой есть вопрос к комитету. Покруче.

— А ну?

— Да и как сказать, не знаю.

Он дрогнул губами и замолчал.

— Стряслось что? — спросил Угорь и подвинулся ближе. — Ты это чего же?

Николай еще ниже опустил голову, лица совсем не стало видно.

— Дело, братцы, такое. Гапон...

— Гапон, — насторожился Булкин. — И то ребята толкуют, гапоновцы собираться стали. «Отделы» опять ладятся открывать. Послание от него, что ли? Не вовсе, значит, запропал по заграницам-то?

— Кабы послание...— Николай снизил голос и обвел глазами всех, словно набираясь силы. — Сам здесь.

Головы дрогнули.

— Видел?

— Самому не довелось. Но от людей знаю достоверных.

— Обязательно бы повидать, — тихо сказал Щербатый. — Я от него, прямо сказать, свет увидел. Нового завета человек. «Грядый во имя господне»...

— «Грядый»! — закивал Николай быстро. И вдруг улыбнулся во все лицо растерянной и детской улыбкой. — Он, видишь ли, — провокатор, поп-то.

Двенадцать глаз взбросилось на Николая. Горящих. В упор.

Щербатый медленно привстал, отжимая доску стола черными крепкими ладонями.

— Слову вес знаешь, Николка. Я тебя за такое слово... В бога не верю, но в попа — вера есть: он по постригу своему в божье имя играть не станет. А Гапон — поп особый, он божьим именем... грядый. И царя он божьим именем проклял: сам слышал. Пастырское благословение на кровь дал... Чтобы такой человек...

— Провокатор, — тихо и упорно повторил Николай и расплакался, нелепо водя ладонями по заросшим щетинистым щекам. — Как же теперь жить, родненькие?

И оттого, что он сказал так, от голоса и оттого, что он заплакал, — стало достоверно сразу, без доказательств: провокатор — Гапон. Понял и Щербатый: смолк, отвернул голову в угол.

Манчжурец заговорил первый:

— Кто вызнал?

Николай вздрогнул, словно разбудили его.

— Мартын. Есть такой: из эсеров. Мартын, говорю.

— Из эсеров? — повернулся к нему Щербатый. — Тот, что с нами девятого в крестном ходу был?

— Тот самый.

— Михайло, Мартына знаешь?

— Знаю.

— Поручишься?

— Поручусь.

Щербатый покачал головой.

— Скор ты, я тебе скажу, на поруку! Я б не дал. Ко дворцу мы с ним, тогдась, прямо сказать, рядом шли, у Гапона у самого. Как первой пулей зызыкнуло, лег твой Мартын брюхом в снег. И воротник поднял, морду укрыть. Гапон, небось, тогда не ложился. Еле оттянули его, чтоб не подбило. А Мартын: как рожок взыграл, смотртю, он уж глазом шарит, куда брюхо уткнуть.

— Мы же только что говорили насчет того, как со знаменем в обнимку...

— Не лукавь, Михайло. То — другое совсем: то — бой: для бою свой закон. А Гапон нас не на бой, на жертву вел, без оружия, — устрашить голой грудью. Кто на такое, на жертву пошел, тому грудь прятать не гоже. Ежели довелось под расстрел — не пять. Ты б лег? Соврешь, не поверю. Нет, ежели Мартын донес, — дело, товарищи, поверки требует.

— А кто же говорит, чтоб без поверки, — вскинулся Булкин. — Такие дела без оказательств не делаются. Он тебе оказательства какие дал, Николай?

— Дал, — тихо кивнул Николай. — Доказательство — твердое. Ежели бы нет, разве бы я на душу взял... Однако и притом — нам ему не с его слова верить. Он сам так обещал: своими глазами увидим: сам Гапон перед нами свое предательство окажет. За тем он ко мне и пришел — за свидетельством нашим: за заставами нас послушают. Поэтому и просит нас Мартын: для свидетельства, говорит, не для суда.

— Где свидетельство, там и суд, — хладнокровно сказал Угорь. — Что он там вертит, Мартын твой!

— Ничего не вертит. И по-моему так. Свидетельствовать можем, а судьями — кто нас поставил?

Щербатый подозрительно оглядел Николая.

— О-ох, нет у меня к Мартынюку этому доверия! Кто еще его, братцы, видел? Глаз у него, я скажу, кровяной: как глянет — она из глаз смотрится. К хорошему глазу кровь пролитая не пристанет: это, брат, доподлинно. Тут надо с оглядкой.

Угорь подумал.

— Доручить Михайлу дело. Он за Мартына — как бы поручитель: пусть вникнет. Со всей осторожкой: тут я — за Щербача вполне. Охранное впутавшись: ежели что, влипнуть недолго, там тоже народ школеный: подденут — не дыхнешь.

Еще потолковали и порешили, чтобы я свиделся с Мартыном, не откладывая выяснил дело и, если надо будет, условился — на свою ответственность и на свою совесть.

ГЛАВА IX

ИНТЕРМЕДИЯ

Свидание с Мартыном не состоялось. Он оказался в от'езде. И надолго, кажется: где-то очень далеко, в медвожьем углу каком-то, шло партийное — и затяжное — совещание. Повидимому так, потому что на то же время прекратились и свидания мои с Иваном Николаевичем. Он тоже был в от'езде.

Политическая атмосфера тяжелела. Реакция росла. День за день в печати появлялись краткие, но многоговорящие сообщения об арестах, о закрытии газет или даже издательств. За заставами — щеголяя значками и побрякивая новенькими, свежего казначейского чекана целковыми, — формировались и крепли «черные сотни»,

над которыми официально принял шефство «возлюбленный монарх». Дружинники наши все чаще перестреливались с «трехцветными», с боевыми отрядами «Союза русского народа». И не всегда в свой успех. Уже дважды прославленный в заставских летописях трактир «Васильки» — штаб-квартира Угря, обычное место раздачи стачечных пособий и междупартийный клуб — подвергался налету и разгрому. В ответ наши бросили три бомбы в трактир «Тверь» — базу черных, во время заседания «Снесаревцев», и обстреляли — беглым огнем — разбегавшихся из полуразрушенного дома противников. Четверо убитых, пятнадцать раненых. Дело попало в газеты, но судебных последствий не имело. Местная полиция все еще держала нейтралитет под дулами дружинных маузеров. Но положение наше за заставами явно ослабевало: приток в дружины иссякал.

Движение все определеннее сжималось в грани партийных организаций. Широкая «серая» масса, из которой союз исключительно почти черпал силы, явно выходила из борьбы.

Иссякали и средства: регулярные взносы прекратились, наши кассы питались случайными поступлениями, сборами по заводам и пожертвованиями, по временам притекавшими из районов. Средств этих с трудом хватало на пополнение патронов, расход которых каждодневно рос в стычках с черными, и поддержку безработных, составлявших ядро дружин. Заседания Центрального комитета нашего проходили хмуро: больше, чем о дружинных делах, говорили о Гапоне и о том, что Мартын прячется, сыграл напопятный, и доказательств у него, очевидно, нет.

Лишь однажды попрежнему взмылось настроение. Заставы праздновали: Угорь убил-таки Снесарева; среди бела дня, во дворе завода. Убил — и сразу же стал ка-

ким-то апатичным, позевывающим — словно предназначение свое выполнил, ничего больше не осталось делать: «ныне отпущаеши раба твоего, владыко».

Ряды Офицерского союза быстро редели. В партии — провал за провалом. В феврале добрались, наконец, и до «Кабачка трех сестер». В Шурином комоде нашли переложенную бельем очередную партию браунингов и патронов, а на буфете в столовой — неведомо кем заброшенную туда, — свежую, еще пачкающую избытком краски, пачку прокламаций: пятьсот штук: «В борьбе обретешь ты право свое...»

100-я, 102-я, 103-я статьи уложения о наказаниях, с применением 79-й статьи: о суждении по законам военного времени. Шуру отвезли в Трубецкой бастион, в каземат, накрепко. Зину, старшую—в Литовский замок. Соня, младшая, успела скрыться: во время обыска ее не было дома и о провале успели предупредить; напрасно прождала ее три дня сидевшая на Широкой засада. Со всеми предосторожностями мы эвакуировали Соню в Вильну. Это заняло у меня несколько дней. По своему положению и мундиру я лучше всего был приспособлен для укрытия «террористки», в погоне за которой охранники обшарили без пощады партийные квартиры, бывшие на замете. Мы спасались по отдельным кабинетам, в ресторанах, на холостых квартирах разных моих «друзей детства». А когда прошел первый шквал арестов и обысков, Соня благополучно прошла, прижавшись головой мне к плечу, под вуалью, со снопом лилий, перекинутых через руку, — сквозь строй филеров и жандармов на Царскосельский вокзал в спальный вагон. Маски были удачны: некто подвыпивший поздравил нас тут же на платформе, перед посадкой, с законным браком.

Шквал арестов прошел, не затронув меня. Но все же приходилось беречься. Я чаще стал бывать в свете и уве

личил число своих «рабочих часов» у Бревернов. Это не прошло незамеченным. Все чаще до меня доходили слухи, что по углам гостиных, на раутах и five-o-clock'ах в отсутствие Бревернов настойчиво сплетают мое имя с именем Магды. A quand la noce? Когда свадьба? Даже в академии — генералы наши, не слишком осведомленные в светских сплетнях, считали долгом справляться о здоровьи барона и его настроениях: очевидно, и до них докатывалась молва.

Молва лгала. Наши отношения, наши разговоры с Магдой не заходили никогда за пределы намеченного нами «учебного плана»: мы честно штудировали бретонцев.

Мы говорили о средневековьи, о бардах, об оккультном в их поэзии... и когда мы касались оккультных тем, старая баронесса, присутствовавшая на беседах, озабоченно подымала седую, чуть-чуть подрисованную бровь, и спрашивала встревоженно:

— Mais, dites-donc... если так, удобно ли Магде изучать это? Не противоречит ли это ее религиозному долгу?

На что Магда, смеясь, раскрывала древнюю, тисненой чудесной кожей оплетенную, книгу.

— Да нет же, petite mère! Он клевещет. Смотри, у этих чернокнижников на каждой странице, в каждом куплете баллады «Пресвятая дева».

— Дева без имени, баронесса. Только о ней пели барды и только во имя ее обнажали меч.

— Но если так, они же были, действительно, язычниками. О чем же ты споришь, Магда?

— Да нет же. Они заклинали мертвых, а это может делать только верующий.

Баронесса-мать крестилась мелкими, быстрыми крестиками.

— Осени нас, небо! Но ведь ты верующая, Магда. Не значит же это...

— Что я хочу заклинать мертвецов? Хочу, очень хочу... Вы могли бы научить меня заклинаниям?

— Магда!

— Но ведь это очень важно, petite mère. Я так понимаю: чтобы быть сильным, по-настоящему сильным — так, чтобы жизнь слушалась мысли и руки, — надо в одной руке этой стянуть поводья всех сил, какие только есть, в мире — земли, неба и... загробья. Как делали барды. Теперь наука другая, теперь не надо чаш с отрубленными головами, теперь знание стало другим — скучным: диференциал. Но суть ведь осталась прежней. Я правильно понимаю вас, маэстро?..

. . . .

Часы этих занятий не тяготили меня: были дни — они даже увлекали. В поэзии бардов есть, действительно, неумирающая сила, потому что бард был и остается поныне — наиболее полным и цельным воплощением поэта — писателя, вообще, — каким он должен быть. Высшее знание, которого достигла эпоха (и которое одно дает ключ к жизни) — и меч на поясе: два признака, без которых не мыслится бард. Слово, воплощаемое самим творящим его в дело; дело — порождающее в творце его новое творческое слово: неразрывная, одною кровью спаянная, жизненная цепь. Единственный подлинный путь к творчеству.

В позднейшие века, целостность эта распалась: слово разлучилось с делом, началась «литература», «писательство» — уход в «описывание» со стороны, с «впечатления» или в бессмысленное копанье в собственной душе: зачем она, никому не нужная, ноет? На фоне этих — современных, не творящих жизнь, а подсматривающих ее в щелку, — радостен облик подлинного певца, опоясанного сталью.

Магда слушала вдумчиво: она легко и быстро, на лету, подымала брошенную мысль. С нею вообще я чув-

ствовал себя хорошо и просто: вопреки всем сплетням и подшушукиваниям между нами не было и малейшего даже признака «романа». Абсолютное спокойствие нашего общения ясно ощущала, очевидно, и старая баронесса. Она все чаще отлучалась с наших уроков, оставляя нас одних: это означало не только «доверие», но уже — уверенность. Она была права: в ее отсутствии мы разговаривали совершенно так же, как и при ней.

Только однажды — это было уже в конце марта — мне послышались в голосе Магды иные ноты. Она читала в тот день свой перевод «Jannedek-Flamm» — «Иоанна-Пламя» из того же бретонского цикла.

Черной кованной сталью одела грудь,
Черноперым шлемом накрылась
Иоанна-Пламя.
Вышла в ночь, чадный факел в руке,
Меч заклятый, меч верный на левом бедре.
Угловая раскрылася башня.
Триста воинов с ней.
Вскачь!
Ночью туманною, полем пустым
К вражьему стану —
Иоанна-Пламя!

* * *

А в том стане — в балаганах тесаных,
Вкруг пьяных столов, в пересмех голосов
Пьет орда — криком ночь опозорила.
Плачет звездами ночь.
Темь.

* * *

И сквозь темь, сквозь туман,
Сквозь смех-пересмех —
Голос звонкий домчался до лагеря:
«Смейтесь!
Будете плакать — еще до зари.
Пируйте!

Вместо трапезы пышной
Будете черную землю глодать!
Величайтесь!
Похвальба ваша прахом пойдет,
Как прахом пойдет ваша грудь,
Подлая людь!»

* * *

Кто прислушал, кто — нет...
Пьяные головы дремлют на грязных столах,
Средь награбленных блюд, среди чар опрокинутых.

* * *

Грянул вопль среди ночи:
Пожар!
Спасайтесь, товарищи, пламя!
Иоанна-Пламя
Жжет лагерь кольцом огневым!
Бежим!

* * *

Вихрь огневой звезды небу вернул:
Звезды, плачем опавшие,
Искристым смехом к тучам вознеслись.
Иоанна!
Стана нет! Пепел и прах.
Полегла орда — трупами смрадными.
Десять рабьих голов на рыцарский меч:
Счетом — три тысячи.
Кто бежал — не расскажет.

* * *

И на утро — улыбкой встречает зарю
У окна Иоанна-Пламя.
Глядя вдаль, на взгорье, где лагерь тлел,
Где дым поднимался от праха
Чадный,
Улыбалась Иоанна:
Хвала творцу.
Удобрены пашни.
Сожженные кости раба — лучшая пища корням.

Она опустила тетрадь и, выжидая, взглянула на меня. Старая баронесса, вздохнув, вышла. Магда оттянула к губам вившуюся у виска пепельную прядь волос и спросила по-новому прозвучавшим голосом:

— Ну, что же?

— На этот раз вы особенно вольно обошлись не только с размером, но и с самим текстом. У меня перед глазами французский перевод: там совсем иная Иоанна. Там — вражий набег, у вас... И откуда вы взяли слово — «товарищи»?

Глаза Магды блеснули вызовом

— С улицы.

— Тогда — при чем тут Бретань?

— Я об этом и спрашиваю. О существе. Не о размере... — она скользнула взглядом к двери. — Говорите скорее, не раздумывая. Мне это очень важно.

— О рабьих костях?

Она кивнула. В эту минуту вернулась баронесса-мать. Глаза Магды похолодели. Стали всегдашними. И голос стал опять прежним.

— Размер, говорите вы? Но ведь размер слагается не содержанием, не темой, а переживанием автора, его восприятием темы. Тогда и теперь — для него и для меня — восприятие не может быть однозвучным У меня перед глазами и в мыслях другая орда... и другой чад... Но если вы считаете нужным, хорошо: перечтем подлинник.

Глаза еще раз взблеснули — и снова перекрылись льдом. Урок пошел своим порядком. Мы простились при матери.

Мартын в этот день опять не пришел на мой вызов, на явку, хотя он в Питере уже вторую неделю. Под вечер я вышел из дому с твердым намерением разыскать его — во что бы то ни стало.

ГЛАВА X

МАРТЫН

Не по-обычному встретила меня Даша: без улыбки, неприветливо. Мне показалось даже, что она раздумывала: впустить ли? Во всяком случае, не сразу она откинула дверную цепочку. Войдя в прихожую, понял: на вешалке — шуба с котиковым воротником шалью; высокие черные ботики в углу. Мартын здесь, Мартын не хочет встречаться.

— Я не к тебе, к Мартыну.

Глаза стали еще неприветливее.

— Мне уже говорили на явке, что ты его ищешь.

— Я вызывал его несколько раз, не приходит.

— Не приходит, значит не находит нужным. Зачем же ты настаиваешь?

Не отвечая, я прошел по коридору: в приоткрытую дверь мелькнула фигура Марьи Тимофеевны у двуспальной кровати: она взбивала пухлыми руками подушки.

В Дашину комнату я вошел без стука. Мартын сидел у стола, под лампой. Лицо исхудало, с тех пор как мы виделись в последний раз; тупыми углами тянули кожу над бородой тяжелые скулы, веки припухли и одулись, белки глаз перекрыты частой кровяной сеткой.

— Вы плохо спите, Мартын?

Он глубже осадил голову в плечи.

— Я не мог притти тогда на вызов, — медленно, глядя в сторону, проговорил он. — Да признаться, мне и вообще не хотелось видеться сейчас; притом, — вы слышали, вероятно, — я с боевой, с дружинной, — поправился он, — работы снят.

— Я вас не по этому делу искал, а по другому: о котором вы говорили с Николаем.

Мартын дрогнул скулами и быстро поднял глаза: у него, действительно, страшные глаза, у Мартына.

— С каким Николаем?

— Да бросьте, Мартын, вы же чудесно знаете: по Гапоновскому делу.

Он весь дернулся и встал.

— Николай не имел никакого права говорить вам об этом.

— Поскольку вы обратились в Боевой союз...

— Он и это сказал вам?

— Да что вы, Мартын! Вы разве не знаете, что я — председатель Боевого союза?

— Вы?..—Он потер лоб. — Не знал. Откуда мне знать? В конце концов, что я? Секира в руках Центрального комитета. Мне говорят только то, что я должен знать.

— Но раз вы обратились к Боевому союзу... Почему ЦК не предупредил вас?

— Я не докладывал ЦК о моем обращении, — перебил Мартын.

— Не докладывали о деле?

— Да нет! О деле, о том, что Гапон провокатор, ЦК осведомлен, конечно. Больше: я и расследование вел по приказу ЦК. ЦК приказал мне залезть в эту грязь... по горло... и не дает мне из нее вылезть. Он более чем осведомлен: он знает уже все наизусть.

Он потрогал горло рукой и повторил, широко и испуганно раскрыв веки:

— Наизусть! Два месяца, я, как циркач на арене, показываю публике... ЦК, я разумею,... все тот же фокус: провокаторство Гапона. Все тем же способом. Я привык, это уже обратилось у меня в прием. Как в цирке, я вам говорю. А они смотрят.

— Прием не убедителен, значит. Вы не достаточно четко проделываете ваш фокус, Мартын.

— Упражнение — для детей младшего возраста! Он элементарен, как настоящий поп. Он выдает себя, по первому знаку; он идет, как гусь... на провокацию.

Он вздрогнул на этом слове и сжал руки.

— Кошмарное слово. От этой дьявольской игры с разоблачением мои мысли начинают путаться. Бывают дни — я сам не могу разобрать больше, кто кого ловит: я — Гапона или Гапон — меня. И кто из нас — по-настоящему — провокатор. Я изолгался вдоль и поперек. Революционер, который лжет... Мы молчим на допросах, не из одной осторожности, — из брезгливости, прежде всего: лгать, хотя бы даже охраннику... А я лгу, как адвокат. Если бы Гапон пришел в ЦК и сказал, что он испытывал меня, и что я поддался на эту удочку и согласился вступить в переговоры с охранным, — я не возражал бы: я просто пустил бы себе пулю в лоб.

— Разве вы вели переговоры с охранным?

— Через Гапона, да. По приказанию ЦК: я докладываю о каждом шаге и слове, конечно. Но это не меняет дела... Мне казалось, по прошлому моему, я мог бы рассчитывать на более товарищеское ко мне отношение. Они израсходовали меня на это дело, как затрепанную трехрублевку, которую уже противно в руки взять.

— Зачем вы это говорите, Мартын. — Вы отлично знаете, что вас любят в партии. Любят и ценят.

— Любят и ценят, — скривился Мартын. — Если бы так, — пустили бы они мое имя трепаться под департаментскими перьями, в обложке дела о провокаторах! Переговоры с Мартыном! Ого! Вы думаете, перья не работают? И вы думаете, это можно отскоблить, как чернильную кляксу... резиночкой? У Гершуни такого дела нет, у Сазонова — нет, у Мартына — есть. Почему? Ответ под обложкой: «дело номер...». Он принял-таки, он переговаривался... Значит, прицел был взят верно... Рево-

люционер, который разговаривает с охранным не языком бомбы или ножа, — уже полупровокатор: это — возможность. А я разговариваю с ними недели.

— Зачем?

— Спросите ЦК. Они приговорили Гапона по первому же разу. Но они боятся его популярности. Они запретили ликвидировать его одного: обязательно в паре с каким-нибудь из крупных охранных. ЦК остановил выбор на Рачковском. Гапон и Рачковский — в одном гробу. Обязательное условие. Иначе — нельзя. Иначе — рабочий не поверит: убийство камнем ляжет на партию.

— Случай редкий: ЦК на этот раз, по-моему, прав. Заставы еще помнят — и будем прямо говорить — любят Гапона. Гапон — имя, настоящее, живое имя, потому что оно взошло на действии. Девятое января — акт, которого не вытравишь из памяти рабочих. Такие имена, как Гапон, не так легко притушить револьверным дулом. Рабочие, действительно, могут не поверить, как не верят, хотя бы, мои боевики.

Мартын устало опустил голову на руки.

— Политически, может быть, это все и верно. Но это вводит нас в зачарованный круг: задача невыполнима. Рачковский — стрелянный зверь, его не поймаешь на мякину. Он дважды назначал мне свидание: дважды вместо него и Гапона я заставал стаю филеров. Филеров высокой марки, уверяю вас, они чисто делали дело... Но и мой подпольный стаж достаточно высок. Мы узнавали друг друга с полувзгляда, из-за наших масок... Мы разошлись... без последствий... Дьяволова игра! Он не придет никогда. Я кончу.

— Вы рискуете, что партия не признает акта.

— Пусть! Это лучше... чем сойти с ума: потому что, если это продолжится еще, я за себя не ручаюсь.

Я уже не сплю, у меня уже путаются мысли. И острее, с каждым днем, потому что... в партии даже, я уже замечаю... да, да! это не больная подозрительность, это не психоз,— пока я хорошо еще владею всеми своими чувствами... не знаю, что будет завтра, но сегодня — так. Я замечаю, что товарищи уже начинают в разговоре со мной надевать перчатки... На мне слишком много налипло грязи... они боятся, как бы не отскочил и на них кусочек, ха-ха!.. Меня уже сняли с работы. Осторожность? Не верю: не одна осторожность... Пусть не признают акта, пусть предадут меня окончательно — они меня уже предали, если хотите! Я брошу тогда все, я уйду из партии, уйду из революции, уйду от себя, может быть,— но я кончу. Больше так — я не могу. Еще две ночи — и я буду, наконец, спокойно спать. На пятницу — предупредите ваших дружинников — я последний раз покажу свой цирковой номер.

— А если Гапон не пойдет?

— Гапон? — вскинул зрачками Мартын: в них был застылый, смертный, беспредельный ужас. И тотчас, успокоенно и блаженно, засмеялся мелким дребезжащим смехом.

— Да нет же! Все предусмотрено, каждая деталь постановки; я срежиссировал этот спектакль чище, чем Мейерхольд Блоковский «Балаганчик». — Он засмеялся опять. — Это не плохо сказалось, не правда ли? Тоже трагический балаган. Его надо было срежиссировать тонко: вы правы — зрители предубеждены против пьесы: они требуют, чтобы герой был героем, а я хочу показать его, как он есть — мерзавцем!

Он запнулся и подумал, мучительно щуря глаза.

— Переломить зрителя — это нелегко: он слишком быстро и легкомысленно свищет, он не хочет досмотреть до конца. Я все предусмотрел, я подготовил диалог, я

смонтировал пьесу, говорят вам. Я ручаюсь за успех. Но если поверят эти... я нарочно выбрал самых предубежденных — Николай голову отдаст за Гапона, как и этот Щербатый, недоносок революции, Калибан из шекспировской «Бури». Если поверят они — кто угодно поверит. Нет, за это я спокоен.

Он потер руки привычным, «мартыновским» жестом.

— Я уже десять раз пережил то, что будет: деталь за деталью. Я вижу, понимаете, физически вижу, до мельчайших подробностей, как именно я его убью. Комнату, где это будет, я велел оклеить новыми обоями — единственную во всей даче (мы ведь на даче будем, в Озерках): дача — запущенная и пыльная, как кулисы театра, и среди нее — павильон. Театральный павильон, вы разумеете? Я сам выбирал обои: розовые букеты по белому рубчатому полю. И приказал наклеить — завязочками букетов вверх: обязательно вверх. Вы чувствуете? В комнате, где будет убит провокатор, обязательно должны быть розы завязочками вверх... Я подобрал мебель. Гримы — даны. Я вижу его лицо, какое оно будет... в момент. Борода с пивной пеной на завитках у подбородка... Я буду поить его пивом, он всегда роняет пену себе на бороду... Под бородой новый галстук с жемчужной булавкой. Он стал носить жемчужную булавку — с тех пор как стал провокатором. И галстук будет провокаторский — с шиком — малиновый с синим, в полоску, атласный... с растрепанным хвостом... выбившимся из-под жилета... Он расстегнет шубу, когда будет пить — и хвост будет на самом виду... концы таких галстуков всегда мохрятся. Я вижу все. Я твердо помню весь диалог... все мизансцены финала. Как по печатному тексту. Вы убедитесь в этом.

— Я не знаю еще, буду ли я, Мартын. В этом деле я не вижу себе места. Притом в четверг я думал

уехать в Москву; мне необходимо побывать там — по делам офицерским.

Он глянул на меня исподлобья и тотчас спрятал кровянеющие белки глаз.

— Нет, приходите. Я уклонялся это время от встречи. Вы мне не по настроению. Вы мне сейчас тяжелы, товарищ Михаил. Вы знаете, я не люблю вас. Я и сейчас сержусь на себя, что так разболтался перед вами, от бессонницы. Вы не поймете. Я не раз видел: вы не понимаете, как можно сделать — и потом мучиться сделанным. Вы не умеете мучиться, а стало быть, вы — не наш. Но на этот раз — это хорошо, может быть. Может быть, даже это очень хорошо. В пятницу, там — нам нужен будет хотя бы один трезвый: мы все будем пьяны — кто чем.

— Адрес?

— Озерки, угол Ольгинской и Варваринской, дом Звержинской. Восемь вечера в пятницу. Но без опоздания: к девяти — я должен на станции встретить Гапона. Мы условились так... Да... И примите меры, чтобы дружинники ваши были без оружия. Это непременное условие. Без оружия! Чья-нибудь горячность может сорвать все дело. Я начал — я доведу до конца...

ГЛАВА XI

ТРАГИЧЕСКИЙ БАЛАГАН

Я оповестил дружинных. Сначала решили было ехать всему комитету, чтобы потом всем союзом свидетельствовать: чтобы от всех застав были свидетели. «Всенародно девятого января шли, всенародно и судить будем». Но пятнадцать человек громоздко. Отобрали, в конечном счете, восьмерых.

Требование Мартына быть без оружия — вызвало бурю.

— Капкан, не иначе, — горячился Булкин. — С охранкой сговорено: голыми руками взять хотят. А ну их, ежели так, к ляду — и с Гапоном. Пробазаришь голову — не через за что. Когда мы без оружия ходим?

— Верно, — качнул лохмами Угорь. — Неладно: как же тому быть, чтобы дьякон, да без кадила?

— Я ж вам говорю, ребята: боится Мартын, как бы кто раньше времени...

— Скажи — милостивец выискался! Чхать на него, на Мартына. Берем, братцы, чего тут!

— Теперь нельзя уж. Я за вас согласие дал.

— А он откуда узнает: есть ли, нет ли? Что он — по карманам будет шарить?

— На слово идет. Что ж ты, слово порушишь?

— А то нет? Дерьма в нем, в слове...

. . . .

Поспорили еще. Однако перемогло решение, чтобы не брать. Кроме как мне: Мартыновский запрет — на одних рабочих. Ехать в две партии, чтоб не так заметно. По зимнему времени, едва ли в Озерки много пассажиров. Большой кучей высадимся — подозрят.

. . . .

Я выехал со второй партией: первую повел Угорь.

Дача Звержинской стояла на отлете, приметная, словно выпертая на перекресток заснеженными частоколами соседних длиннейших заборов. Два этажа, крашенных голубою краскою, в обычном здесь стиле «чухонского рококо»: с поломанной резьбой по отводу крыши, по опояске фронтона. Кренились к снеговой, — чуть-чуть промятой чьим-то шаркающим неосторожным следом — дорожке хрупкие сучья чахлого лысого сада. Тишь. Кругом — ни людей, ни собак. Окна заслеплены

неструганными, сучкастыми досками кривеньких ставень. Нелепыми квадратиками желтых и фиолетовых стеклышек расцвечены глазки двустворчатой двери, с пожелтелой, с прошлого года, визитною карточкой.

Мартын открыл.

— Все?

— Ежели других не ждете, все.

— Наши где? — угрюмо спросил Щербатый.

— Наверху дожидаются. Полегче, не натопчите, товарищи. Тут половик, в стороне, застелен. Снег сбейте. Чтобы, храни бог, приметы не было.

Мартын повел нас, путаясь в тяжелых полах медвежьей шубы: из конспирации, очевидно, он был не в обычной своей котиковой, воротник шалью.

Комнаты пустые, темные, жуткие. Кое-где шершавыми языками свисали со стен отодранные белесые обои. Под черной лестницей у чулана... или уборной? — залепленная паутиной свалена была садовая мебель; из-за плетеных, прогнутых спинок белел, подняв осколок бесформенной руки, — гипсовый амур в кудряшках.

Мы поднялись во второй этаж. С площадки лестницы — комната в розовых букетах, вверх завязками. В ней, одной, была мебель, и, странно, именно это придавало ей особенно нежилой вид. Стол, овальный, с потрескавшейся, горбами скоробленной ореховой фанерой, два стула, чуть осевший на одну ногу розовым пыльным кретоном крытый диванчик. Со стола чахлым огоньком мигала жестяная лампочка. Два стакана, четыре тарелки горкой, одна на одну, вилки, столовый нож.

— Ужинать будете?

— Закусим, — без смеха показал зубы Мартын. Он был совсем, совсем прежним: спокойным, уверенным, крепким. Он сбросил шубу и остался в шерстяной фуфайке, плотно обтягивавшей мускулистые плечи. Словно

угадав мою... нашу мысль, он согнул правую руку, вздув мощный бицепс, и показал опять ровный белый оскал мелких и красивых зубов.

— Пожалуйте.

Он приоткрыл дверь в соседнюю комнату.

— Вы тут и послушаете, что Гапон будет мне говорить. Стены картонные: можно сказать, все равно, что их нет. А как разговор кончим, тогда уж слово за вами будет, товарищи.

Угорь и трое приехавших с ним сидели на полу, поджав ноги, хмурые.

Никто не ответил. Мартын потер руки.

— Не зябко?

— Ладно, чего тут. Не время еще за Гапоном?

Мартын торопливо глянул на часы.

— Сейчас пойду. Так я вас пока запру, товарищи.

— Как, запрешь? — поднял бровь Угорь. — С какого резона?

— Если не запереть, он толкнется в дверь, обязательно. Он осторожный, Гапон. Обнаружит. Когда кончим разговор, отопру.

Рабочие поднялись с пола.

— Не дело... взаперти.

— Чудно как-то выходит, товарищ Мартын. То было, чтоб без оружия, а теперь, видишь ты, и вовсе под замок.

— Так нельзя же иначе! Неужели не понимаете, товарищи? Ежели он узнает, что вы здесь — конец всему делу: не слыхать вам от него правды. А может быть, и того хуже будет. — Он опять вынул часы. — За Гапоном пора итти. Не задерживайте меня, товарищи.

Угорь качнул пятернею дверь и оскалился.

— Ладно, ребята. Садись к стенке. Пусть запирает. Окромя Михаила. Товарищ Мартын, ты нам Михаила

где ни есть приспособь, на свободе. Мало ли, какой случай. Тебе вполне одному не способно. Притом уйдешь: а ежели без тебя что...

Мартын подумал.

— Товарища Михаила... в самом деле, на случай можно поместить и на площадке с черной лестницы. Если кто-нибудь войдет, он услышит. Это верно. Это я упустил. Я ничего не жду, ничего быть не может, а все-таки для верности. Идемте, товарищ. А к вам — просьба: без стука, чтобы совсем тихо было, он очень осторожный, я вам говорю, Гапон. Стукнете — потом не поправить.

Мы вышли. Мартын запер дверь тяжелым висячим замком, неловко и медленно вдев его в насвежо ввинченные кольца.

— Вы вот здесь поместитесь, — торопливо сказал он, распахивая взвизгнувшую ржавой пружиной дверь на черный ход. — Очень удобно. Здесь щель есть. Вам не только слышно, но и видно будет... Я проведу его с того хода, по другой лестнице.

Он стал спускаться по обшарпанным черным ступеням вниз, в тьму.

— Без шубы, Мартын?

— В самом деле.

Он вернулся, покачивая головой и посвистывая под нос.

. . . .

Давно уже щелкнул внизу ключ за Мартыном. Я сидел на ступеньках, прислонившись к шатким перилам. Пахло мышами и сыростью. Сквозь разбитое стекло на стеклянной галлерейке, что идет от площадки, — ровный синеватый лунный свет.

Что-то сказал за стеною Угорь. Слов не расслышал, только имя дошло: о Гапоне.

Да, Гапон. Была песня — и нет. Не о девятом января: эта песня останется. Но Гапон из нее выпадет: лицом в грязь. Имя выпадет — а песня останется: еще крепче, звончей, чем была. Судьба всякого имени: поблестит, смеркнет. А те, что без имени — остаются.

Я всего раз видел его, Гапона. В позапрошлом году, — в декабре... или нет — еще раньше — до снега, слякоть была — свел меня с ним доктор Рожнов: тот самый, что свел меня позже с дружинными, — он лечил за заставами. Год с лишним прошел, а помню до мелочей: в пивной, в задней особливой комнатке, под замком; стол — клеенчатый, липкий от пролитого пива; моченый горох на блюдечке с ококанным краем; узкие горла пустых, для счета отставленных бутылок — и качающаяся борода с острыми и быстрыми глазами.

Хорошо говорил в эту ночь Гапон. С верой говорил. Сильно. И потому, что он говорил нам здесь на тайном свидании совсем то самое, что каждый день открыто слышали от него рабочие в клубах его «отделов», — казался он мне особенно искренним, прямым и надежным, смеющимся над опасностью — не в пример нам — в нашем быту, в нашем «наружном» — надежно укрывавшим, мудрой наукой подполья, — революционную нашу работу. Он казался мне чем-то лучше нас: я слушал его раскрыто. И только, когда оборотом нежданным он заговорил горячо и страстно о подвиге и жертве, — хлест этих лживых, непереносных слов заставил меня насторожиться. Я стал присматриваться крепче, уже настороженным глазом.

Гапон хмелел. И сквозь грузный и мутный хмель тяжелого бурого пива стали тогда проступать неподмеченные раньше, запрятанные раньше черты. Я заметил: косят, обегая встречный взгляд, острые черные глаза, и жадно — животной жадностью — слюнявятся над пен-

ным стаканом волосами закрытые губы... и не случайно копеечным шиком торчит из карманчика пиджака (он в штатском был, в пивную нельзя было в рясе) пестренький шелковый платочек. Есть у попа Гапона и второе лицо. Но так уж сложена нынешняя жизнь, что именно настоящее свое и прячут люди.

Гапон хмелел. И с каждым стаканом уходил дальше, дальше. Стало противно. И видеть второй раз Гапона не захотелось...

И вот — привелось: совсем повернулся к нам — вторым, подлинным своим лицом Гапон. В пересмотр. Сегодня здесь, в комнате с розовыми букетами, — перепишется заново отпечатанная, уже заученная страничка... Чьими руками? Мартын прав: нужно, чтобы хотя бы один был трезвый.

. . . .

Снизу лязгнул запор. Дошел из сеней гулкий, подхрипывающий голос и уверенный басок Мартына. Опять щелкнул двойным поворотом замок. Свесив голову через перила, я слушал. Протопотали, удаляясь, мягкие — в валенках или ботах — шаги. Стихло. Я перешел к двери, разыскивая щель.

Мартын солгал или ошибся. Щели не было никакой. Дверь, забухшая, плотно вдавлена в стену тугой пружиной; у порога чуть-чуть змейкой сочится желтоватый скупой свет. По стене бродят лунные блики.

Тихо. Потом... неожиданно и пакостно рушит сумрак и тишину кабацкий мотив:

Маргарита, бойся увлеченья,
Маргарита, знай: любовь — мученье.

Мартын старательно высвистывает шансонетку. На душе накипает злость за этот никчемный, больной, актерский «наигрыш».

Свист ближе... шорох у двери и торопливое, словно прихрамывающее на пригибающихся зыбучих половицах шарканье ног.

— Тут наверно никого нет? Смотри не шути, Мартын.

Мартын перестал свистать. Его голос спокоен и тягуч.

— Да нет же, тебе говорят. Кому быть?

Помолчали. Сдвинули стулья.

— Жуть у тебя тут, что на погосте.

Мартын засмеялся: смех нарочитый, неприятный, громкий.

— Священник погоста боится?

— А ты что думал? Священнику страшнее, чем другому кому. Я, по своему священству, такое о загробном знаю, чего ты не знаешь! Хочешь, я тебе весь путь человечьей души, из тела испяед — через заставы ангельские — докажу: на какой день какая застава, чем душе испытание...

— Вон как! И заставы, говоришь, на небе есть? И там охранники...

— Ты не смейся, Мартын. Форсу-то не пускай. Помяни мое слово: смерть придет — червем будешь виться, от смерти лицо прятать. Тяжело тебе будет помирать, Мартын, ух! как тяжело. Кровь на тебе, Мартын. Тяжко будет, помяни мое слово.

— Тяжко? А ты как? На тебе не только что кровь — хуже. По небесному вашему уложению за предательство на какой заставе осадят?

Гапон подхихикнул: тоже недобрым, нарочитым смешком.

— Как кому. Тебе, например, ничего не будет. Евреям, по ихнему закону, на все разрешение. Я, брат, вашу библию, как в академии был, в подлинном читал.

— Хвастаешь!

— Ну, пусть хвастаю. Дай-кось я корзиночку взрежу. Озяб чего-то. Дрожь берет. Как выехал, так все дрожь и дрожь. Выпить охота.

— Я тебе тут пива приготовил.

— Ты все на экономии! Я, брат, не по-твоему, вина привез.

— Много ты пить стал, Гапон.

— От тебя пью, не от другого чего. Морочишь ты меня, Мартын. С сегодня на завтра. А от тебя и в моих делах застопорь.

Щелкнула под лезвием тугая бичева. Зашуршала солома.

— Штопор-то у тебя есть?

— На ноже. На. А о предательстве ты мне не ответил, отец Гапон. Я не о себе, о тебе спрашивал.

— Какое мое предательство?

Хлопнула потягом из бутылочного горла пробка.

— Какое мое предательство? — повторил Гапон. — Я свою линию веду прямо — от первого дня: как народу лучше, так я и иду, так и народ зову. Думал — у царя, позвал к царю. Видел, что вышло? Проклял. К социалистам пошел, думал лучше. Видел, что вышло? Расточили силу народную, а сами — по заграницам, по кофейням спор... Про параграф... чье учение правильнее... А и тех побили и этих. Чье ученье правильное, того не бьют... в том и правильность... Истинно сказано в Писании: горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры. Шкуру медвежью делят, а народушко, гляди-ко, уж под медведем. Дурново-то орудует, ась... А они штемпелями балуются: комитет супротив комитета. Пробовал, знаешь сам, воедино их собрать, чтобы единой силой... куда! Держится каждый поп за свой приход... Да кабы приход, а то в приходе-то одни покойники. А они спорятся... Проклял и их.

— И пошел в охранное?

Стукнул стакан о стакан.

— Что же что охранное? Они тоже народу дурного не хотят. Они народа не касаются. Их забота одна — чтобы потрясения не было: от потрясения и охраняют. От нарушителей. Это разве худо? Какой в нем, в нарушении, толк?

— Как кому. Кому и убыль, а трудовому народу...

— Да брось ты слова говорить! Трудовой народ! Он сам по себе на бунт не пойдет. Мужику землицы надбавь, налогу сбавь — он тебе на века в пашню уйдет, по плечи по самые, с места не сдвинешь. Рабочему тоже много не надо: двугривенный в день накинул — он и доволен. А ежели да рубль? Американцы накинули ж: кому от этого дурно вышло? Живут душа в душу: и хозяин и рабочий — своим домком. Вот и у нас надо, чтобы так. К этому я и держу. Это я тебе скажу — путь правильный. А так, чтобы ни у кого ничего — общежитие социалистическое, — это интеллигенция придумала, беспорточная: не на чем стоять, окромя как на голове. И кличку какую придумали: «пролетариат»: слово-то, слышь, картавое, еврейское слово, ты уж меня прости, Мартын. Мы ведь с тобой как брать я родные: даром что ты еврей, а я — поп. «Пролетариат» — таким словом собаку звать, не рабочего православного.

— Нам с тобой, Гапон, не о социализме спорить.

— По мне хоть не спорь: ты ж затеял. Фырчишь. Охранители! А спор, действительно, ни к чему. Ихнее дело, все равно, в проигрыш пошло. Брось крутиться, Мартын. Крутить не будешь — счастье найдешь.

— Каким способом?

— Они тебя шибко боятся, Мартын. Не сказать, как боятся. Я им про тебя такого насказал... Цену набил.

Вот это, говорю, нарушитель! Деньги хорошие дадут, если пойдешь.

— Своих выдавать?

— Опять ты об этом. Кого выдавать-то — террористов? Какой от этого народному делу из'ян? Какое их дело? Убьют губернаторишку какого, — другого поставят. Казне не все равно, кому деньги платить? Только что замешательство от них, кровь — а толку нет. Ты вот о предательстве давеча: так это разве предательство? Боевика выдать — это кровь спасти.

— Одну спасти — другую пролить... С выданным-то что будет?..

— А ничего не будет, — торопливо перебил Гапон. — Ты, как сообщишь, и их предупреди: так, мол, и так, слежка по сведениям: тикай, братцы. Охранное противу не будет: им главное, чтобы покушенье расстроить, а не то, чтобы человека какого загубить.

— Кривишь душой, поп. Вон и глаза в глаза-то не смотрят. Кривишь! Знаешь, что повесят.

— Ну, а ежели и повесят, — вызовом просипел Гапоновский голос. — На то и шел, на то и обрекся. Тут губительства нет. А только я тебе говорю, вешать не будут. Зачем им?

— Ежели бы так, ты бы мне по-иному говорил. Денег бы не сулил.

— Денег? Бога побойся, Мартын! О деньгах не я заговорил первый. Когда я тебе открылся, что ты мне первым словом сказал: «Сколько?»

Мартын тяжело закашлялся. Стукнул стул.

— Постой, спину потру. Эк тебя!

— Оставь... Сколько? Охранная повадка известна: с пустыми руками по таким делам не ходите. Ты сам-то денег не берешь, что ль?

— А, конечно, не беру. Да мне и не надо. Я за книгу за свою, за границей, десять тысяч, брат, получил: как копеечку.

— Да пятьдесят тысяч франков, что Соков на рабочих дал, — к тем десяти тысячам.

— Но-но... Ты, Мартын, полегче.

— Чего полегче? Это факт достоверный. Не ты что ли Черемухину револьвер дал, чтоб он Петрова убил за то, что в газетах тебя разоблачил в растрате рабочих денег?

— Разоблачил! Плевал я на разоблачения. Газеты — что: либо жидовская, либо продажная. Как блядь. Только что денег жалко, а то бы я любую купил. Брось, Мартын, не то говоришь.

— Нет, ты все-таки мне скажи: с охранного сколько получил?

— Да не получал, тебе говорят. И надобности в том не было. На отделы давали, потом — за книгу... Была бы надобность, взял. Стыда в этом нет. И тебе, если возьмешь, не будет. А ты вот что сообрази: ежели с умом — ты в год тысяч сто заработаешь, ей-богу! Получишь — завод себе поставишь, по специальности. И живи, чего тут.

— Сто тысяч? Широко считаешь.

— Никак не широко. За то, чтобы Дурново дело открыть, — ты пятьдесят тысяч просишь. Ну, с запросом это, конечно: такой цены нет. Там у тебя, на деле-то, и людей, надо думать, пяток какой-нибудь. Пятьдесят тысяч много: у них ведь тоже деньги казенные, отчетность. На двадцать пять тысяч сойди — дадут.

— По пятерке на голову?

— Эк, бередишь ты себе душу зря! Какие там головы! Двадцать пять тысяч, твердо говорю, дадут: мне Рачковский сам сказал — хоть завтра. Теперь на Дубасова говоришь, в Москве, готовится. На мази дело, так?

— Так.

— Ну, за Дубасова тоже тысяч пятнадцать, может, двадцать, дадут. Не как за Дурново, конечно. У него заслуга меньше, но дадут все же. А ежели поторговаться хорошенько, может, и еще прибавят. И по другим местам поискать, еще дела два-три наберется. Смотришь — за год-то тысяч сто и соберешь, верно говорю. Это не деньги?

— А если узнается?

Гапон визгливо рассмеялся.

— Откуда узнать-то: о твоем деле Рачковский, Дурново да царь — только и знают. А ежели еще кто знал — у них, в департаменте, говорю, чисто дела делаются. Внове, что ли? Сколько сквозь такие дела народу прошло, а о ком узналось? Страхи эти ты окончательно брось. Ты чего не пьешь, губы мочишь? Пей.

— А все-таки узнаться может.

— Экой! Ну, а ежели бы даже и так! Скажи на милость — испугали досмерти. Плевать я хотел на ихние изобличения. Меня вон ныне всякая шпана травить стала. Григорьев этот да Петров комиссию какую-то общественную выдумали, суд! Эсеры и эсдеки лаются... Им меня спихнуть выгодно, от рабочих отвести. Врешь, не дамся. И на суд ихний, ежели что, не пойду. От злобы все, да от зависти. Вот те и отповедь: поди, поверяй. А тебе и того легче будет. Ты партийный, в партии к тебе вера. Брось канителиться. По рукам, задаток получишь, как просил — тысяч пятнадцать, и действуй.

Пауза. Я ждал: лязгнет под ключом висячий замок. Но замок не лязгнул.

Гапон зевнул и проговорил вяло.

— Зря ты меня сюда завез. Холодно, сиди в шубе, без света, вино в горло нейдет. Это все можно бы и в Питере сговорить — у Кюба или Контана... Кабинетик светлень-

кий, тепленький, икрица, померанцевой рюмочку под нее, перед ужином... Уборная-то тут есть?

— Внизу клозет.

— Вот, видишь, и в этом неудобство. Рыпайся тут по лестнице.

— Пойдем, я покажу.

И на этот раз не лязгнул замок. Загукали сквозь стены удаляющиеся по той лестнице шаги. И опять — мертво в даче. Чуть журчит сквозь осколки стекла холодный ветер на галлерее, у площадки.

Шаги уже подо мной, в нижнем этаже. Ближе. Голос Гапона, громкий и тревожный, — совсем тут, у лестницы.

— Эка темень! Тут никого нет, наверное, Мартын?

— Да нет же, говорю.

— Почему по этой лестнице не вел? Тут разве не ближе?

— Ближе, пожалуй, не подумалось. По той прошли, по той и сейчас повел.

— Не буду я по темному дому ходить. Веди по этой.

— Ладно, не все равно. Иди.

— Нет, брат, иди ты вперед. Смотрикось, узкая какая. Знал бы, в жизни не поехал. Ты говорил: квартира конспиративная, а тут, видишь ты, даже не топлено.

Поднимаются...

Я дернул дверь рядом в чулан. Заперто или заколочено. Ступени скрипели под шагом, одна за одной, к повороту: сейчас я буду с Гапоном — лицом к лицу. Только бы он до меня не дотронулся.

Луна совсем поднялась. Светло.

Оттянув рукою пружину, чтоб не так визжала, я открыл дверь в розовую комнату на себя и зажался за ней, придерживая ручку. Мартын прошел первым; он быстро и тяжело дышал. Стук бот за ним следом — внезапно оборвался.

— Дверь почему открыта, Мартын? Держит ее кто... а... Мартын?

Мартын не отозвался. Я попрежнему крепко держал ручку. По обводу двери, царапая отсохшую краску, скользнули нащупывающие пальцы. Я почувствовал липкое прикосновение холодной и влажной кожи и отдернул руку. Дверь ударилась о мягкое, задержалась и хлопнулась визгом. Из-за нее — в упор стал Гапон. В расстегнутой шубе, в серой мерлушковой шапке, с всклоченной бородой. Вместо глаз — бель белков: зрачки закатились.

— Мартын!

На дикий вскрик — Мартын выскочил. Бледный.

— Слушали нас, Мартын. Убей!

Он выбросил обе руки вперед, отогнув голову, целясь скрюченными пальцами.

— Убей! Ой, худо будет!

Я опустил руку в карман. Но Мартын схватил за запястье, левой рукой быстро нащупал браунинг и вынул. Гапон кивнул головой, закрестился и шагнул мимо нас, в комнату.

Дверь глухо хлопнула. В тот же миг сухим разрывом треснула там, в боковушке, дверная створа, сорванный замок перекатом простучал по половицам. Мартын шарахнулся в сторону. Я бросился вслед за Гапоном. Сквозь пролом, сгрудясь, напирали дружинники. Щербатый впереди..

— Братцы!

Гапон прижался к стене и вдруг взвыл тонким, страшным, далеко слышным лаем.

— А-а-а-а-а...

Щербатый, шатнувшись, сбросил тулуп. За дверью, по лестнице вниз, загрохотал, шатая ступени, бег... Дикий, без оглядки.

Мартын?

Угорь опомнился первым. Он ударил широкой черной ладонью по раскрытому рту, далеко разбрызнув пенистую, кровью зарыжевшую слюну.

— Молчи, пес!

Гапон захлебнулся и упал боком, запахивая шубу.

— Родненькие, милые, не надо...

— Вяжи его.

Кто-то поднял с полу длинную тонкую бичеву... от корзины с вином и закусками.... Щербатый, припав на колени, вывернул Гапону руки назад, круто ударив его лицом о пол.

— Продался, стерва... Михайло, браунинг с собой?

— Мартын унес.

— Братцы!

Щербатый налег, вскрик оборвался стуком зубов о пол.

— Не бей, Щербатый.

— Отсунься, Михайло. Барничаешь. Собаке собачья и смерть. Чем его?.. Штопором, что ли?..

Булкин пошарил по столу, сбрасывая на пол тарелки и банки: — Был тут где-то...

— Ребята, пошарь по дому: топор или что...

— Товарищи...

— Сказал! — дико расхохотался, подгибая голову, Манчжурец. — Продал воскресенье, Иуда. Опоганил на вечные времена...

И снова — тяжелый удар головы о пол...

. . . .

Дом ожил. По комнатам, по лестницам — быстрые, крепкие, бегущие, ищущие шаги.

— Веревка. В кухне снял.

Гапон рванулся отчаянным броском. Дружинники торопливо навалились кучей.

— Ты... драться!..

— Родные... сказать дайте...

Николай, калачиком подогнув ноги, сел поодаль на пол, быстрыми, ловкими пальцами свертывая петлю. Он кивнул, оскаля короткие, до корешков стертые зубы.

— Поставь-ка его на ноги, ребята. Пусть побалакает.

Гапона подняли. Я видел только вздрагивающий затылок и тонкую бичеву, закрученную на рукавах шубы.

— За что... братцы, родные мои... Ваш я... Мартына испытывал... слух о нем есть... что — предатель... Нарочно говорил... Я новое воскресенье готовлю... не с крестом, с мечом... Затем и приехал.

Голос тускнел... Сошел на шопот. Он сам себе не верил, Гапон. Он отвернул голову, в мою сторону, влево. Глаза стали влажными. Закапали быстрые, частые слезы.

— Пожалейте, родные, любимые...

Николай поднялся, распрямляя петлю.

— А ну, Угорь.

— Куда? — вскинул тот голову. — На руке, что ли? В поволок? Крючка-то нет.

— В той комнате вешалка, — кивнул к двери Миней.

— Не сдёржит.

— Сдёржит, чего там.

Гапон плакал, тихо всхлипывая. Угорь, придерживая за плечо, толкнул его в узкую дверь, меж ударом расщипанных планок. Вешалка в два крюка, в человечий рост. Николай закрепил на одном свободный конец.

— Укороти.

— Все одно не подтянешь.

Щербатый накинул петлю, далеко отогнув бобровый воротник.

— Садись, поп.

Он нажал на плечи. Гапон осел под нажимом. Меж валенок Щербатого вяло и мягко поползли от стены из-

под вешалки коленка на коленку легшие ноги — в новых ботах, в отогнутых брюках. Я вышел в комнату с розовыми букетами. Рабочие, толкаясь плечами, обступили Щербатого и Николая.

. . . .

Угорь вышел быстро, почти что следом за мной. Он был темен лицом, но спокоен. Повел глазами по стенам и спросил вполголоса:

— А тот где?

— Кто? Мартын?

Он кивнул.

— Не знаю.

— Надо бы поискать. Ребята, брось попа: дохлый... Обшарь домишко. Куда Мартын задевался? Найдешь — волоки сюда, за загривок.

— То есть как «волоки»?

— А вот так, — блеснул глазами Угорь. — Крюков-то два: рядом и повесим.

— Ты что, спятил?

— А ты что, не слыхал? Гапон — Иуда, да и тот гусь — хорош. Любо это будет, рядышком.

— Не дури, не дам.

— Тебя не спросился. Вступись — свяжем: верно говорю. Здесь у нас свое понимание. Ну, что?

— Нет никого. Пусто.

Щербатый вынес бумажник Гапона и две записных книжки.

— Смотри-кось, братцы! Деньжищ! И записки.

— Ладно, за заставой разберем. Прибери по полу, братцы, чтобы не столь приметно. Николай, пощупай попа пред отходом.

— Сдох. Достоверно.

Приладили кое-как выбитый напором замок. Сгребли в угол, кучей, битые тарелки, прикрыли газетой.

— Осмотрись, братцы. Следов не оставили?

— Откуда им быть. Обошлись тутошним.

. . . .

Входная дверь оказалась распахнутой. Ключ торчал изнутри. На улице — пусто: по синему снегу зигзагом — провалы тяжелых ботов.

Угорь вышел последним. Запер дверь и забросил ключ за углом в чужой палисадник, в сугроб, под занесенной елью.

ГЛАВА XII

СКАЗКИ

Еще одна — опять! — легенда Корнуэлса.

На этот раз я плохо слушал. Старой баронессы не было в комнате. Прямо передо мной, на высокой стене, затянутой тяжелым серо-голубым шелковым штофом, с бурбонскими лилиями, тисненными синим крепким узором, — остро желтели судорогой выпяченные вперед изможденные коленки Христа: старинное, слоновой кости на черном дереве итальянское распятие. Под распятием — низкий, как в католических исповедальнях, налой. Левее — задернутая таким же серо-голубым, тяжелым, тисненным лилиями пологом, кровать Магды под балдахином.

Магда повторила, медленно и звонко скандируя, слог за слогом, любовный припев баллады, которую читала:

— Ar-ta! dao, war he lerc'h!

Она оборвала строфу и засмеялась.

— Вас даже это не трогает. Вы меня сегодня совсем не слушаете.

— Не слушаю, Магда Густавовна.

— О чем же вы думаете?

Думалось об Угре, почему-то. Сказать? Я посмотрел в синие глаза: они были спокойны и холодны. Расхотелось.

— Так. О своем.

— Не скажете?

Она дотронулась правой рукой до огромной жемчужины в кольце на левой руке: частый ее жест. Этот матово-белый, мертвый шар всегда раздражал меня: должно быть потому, что в хрупкости этой, громадных денег стоившей редкости — было несомненное издевательство над трудом и над силой; рука под такой жемчужиной — не только не может, но и не хочет ничего делать. Такая рука способна только на ласку, на любовное, томное прикосновение.

— Ar-ta! dao, war he lerc'h!

Раньше почему-то не приходила эта мысль так определенно и четко. Вернее: приходило в мысль о жемчужине, не о Магде. Сейчас пришло о Магде, и сразу чужими и неприятными стали тонкий строгий профиль, завитки волос, узкая тонкая кисть, полузакрытая напуском средневекового, тесного у запястья, рукава. Я ответил поэтому резче, чем надо было.

— Нет.

Она не обратила никакого внимания на резкость. Она поглаживала жемчужину, не поднимая глаз.

— Тогда я скажу... о своем. Хотите?

Я принудил себя ответить:

— Скажите.

Длинные ресницы чуть дрогнули. И голос стал как тогда... после Иоанны...

— Зачем вы убили Юренича?

Удар был неожидан. Я бросил первое, что пришло на язык — от памяти об Акимовской беседке.

— Вы жалеете об этом?

— Не знаю, — тихо ответила она и закинула за голову сплетенные бледные пальцы. — Он казался мне сильным. Я ошибалась, очевидно. Иначе он не был бы убит еще на пороге. Но... вы оба для меня — из одной сказки.

— Вы придумали сказку?

— Как? — удивленно подняла она глаза на меня. — Придумала? Но ведь это — ваше же. Помните, вы говорили мне об искусстве, о творчестве, что оно — ширит жизнь, вводя в нее новое, чего раньше не было и что силами природы одной — «естественно» — введено быть не может; что надо создать—огнем своей мысли—сказку и волею своей — свести ее в жизнь; что творчество — в этом. Вы видите: я запомнила твердо. Я хорошая ученица, маэстро. И разве мне, чтобы стать настоящей вашей ученицей, не надо было создать себе сказку?

— О чем?

— Вы не чувствовали моей темы, когда мы работали с вами? Мне начинает казаться, что вы не сегодня только не слушали меня, а всегда... Ведь моя тема — одна: мы, Бреверны, однолюбы.

Мы помолчали.

— Вам все-таки надо сказать это словами?.. Об опоясанном сталью...

Стало еще досадливей и неприятней. Захотелось сказать что-нибудь злое, могущее ранить.

— Опоясанном? Признаюсь, мне это не приходило в голову. Ведь когда мы читали бретонцев, на что шел ваш выбор? Легенды о потонувших городах, о героях, сгубленных синими глазами морских дев — глазами, ревнивыми к солнцу и крови. — Я улыбнулся жестко, радуясь этой жесткости. — Ваши глаза сини, баронесса.

Она подняла на меня удивленный и печальный взгляд.

— Ревнивы к солнцу и крови? Вы странно, вы нехорошо говорите со мной сегодня. Отчего вы стали сразу темным и чужим?.. Разве я тронула — рану?

Сказалось это сердечно и просто. Раздражение спало: в самом деле, надо было говорить не так.

— Простите, Магда Густавовна, мою несдержанность. Но мне, действительно, стало неприятно, когда вы сказали об опоясанном. Вы не рану тронули, но коснулись чего-то очень, очень мне близкого... Есть слова, которые радуют только тогда, когда в них слышится с в о й голос.

— Но и для меня то, что я говорю, очень, очень близкое, — не глядя на меня, проговорила Магда. — И это слово... почему вы думаете, что я говорю его не так, как вы?

— Ответ не труден: имя вашей сказки?

Губы Магды сжались твердой и гордой улыбкой: в глазах ярые, яркие отблески.

— Восстание знати.

Вызов — на вызов. Мы скрестили глаза.

— Вы знатью считаете тех, что сейчас восстали?

— Баррикадистов Москвы? Вы смеетесь. Люди, поднявшие бунт из-за хлеба или из-за того, что им слишком больно изрезал спину хлыст...

— Не только за хлеб, баронесса, но и за волю.

— Человек, который дал себя ударить дважды, никогда не будет вольным: а этих людей — стегали поколения. Тема для эпоса? Нет. Для этой орды у меня найдется только один припев — припев Иоанны: «Сожженные кости раба — лучшая пища корням». Я разумею восстание подлинной знати.

— Тогда заглавие неверно. Вам надо было бы назвать вашу сказку: «Воскрешение мертвых». Но тема — неблагодарна. Даже в церковной легенде мертвые встают только на страшный суд.

— Я говорю о живых, а не мертвых.

— Вы смеетесь. Где вы их видите, живых? Гроза идет, баронесса, а вышел ли в поле хотя бы один из них?

— Значит не настало время... Аристократия никогда не торопилась вздевать доспехи. Мои предки опоясывали меч только в тот момент, когда уже гремели надо рвами цепи под'емных мостов и по зубцам башен уже стучали стрелы. Когда придет время, знать восстанет. И тогда начнется революция.

— Революция?

— Конечно. Потому что подлинную революцию можем создать только мы.

— Революция — выход в новую жизнь. Новое не может итти от выродженцев: знать выродилась, Магда Густавовна. Вы не должны, не можете этого не видеть: у вас хороший, пристальный глаз. Вы говорите — не настало время? Пустое — они чувствуют, они ощущают грозу. Но вместо того, чтобы встать самим, как сделал бы каждый живой, с незагнившею кровью человек, — они прячутся за спиною наемной охранной орды, они обороняются продажными и грязными руками. Французские аристократы эпохи робеспьеровской гильотины сохранили от своего старого хоть одно: красоту жеста: они умели красиво ломать свои шпаги и бросать свои головы с эшафота. У наших нет даже этого... Они выродились до конца.

Магда покачала головой.

— Нет. Я смотрела пристально — в этом вы правы. То, что вы считаете вырождением, на самом деле — только скука. Старая жизнь застоялась, она не движется: нам стало душно и скучно. Мы тянем день за днем по кругу. Надо сдвинуть дни, обновить жизнь, опять раздвинуть ее ширь, заставить бить ключом застоявшуюся в старом кровь.

— Чтобы сдвинуть жизнь — надо выжечь старое.

— Да. Но выжечь — можем только мы сами... и мы одни. Не те, что бунтуют на низах... не эта — «масса». Вы только вслушайтесь в это гадкое, шипящее, обжорливое слово: «масса». Только — мы. Знать. Потому что сегодняшнее только для нас мертво, только нам — в этом старом тесно; а для них, для нижних — оно «новое», оно живое, оно — желанное. Если они победят, они войдут в этот самый мир, в котором нам стало душно: для них это еще только сказка. Они ничего не создадут от себя. Новая жизнь может итти только от тех, кто овладел старой, а таких людей можно найти только среди знати: я разумею знать — не только герба, но и мысли: она с нами, не с ними. Кликнуть клич, сомкнуть ее — восстанием подлинной знати... Единственная сила, которая может ложной революции черни — бунту рабов за хлеб и за жизнь, давно уже изжитую нами, — победно противопоставить подлинную революцию, творческую, ширящую жизнь.

— Есть иная сказка.

— Сказка о социалистическом рае? Я читала утопии социалистов. Неужели они могут кого-нибудь увлечь? Что вы могли бы сказать мне о них?

— Об утопиях социалистов? Ребенком я был когда-то, с отцом, в Троице-сергиевской лавре. Там, на стене собора, намалевана картина рая: соборные кельи под кущами цветущих дерев, чинные трапезы праведных среди блаженной тишины и покоя. Я смотрел — мне было лет десять — и думал: нет, нет, только не это. Если будущая блаженная жизнь в этом, — уж лучше туда, на нижний ярус той же стены, расписанный адом, где мучаются грешники и где такой яркий, чешуйчатыми кольцами пробивший волны огня, подлинно сказочный дракон. Он жжет и мучит, но... почем знать: может быть и можно еще — под треск огня и стоны — изловчиться как-нибудь схватить его за челюсть, обломать ему зубы о раскаленную

скалу... Когда я читаю социалистические утопии или расчисления будущего строя в творениях социалистических теоретиков, мне всегда вспоминаются те, ребячьи мои, троице-сергиевские мысли.

— Ну вот, видите, — радостно улыбнулась Магда.— Но ведь это подтверждает.

— Ничего и нисколько. Не судите по иконам социалистического рая, Магда Густавовна: их живописали ряженые социалистами и революционерами мещане, люди заемной — нет, хуже: краденой жизни, потому, что собственной жизни у них, у мещан, нет. Эти действительно тянутся к вашим оглодкам, и сказки их смотрят в загробье. Вы знаете, что писал о них Энгельс: «Литераторы-социалисты создали нам такую литературу, которая по нахальству и экономическому невежеству не имеет себе равной».

— Если бы все думали так, как этот ваш Энгельс, их бы не печатали и не читали... Вы говорите: изголодавшиеся мещане... А те, на «низах» — чем они лучше? Они не тянутся... к тем же оглодкам? Они и жизнью и мыслью в том же старом.

— Иначе не может и быть. В создании человека нет разницы между рабьим, подневольным трудом и бездельем «господствующих»: и то и другое одинаково калечит душу: и то и другое одинаково ведет к вырождению — и аристократа и пролетария.

— Но тогда нет исхода? Все — в старом; одни — мертвые, другие — жадные. Но вы говорили, я помню: где есть жадность — нет жажды, где нет жажды — нет творчества. Революцию не могут создать жадные руки. Какую о них, о сегодняшних — вы сложите сказку?

— Сказку? Нет, быль. О борьбе, которая перекроет в тяжком и смертном усилии — дымом развалин — и рабий труд и тигровый закон власти властных. На этой борьбе

прахом лягут жадные, закостенелые в старом — и взрастут новые люди. Новые — потому что новым, никогда еще в веках небывалым будет у них чувство жизни от радостно и спокойно пролитой великой крови, и от смеха над смертью, которой будут они — каждый день, каждый час — бить в лицо гордым и победным вызовом, и от труда, который они возьмут как свободу. Они будут строить жизнь не так, как раньше, не так, как теперь, не так, как в утопиях социалистов: кирпич к кирпичу, равный к равному, безликий к безликому, по чужим, чужою мыслью расчерченным чертежам. Нет, каждый будет строить сам, прямо перед собой, от себя, из себя. Им не придется сговариваться, спорить о планах и ждать приказа десятника, — потому что чувство жизни будет у них — у всех — одно. Потому что они пройдут один путь, одну кровь, один труд. Когда взрастут эти новые люди, взрастет с ними и новая сказка, которая сведет на землю новую жизнь.

— А до тех пор? Быль? Быль о крови. Неужели этой были хотите вы отдать свое имя?

— Где всходит имя — нарождаются рабы. Моя сказка — сказка о безымянных.

— Значит, в общий ряд? В жизнь — без следа: чтобы каждый ваш шаг затирали идущие следом?..

— Есть ущелья — средь гор, — где тропа, хоть на час, выводит на проезжую дорогу. Где мимо проезжей дороги — нет пути вперед. Но вы не правы: и на проезжей — может не затеряться тропа. След остается под следом. А если бы и нет — что нужды для тех, кто шел сам?

— В толпе? Но они же обречены, вы сами говорите. Итти с ними — на смерть, в огонь?

— С к в о з ь огонь.

Магда отвела глаза. Они остановились на распятьи

— Рыцарский доспех — в строю мужичьих вил и сапожных ножей... Они распнут вас, странствующий рыцарь... потому что вопреки всему вы останетесь рыцарем — для них... и для себя. Они распнут вас, ваши безымянные, раньше, чем вы сведете в жизнь вашу несбыточную сказку... Нет опаснее дороги, как тропа среди толп. И мне будет очень, очень больно... потому что, когда я думала об опоясанном сталью, я думала о вас... И если вы уйдете, мы останемся одинокими оба — вы и я. И друг против друга... А мы могли бы быть вместе! И так тесно вместе — я чувствую это сейчас еще яснее, чем раньше.

Она встала и подошла, огибая стол. Я поднялся. Тонкие, слабые руки доверчиво и мягко легли мне на плечи. Я взял их в свои, не снимая. Она наклонила мне к лицу белый высокий лоб и пепельные, густые, душистые волосы.

Портьера дрогнула. В дверях, придерживаясь за косяк, стояла старая баронесса. Губы ее что-то шептали. Что? Не понять: слова прошли шорохом. Но Магда обернулась. Она не сняла рук и ничего не сказала: только улыбнулась — обычной холодной и ровной улыбкой.

Слово было за мной. Я поклонился через плечо Магды.

— Вам нет причин тревожиться, баронесса. Цикл кончен.

ГЛАВА XIII

ПАЛЬЦЫ

В Москву я выбрался только восемнадцатого апреля. Явка: дом церкви Николая на Пыжах в Пятницкой части, квартира Лубковских, номер 2. Спросить Марию Аркадьевну. Спрашивать можно смело — паспорт чистый, потомственной дворянки; квартира отдельная, живут все свои.

Я простудился, должно быть, в поезде. Утром на вокзале, при посадке, голова была мутна — ровным, легким, мысль тяжелящим туманом.

Дом я нашел без труда. На пустом дворике у помойной раскрытой ямы, меж кур, копошился дворник. Он не обернулся на шаги. Под'езд под навесиком из вспоротых по швам, железных, проржавленных, забывших о краске листов.

Я поднялся. Колокольчик за стеной, на визгливой пружине, задребезжал пронзительным плачем: в пустоте. Странно: всегда по звонку слышно — есть ли кто в доме, или звонишь в нежилом. Медная, давно нечищенная ручка звонка, выдвинувшись, свисала из круглой оправы упрямым, жестким, прямым высунутым язıком. Ударом ладони я вогнал ее обратно и дернул опять, уже уверенный, что мне не откроют.

Звонок еще раз захлебнулся и замер.

Уйти?

Мария Аркадьевна — ведь это — наверное она, Муся. Не думалось, а сейчас так захотелось увидеть опять близко, близко — серые спокойные, солнечные глаза. Я стиснул зубы и с досадой рванул к себе дверь.

Она открылась. И тотчас черным огромным пятном метнулась в глаза у порога — густая, застылая кровь.

Я переступил порог, плотно притянув за собой двумя руками дверную створу. От входа — зигзагом по полу, к двери направо — в кухню, плита видна — пятна, пятна, пятна. У пустой вешалки, о три крюка, свернутое, испятнанное черным — полотенце. И от кухни к двери прямо напротив меня — такой же разорванной черной цепью — кровяной след.

Руки за спиной цепко держали дверную ручку. Я наклонился вперед, всем телом, и позвал тихо... не для ответа.

— Муся...

Взгляд шел медленно и остро по полу, от пятна к пятну. Пыль видна на сгустках. Вглубине, на пороге, оброненный кем-то окурок.

Я засунул задвижку и, на носках, быстро пошел. В тех дверях наклонился и поднял. Конечно же, не окурок. Палец.

Мизинец, тонкий и женский, с желтым прозрачным ногтем; из-под кожи — обрывки тугих сухожилий и острым зазубренным лезвием — кость.

Дальше — кровь опять, к столу, на столе, на розовом скривившемся абажуре. И клочья кожи у закрытой, у второй двери. Там!..

Я твердо нажал ручку: перчатки и так липки от снятой с того, входного, засова крови.

Пол по линолеуму взрыт черной воронкой, звездой размотавшей трещины, — к несмятой постели под белой накидкой, с высоко взбитой подушкой, под стул с опаленной шершавою спинкой, — вместо сиденья — дыра!.. под заваленный коробками и банками стол на кривых, исцарапанных ножках. По печи у двери, по кафелям — черные липкие струи. Стена — по узору обоев, по желтым букетам — обрывки мышц, сухожилий, костей, красноватые взбрызги. В черных крапинах — кровь и огонь! — белый потолок, низкий. Взрыв? Стекла целы. Нет и здесь. Никого.

У стола — головной платок, белый шелк, весь в крови; перекручен тугим тюрбаном. И пальцы, пальцы опять. Кусочки дробленых костей смешались с осколками жести. Пальцы и ногти.

Я вернулся почти бегом на кухню. Пусто. На кране, на раковине, на полке с посудой, на грязной, тараканьей стене — кровь, кровь. Тряпки — жгутом. Когда это было? Кровь растеками — давняя, тело забывшая кровь.

Еще раз — по комнатам. В той первой, мужской — под кроватью рыжие голенища сапог. В женской — нет ничего: ни книги, ни платья. Стол, под тяжелой бархатной скатертью. Банки и свертки... Крышка конфетной коробки. Ну да же, конечно. Я потрогал первый попавший под руку сверток на подоконнике. Зазвенело: стекло. Трубки с какою-то жидкостью. Жестянка. За свертками — тесно прижатая к раме медная ступка. Я не стал смотреть дальше.

Тихо. Как в горах, на снегу. Еще тише кажется от застылых, — огромными кажущихся — в'евшихся кровяными стеблями в дерево пола, черных спокойных луж.

— Муся.

От слова не стало громче.

Надо итти.

Я сбросил липкие перчатки. Клеймо: Morrisson, Petersbourg. Если найдут? Мой номер перчаток не частый.

Представилось ясно: магазинчик на Невском, полутемный, маленький, в одно окно — под огромной, растопырой нависшей над входом, золотой надутой перчаткой. И по черной вывеске золотом: «Morrisson». За прилавком — лысый, очкастый француз, отставив мизинец, брезгливо — над рыжей, измятой, в черных пятнах перчаткой: «Не вспомните ль, кто и когда?»

Вспомнит.

Поджечь квартиру?

Я посмотрел на свертки. В доме — живут.

Ладно. Пусть так и будет.

Я засунул перчатки в печную отдушину, осмотрелся еще раз. В окно белел, облупленной витою колонной, выступ церкви. Взял со стола газету: «Речь», питерская, от 14 апреля. Сегодня 19.

Обернув газетою руку, я, осторожно, стараясь не стукнуть, отжал задвижку и прислушался. За доской, на пло-

щадке — ни шороха. Я выскользнул, притворив дрогнувшую под рукой дверь. Двор был пуст. По улице дребезжали пролетки и, надрываясь звоном, несся трамвай.

Почесываясь, шел с селедкой в обрывке газеты дворник. Качнул головой, вошел в ворота. Я стоял у церкви. Паперть пустая. В землистой щели, меж раздавшихся камней ступени, — ребром забившаяся копейка. Не досмотрели нищие.

Кто-то окликнул.

— Барин, купите черемухи.

Сноп белых, терпко пахучих, чуть осыпающихся скрученными лепестками, веток. Я перекинул его через руку, на локоть.

Муся. Да Муся же!

. . . .

Я прожил еще три дня в Москве. Не знаю зачем. Партийной связи я найти не мог; да я и не знаю, стал бы я искать ее, даже если бы знал, куда итти. С гренадерами повидался в первый же день приезда, вечером. В Перновском полку, у Коли Толпакова. Он недавно женился на богатой. Большая квартира, новая, дорогая, бесвкусная мебель. Он говорил о революции, о нашем офицерском союзе и поглядывал на дверь в столовую, где стучала стаканами горничная в белой наколочке, в передничке с оборками. И в глазах у него было: испуг и тоска — от мысли о связанности со мной, с военно-революционной организацией; от сознания, что мы можем потребовать, чтобы он пошел, сказал, сделал что-то, чего он уже не может сказать и сделать, — потому что у него молодая жена и вязаные сеточкой скатертки на кругленьких лакированных столиках в гостиной, под фарфоровыми вазочками, и кружева на оливковом шелке кресельных спинок и белый хохолок горничной... На душе было зло. Я пугал его нарочно

необходимостью, неизбежностью выступления. Он поддакивал. И оглядывался на дверь. Собравшиеся офицеры — здешний гренадерский революционный кружок, человек семь — поддакивали тоже. И тоже оглядывались на дверь. Они ждали ужина.

Коля усиленно просил заночевать: диван в кабинете мягкий, тисненой кожи: постелить одна минута. И никаких хлопот. Я думал о черемухе на столе у меня в номере, о белом выступе церковной стены.

Под таким выступом меня расстреляют.

Мысль дикая... четкая — до безумия.

Первая, за всю жизнь, мысль о смерти. Тенью прошла, показала место. И опять нет. Теперь — до места — не встретимся.

И опять захотелось сказать вслух, как в тех комнатах, меж кровяных луж:

— Муся!

. . . .

Хозяйка говорила что-то, щуря ямочки на полных, пудреных щеках. Высокий капитан с лошадиным лицом по левую руку от меня упрямо наклонял к моей рюмке горлышко коньячной бутылки и спрашивал густым и радостным басом:

— Разрешите?

. . . .

Назначили собрание вторично, в расширенном составе, на завтра: если я, конечно, не уеду. Я не уехал. Но я не пошел. Я сидел в номере. Думал? Нет.

21-го под вечер коридорный, подавая чай, задержался у притолоки. Я поднял на него глаза: вид у него был беспокойный и искательный.

— В чем дело?

Он переступил на месте разлапыми татарскими ногами и вздохнул.

— Вам бы, ваше сиясь, развлечься. Второй день в номере.

Он нырнул ближе и добавил шопотом:

— Дозвольте барышню пригласить. Тут в двадцать пятом стоит. Не сказать! Все же удовольствие.

От этих слов словно сполз туман. В самом деле, глупость какая: не выходить два дня. Он, кажется, принимает меня за самоубийцу. И паспорт, наверное, уже проверяли. Какая глупость!

Я отодвинул стакан.

— Барышни не нужно, а насчет развлечения, это верно. Прими прибор. Я ухожу.

. . . .

К двенадцати я был в «Метрополе». Огромная, под стеклянным куполом, зала ресторана была почти пуста. Лишь по левой стороне заняты были три-четыре столика. Тоскливо и небрежно били по струнам смычки румын, в белых, черными и желтыми шнурами расшитых, распахнутых куртках. Лакеи кучкой скучали у пустых малиновых диванов. Я шел, выбирая место. Хотелось людей, и как раз — нет людей. Эти не в счет: жующие, толстые коммерсанты. И на всю залу — только одна женщина.

Проходя, я заглянул в лицо. Серые глаза, брови дугой. Под серым шелком английской блузки — молодые, крепкие плечи. Красивая? Нет. Я сел против нее, за соседний столик.

С нею — двое мужчин. Плохо одетых и хилых.

— Филе. Картофель тамберлик. Бутылку Мума.

— Extra dry?

— Ну, конечно же.

Я с жадностью пил холодное, тонкими иголками покусывающее язык и горло, золотистое и крепкое вино. Посетители прибывали. Качнулся, презрительно смерив

взглядом серую блузку, черный, страусовыми перьями засултаненный берет гологрудой знаменитой певицы, под руку с толстым, прядающим тупыми шпорами на низких каблуках, лысым во всю голову генералом. Скрипки ожили. Засуетились между столиками лакеи.

Девушка в сером встала. Сидевшие с ней повернули ко мне бледными казавшиеся лица. Она подошла легкой и быстрой походкой.

— Здравствуйте.

Смелым изломом — дуга бровей над ясными, до дна ясными, девичьими глазами.

Муся!

Слово не сказалось. Я смотрел на ее руки, на тонкие протянутые мне пальцы. Брови сдвинулись.

— Что с вами? Вы нездоровы?..

В висках стучало, мелко и дробно.

— Да, да, болен, должно быть. Я не узнал вас, Муся.

— Вижу, что не узнали, — засмеялась она. — Хотела и я не узнать, тем более, что... — она оглянулась бегло на зал и поморщилась. — Но дело такое...

— Дело?

— Ну да. Я ведь не знала, что вы больны.

— Я простудился, не больше. Просто с головой не ладно. Если дело, — выздоровлю.

Она пододвинула стул и села.

— Вы зачем в Москве? Дайте мне вина этого... если оно не сладкое... Чокнемся... — Она засмеялась опять. — Для конспирации.

— Это вы, в самом деле, Муся?..

— Да что у вас, бред, в самом деле! Почему бы мне не быть?

— Я подумал почему-то, что там, в Замоскворечьи...

Она дрогнула плечами и наклонилась. Глаза стали широкими, черными и жгущими.

— Неужели вы...

Я кивнул:

— Мне дали явку на Пыжах.

Она прикрыла глаза ладонью щитком и смотрела в упор.

— Как вы вошли?

— Дверь была незаперта.

Она спросила тихо.

— Там — страшно?

— Я нашел пальцы.

Веки дрогнули и опустились.

— У нее сломалась в руках запальная трубка. Левая кисть, три пальца на правой; грудь, плечо, лицо. Но они ушли. Она в больнице теперь, в безопасности, доктор свой.

— В безопасности! Первый кто...

— Она сказала: взорвалась бензинка. Вы были. Слава богу, значит еще не знают. Не ищут.

— Я думал: вы... — повторил я, прислушиваясь к глухому голосу. — Кто это был?

— Генриетта. Помните, у Виталия, перед Пресней? Кто вам дал эту явку? Безумие!

— Иван Николаевич.

— Быть не может! А впрочем... тем лучше.

— Почему лучше?

Из-под черного берета презрительно и пусто глядели на нас темные, завистливые, усталые глаза.

— Человек! Дайте еще флакон.

— Вот что, — Муся оглянулась на свой столик и кивнула:

— Сейчас иду. Я к вам подошла именно по Генриэттиному делу.

— Ее надо увезти?

— Нет... А если бы надо — есть человек, который... лучше вас это сделает. Дело — круче.

Она приподнялась и скользнула пристальными глазами по залу.

— Вы Дубасова в лицо знаете?

— Генерал-губернатора? — Я привстал, в свою очередь. — Где же он?

— Вы с ума сошли. Откуда он здесь возьмется? Я не о том.

Конечно же, не о том. Как я не понял сразу!

— Когда?

— Послезавтра царский день. Он обязательно будет в Кремле, в Успенском соборе, на торжественном молебствии. Не может не быть. В этот день его надо обязательно сделать. Потом когда-нибудь скажу почему, но вы должны поверить: о б я з а т е л ь н о надо. Все было подготовлено. Но Генриетта взорвалась — и все прахом. Ни готовых снарядов, ни людей... Иван Николаевич...

— Разве он здесь?

— Приехал вчера. Но от группы осталось трое всего; лучше сказать двое: Семен Семенович — химик. Метальщиков только два. А ворот из Кремля четыре. Вы понимаете? Четыре входа надо запереть, а людей — два.

— Но если поставить этих двух — у собора... Или у губернаторского дворца?

— Невозможно. Там охрана такая... Возьмут до удара, наверное. Надо еще двух метальщиков. Иван Николаевич вызвал меня...

— Вы разве в Боевой организации?

Муся посмотрела, прищурясь. Губы стали насмешливыми.

— Я пойду третьим, вы — четвертым. Да?

Она оперлась локтями на стол и опустила подбородок на скрещенные пальцы.

— Хорошо, что именно вы приехали. Иван Николаевич будет рад, что случай свел нас. Ведь один день всего остался — разве за этот срок найдешь? В Питере, как на грех, — никого. Иван Николаевич дал телеграмму в Финляндию, там человека три боевиков есть в резерве. Но поспеют ли... А теперь мы и без них сделаем.

Она подумала немного.

— Вы тех двух не знаете? Это — Пушкин и Лев, братья. Поговорите с ними: ведь послезавтра — вместе пойдем. Только...

Она запнулась.

— Досказывайте, Муся.

— Ничего. Сами поймете. Идем.

Она усмехнулась и кивнула в сторону зала.

— Слежка все равно есть. Разобьем по четырем — легче уходить будет.

. . . .

Братья пожали мою руку одинаково крепким и теплым медленным пожатьем. И лица у них одинаковые, несмотря на резкую разность черт; одинаково устало и примиренно смотрят глаза. Их прозвища: Пушкин и Лев. Прозвища — не по ним: не Пушкин и не Лев. Этим уже все, по существу, сказано. Я уже понял.

Пушкин заговорил ласково и тихо.

— Как все в жизни странно: вот вы — сидели, пили вино, может быть думали о чем-нибудь своем, о своей жизни. И вдруг подошла Муся. Вы сказали: да. Я не знаю, почему вы сказали. Но сказали. И все кончено. Смерть. А если не смерть — еще больше и хуже...

Почему смерть? Я глядел на Мусю, и мне казалось, что на руке у меня — белый сноп радостно и крепко пахнущей, солнечной черемухи, и небо над нами синее, и ветер свежий и морской дышит в лицо бодро и весело. Почему смерть?..

Пушкин улыбнулся тусклой улыбкой.

— Послезавтра — мы убьем. Когда вы подошли, я вдруг почувствовал: на этот раз наверное. Мы ведь четвертый уже раз выходим. Три раза — нет. Теперь — будет. Я знаю. Но смерть родит смерть. Разве можно жить после убийства? Есть, пить... иметь детей?

Он вздрогнул.

— Я думаю: только так и можно. Только тогда и оправдано убийство, когда вы смеетесь на крови.

Лев вскинул на меня вспыхнувшие удивленные глаза. Пушкин не слышал, наверно. Он говорил дальше — опять размеренно, медленно, спокойно.

— Я готовлюсь давно к этому дню. Для меня в этом дне — все. Вы видите, какой я. Другого способа послужить родине я не знаю, — для себя, конечно. Я не могу послужить — жизнью. Только смертью. И я иду. Я совершенно победил страх смерти: я спокоен и счастлив. И все-таки мне безумно тяжело сознание, что я становлюсь убийцей. И я знаю, я всем своим существом чувствую: с того момента, как мне на руку ляжет кровь — я не в силах уже буду отогнать призрак убитого; я буду видеть всюду бледное, мною обескровленное лицо, разорванное тело... Жить после этого? Нет. Мы — террористы, не можем жить: мы все из мертвецкой.

К столику подошел лакей. Он замолчал, пока тот расставлял небрежно и торопливо кофейные чашки.

— Если мой снаряд не взорвется...

Я перебил его.

— Где мое место?

Лицо стало другим: от скул быстро и жарко побежал румянец. Он — красивый, Пушкин.

— Из Кремля четыре маршрута, — он наклонился к столу и потрогал меня за рукав. — Через Никольские ворота, через Троицкие, через Боровицкие, через Спас-

ские. Стоять — на Тверской, на углу Воздвиженки и Неглинной, на Знаменке, в Козьмодемьяновском. Я буду на Тверской — от Никольских ворот до Тверской площади. Это место за мной. Я знаю, что это лучшее. Но я заслужил. Спросите Бориса, спросите Ивана Николаевича. Из остальных — выбирайте любой.

— Я — у Троицких, — закрыв глаза, проговорил Лев.

Муся сломала спичку и спрятала под стол руки.

— С головкой — Козьмодемьяновский, без головки — Знаменка. В которой руке, Михаил?

— В левой.

— Козьмодемьяновский.

Лакеи спешно отодвигали стулья у соседних пустых столиков. Две компании подозрительно-прилично одетых молодых людей, слишком шумно переговариваясь, занимали места. Это уже серьезнее.

— Надо вы-би-рать-ся, — тихим распевом, не глядя на меня, говорит Муся, разливая кофе. — Не вышло бы чего. И в том углу такая же публика. Как бы не взяли. Подсчитайтесь, чтобы не ждать сдачи. Как только они навалятся на закуску, деньги на стол — и идем.

Пошли. Все четверо сразу. Но уже в прихожей нас нагнало несколько человек, тужа шеи из непривычных высоких крахмальных воротничков.

— Лошадь!

Оскал серой опененной морды — в блеске фонарей у под'езда. Человек в галунах заботливо подсаживает.

— В «Эрмитаж»! Трогай.

Сразу рванулся с места серый в яблоках рысак. Пушкин на тротуаре раскуривает папиросу. Какие-то люди в котелках машут. К под'езду катят две пустые пролетки.

Ходу!

Те двое за нами в угон

Уйдем!

Лошадь бьет широким могучим размахом копыт по булыжнику.

Наддай, наддай!

Щелкают тугие, натянутые вожжи. Копыта метят путь мимо затушенных фонарей.

Улица за улицей. Сзади далекий еще, но торопящийся к нам, назойливый топот. Рысак снова набирает ход.

— По переулку направо. На Николаевский вокзал.

Вожжи щелкают. Мягко качают рессоры.

С вокзала я вышел через четверть часа. Один. Без провожатых.

Я хорошо запомнил: завтра в три, на Тверской, в Филипповской кофейне. Или она, или Иван Николаевич. На Козьмодемьяновский — послезавтра в десять.

ГЛАВА XIV

КРЕМ

Завтра с утра — на охоту.

Скверно подменять этим словом — звучное и хорошее слово: террор. Но ведь террор — это для других, для тех, кто смотрит и слушает, для тех, кто будет потом читать в книжках об этой крови; а для тех, кто убивает — это только охота. Человек скрадывает зверя, зверь скрадывает человека. Кто первый?

Завтрашний день — странный. Тема для баллады.

В городе — большом, многомиллионном, самом обыкновенном, торговом, мещанском, где ходят по улицам тысячи, торопясь по делам, — сторожат на перекрестках — невидимкою — застылые мертвецы, держа смерть на туго натянутой ременной своре. Идет — не идет красный зверь на мертвецом запечатленный лаз? Среди этих охотни-

ков — один живой, с такою же смертью на своре. На кого выйдет зверь — на живого или на мертвого? Ждут. А в оставленном склепе тихо хохочет, у раскрытых могил, кто-то тяжелый, лукавый и мудрый. Послал, поставил, смеется. Мертвый будет мертвым, живой — живым. Спустит смерть — сразу станет видимым. И сейчас же конец. Смерть? Или это называется иначе?

В нашей завтрашней балладе на двух мертвецов — два живых. Впрочем, Лев жив еще, исподтишка, крадучись.

Чья рука крепче?..

. . . .

У Филиппова в три — толкотня. Но сразу признал я — за далеким круглым мраморным столиком — жесткую голову в сдвинутом на затылок, низком модном котелке и подошел. Иван Николаевич ел пирожное, торопливо подхлюпывая отвисшими губами отекавший из раскушенного бисквита крем.

Я спросил лакея, стоявшего у столика:

— Место свободное?

Он просительно оглянулся на Ивана Николаевича. Тот небрежно кивнул. Я сел.

И почти тотчас подошел к нам рассыльный, с поклоном, держа на отлете красную форменную фуражку; он передал Ивану Николаевичу перевязанную лентой конфетную коробку с пучком ландышей, заткнутым за перевязь. Иван Николаевич, сопя, вынул бумажник, дал три рубля. У посыльного — бородка клинушком, рябины под левым глазом и на носу. Глаза карие: глянули в мои, как знакомые.

— Спасибо, Семен Семенович.

Красная фуражка кивнула в руке, в такт поклону. Посыльный накрылся, усмехнулся, оглядел кофейную, притаптывая пошел к выходу. Иван Николаевич перело-

жил осторожным движением коробку со стола на пустой стул, между мной и им.

Мы молча пили кофе. Гулко хлопала дверь: входят, выходят. Знакомых лиц не было. Иван Николаевич доедал — уже третье при мне — пирожное с кремом.

Наконец, он отер губы треугольной бумажкой с узором, расплатился, встал и ушел. Коробка осталась рядом со мной, на пустом стуле.

Он не посмотрел на меня. Но когда уходил, проговорил про себя, отрывисто и тихо:

— На весу.

Я чуть было не сказал ему, со зла: «Знаю».

Я ушел вскоре за ним, вспоминая, как проносил сквозь толчею в проходах между столиками конфетную коробку посыльный. Я принес ее в свой номер, в Большую Московскую. На вес в ней было около шести фунтов.

ГЛАВА XV

«1 АПРЕЛЯ»

Солнце и тротуар. Переулок, всегда людный, был на сегодня пуст. В выбоинах мостовой — радужные, недвижные, весенние лужи. Вдоль корявой линии домов, не ранжированных по росту, оседающих стеклами магазинных витрин, больших, малых, пустых, зарешетченных, — торчали на палках праздничные флаги. В три цвета: белый, синий, красный. Я ходил вдоль тумб, сторонясь случайных торопливых прохожих, и считал: «Синий, красный, белый; красный, синий, белый». Снаряд — «на весу» — тянул руку. И душу тянула мысль о нелепости этой маршировки по пустому, покатому, ухабистому Козьмодемьяновскому, с бомбой, способной взорвать к дьяволам весь этот, еще хрипящий поздним

праздничным сном, замертвелый мещанщиной квартал...

«Лаз» казался мне обреченным: зачем сюда, в об'езд, занесет Дубасова? Вечная история диспозиций. Зачем они меня загнали сюда спичечной головкой?

Я вышел на Большую Дмитровку. Здесь было люднее.

Сразу же по сапогам, нелепо поддетым голенищами, под проутюженные клетчатые брюки, по заспанным немытым глазам, по рыночным панамам опознал двух филеров. Это меня успокоило: по их позам, по ленивому потягиванию ног плитняком тротуара от Козьмодемьяновского до площади и обратно, ясно было, что они не на слежке, а на охране; что они «держат улицу». Значит, возможность проезда есть: кого сейчас сторожить на проезде, кроме генерал-губернатора?

Пешеходы шли, шли, спуском к центру; коробка с лентой, с увядшим пучком ландышей била в глаза. Почему обязательно конфетная коробка? Сила шаблона. Даже здесь.

Я дошел до площади, пропустил вперед себя шпика и пошел за ним по той стороне тротуара. Второй филер, поставив ногу на подножку пролетки, беседовал с извозчиком на углу, беспрерывно сплевывая. Трое разносчиков, покачивая на головах лотки, прошли мимо, скосив, как солдаты по команде, глаза на меня. Значит, еще? Стало весело.

В сущности, странность. И не баллада уже, а самая достоподлинная жизнь: люди живут, едят, пьют, любятся... «имеют детей», как Пушкин говорит, а среди них, другие — такие же люди, — переодетые, перекрашенные, крадутся, охотясь друг за другом, пробираясь сквозь толпу, как сквозь кустарник. Ведь для нас и для них это не живая толпа, не люди, а именно кустарник, за-

росль, лес, и жизнь этих людей — жизнь леса, бескровных деревьев... Не человечья, не «настоящая», как наша, жизнь.

Я остановился у фонаря. Филер, тот что с извозчиком, вынул часы и поспешно отлепился от подножки. Глухой удар тупым и тяжелым гулом встряхнул воздух. И тотчас, следом — второй.

Кто-то сзади меня сказал густым дьяконским басом:

— Многолетие царскому дому.

Еще удар. Третий.

Обедня отошла. Салют с Тайницкой башни.

Филеры спешили к площади, вниз. Я отступил через улицу — в Козьмодемьяновский, на лаз, в засаду.

Салют отстучал. При каждом выстреле я видел четко: древнюю красную обомшелую башню, старинные, временем отертые, бронзовые дула — торчком меж чудесных зубцов — и белые кружки безвредного пушечного дыма, выскальзывающие из жерл и пятящиеся, словно кто их ладонью отбил, назад, в бойницы. А ведь только один раз я видел тайницкий салют: ребенком.

Упруго взметывая колеса на тугих рессорах, пронеслась вверх по Дмитровке щегольская узенькая пролетка: серый полицейский чин. На секунду мелькнули, мигая поворотами вправо и влево, подбритые котлетками бачки. Это становилось серьезно. Я перенял коробку в правую руку, короткой стороной в ладонь, торчком. Вялые ландыши рассыпались из-за ленты, роняя побурелые колокольчики. С угла от меня было видно: по площади, сворачивая на Дмитровку и дальше, проездом к Петровке рысили пролетки и коляски. Гон пошел!

В переулке пусто: только солнце и тротуар и трехцветные флаги, прикрюченные к стенкам домов: закрыли, должно быть, проход от Тверской. Твердо, растопыря ноги, стоит прямо насупротив меня филер в белой па-

наме, извозчик подобрал вожжи, и настороженно высматривают в просеки ворот белые фартуки и рыжие бороды дворников.

Экипаж за экипажем.

Нет.

. . . .

Двенадцать десять.

Причмокивая, тронул лошадь, затрусил бочком на облучке, порожнем, извозчик. Панамы, под руку, завернули в проулок; там, на дальнем углу, разносчики собирали лотки.

Мы свой акт — отыграли.

Я иду медленко по Козьмодемьяновскому под чуть полощущимися в воздухе линючими тряпками флагов. Я все-таки рад этим двум часам.

От Тверской, лентами по обоим тротуарам, заспешили люди: кончилось время, пропускают. Издалека и сразу — узнал Мусю, под темным, тисненным цветом расцвеченном платке, в кацавейке, с корзиной на руке. Столкнулись, грудь с грудью.

— Дайте коробку.

— Зачем?

— Слушайтесь, когда говорят.

Она приподняла ткань, прикрывавшую корзинку, — я погружаю коробку в подсолнухи, под граненый стаканчик с толстым, губастым краем.

— Дальше, дальше, до самого дна.

— Там что-то есть.

— Второй.

— Тяжело будет?

— Вздор. Ступайте к Филиппову.

— А вы?

Чуть нахмурилась.

— Идите, некогда.

— Почему неудача?

Муся пожала плечами.

— Проехал через Троицкие. Мимо Льва.

— Отчего же...

— Помешало что-нибудь. Ну, идите же. Ивану Николаевичу скажите, что видели меня.

— А вы?

Она кивнула.

— Он вам скажет.

Разошлись. Я смотрел вдогон. Она не обернулась до перекрестка.

Двенадцать двадцать.

Я думал, мертвецы будут цепче. Его высокопревосходительство завтракает сейчас.

Площадь. Мимо портика пожарной части я выхожу на Тверскую к генерал-губернаторскому дому. Черным с белым покрашенная рогатка, полосатая будка часового у под'езда. По панели сплошным густым потоком накатывается на плечи праздничная, неторопливая, отдыхающая после под'ема по Тверскому взгорью толпа.

Я сошел на мостовую и ускорил шаг, в обгон.

— Осади!

Толстые пальцы в белой вязаной перчатке уперлись в плечо. Обернувшись, увидел: круглые, омертвевшие от усердия глаза околоточного, вытянувшиеся в струнку черные с красным фигуры городовых, картуз дворника над намасленными прямыми волосами. Из Чернышева переулка, мягко огибая угловую тумбу, выехала тихой рысью коляска с напруженным, нависшим посылом над вожжами, бородатым кучером. Георгиевская лента в петлице черной шинели, черные орлы на золотых погонах. Дубасов.

Широкая только что толпа — узенькой ленточкой вдавилась в цоколь домов, отхлестнулась на площадь; на опустелой улице монументами застыли во фронт, рука у

барашковой парадной шапки, городовые и околоточные. Дубасов поднял руку, отдавая честь. Рядом с ним — офицер в незнакомом драгунском мундире: старое лицо, корнетские погоны. Он щурил беспокойные глаза, оглядывая улицу. Словно искал кого-то. Глаза блеснули. Нашел.

От тротуара, от людской ограды,— с того перекрестка, где аптека, — быстро, почти бегом, пошел флотский офицер. Коляска катилась к под'езду. Драгун, обернув голову, смотрел на нагонявшего коляску моряка. И вдруг встал, сбросил ногу неловко, углом, на подножку и, откинув полу — быстрым и страшным движением засунул руку в карман. В тот же миг и я увидел: коробка, ленты накрест, букетик ландышей... Он!

И сразу все стронулось с места. Рванули лошади, шарахнулась толпа, драгун в коляске выдернул черный длинный ствол, треуголка Дубасова качнулась над крылом коляски... Не в счет! Драгун и моряк. Только все — между ними.

Тах!

Две руки над головой. Белая коробка ударила о мостовую, под подножкой, в двух шагах от подбежавшего моряка. И тотчас черно-желтый, воронкой завившийся столб дыма, камня, железа, разорванных мышц... Га! Пальцы, пальцы!..

Звеня, бились о булыжник стекла. Пронзительным криком кричал, держась за лицо, часовой у рогатки. Бешеным плясом били, где-то за дымом, копыта. Дым расходился, оседая на мостовую черною тягучею лужей: на месте, где взорвалась бомба.

Пушкин лежал ничком, без фуражки. Верх черепа сбит. Мозг.

И почти рядом — груда без рук и без ног, обрывки амуниции и мяса. Осколки ребер — сквозь прожженный

мундир, осколки зубов — сквозь разорванные губы. Снаряд лег под ним.

А на той стороне, горбясь и припадая, как воробей на подбитую ногу, — прыгал смешно и позорно старик в оборванной лоскутами шинели, с черно-желтой георгиевской лентой, без шапки. На черно-желтом, как дым, лице — красные крапины крови и белые, как изморозь, зрачки.

Уйдет! Добить нечем.

И вправду: уже бежали по тротуару навстречу старику бледные, машущие руками люди; прикрыли, подняли, понесли, внесли в под'езд. Неведомо откуда взявшийся жандармский офицер, выпячивая грудь, тряся белым султаном на шапке, хрустел подошвами лакированных сапог по битому стеклу.

— Оцепить!

Из дома, из-за рогаток, позвякивая ружьями, выбегали солдаты. Сбившаяся против дома толпа рассеялась: вверх и вниз по Тверской, горохом через площадь, во все стороны метнулись бегом уходившие люди. Городовые, размыкаясь в цепь, бросились наперерез.

Толпа донесла до кофейной. Я вдавился в нее с десятками других людей, уходивших от погони. За нами в дверях засерели пальто полицейских.

— Займите места. Приготовьте, господа, документы.

Я ушел вглубь, к окну на перекресток. Сел.

— Кофе, пирожных с кремом.

Лакей посмотрел на меня ошалелыми глазами. Не ответил. Снова отвернулся к зеркальному огромному окну.

Цепь солдат, цепь городовых. На торцах — труп и груда..

— Ваш документ.

Кого-то обыскивали, кого-то уводили.

Знает ли полицейский офицер геральдику, как знает ее Ригельман?

Он прикладывает руку к козырьку и возвращает почтительно паспортную книжку.

Кофейная пустеет. В окно ничего уж не видно. Тротуар, солнце, далекая на углу цепь солдат. Лакеи приносят кофе и пирожное.

Ивана Николаевича нет. Я хорошо видел всех, кого уводили. Я сижу по наружной стене: дверь перед глазами, в профиль.

— Здрась-те.

Я не сразу признал бородку клинушком, рябины под левым глазом и на носу. Семен Семенович. Химик. Посыльный. Но сейчас он не в красной фуражке с номером. Он в мягкой итальянской шляпе с шелковистым полем, палка с набалдашником, синее добротное пальто.

Он присаживается. На губах — улыбка, но щека дергается легкой, настойчивой, размеренной судорогой.

— Видели?

Я кивнул.

— Жалко, промах.

Он поднял брови.

— Промах? По-моему — дуплет.

— Дубасов жив.

Карие живые глаза сощурились насмешкой.

— Это еще бабушка надвое сказала: то ли выкрутится, то ли нет. А Коновницына как!

— Это — драгуна? Так он же не в счет.

— Граф Коновницын? — удивленно спросил Семен Семенович. — Видно, что вы не москвич. Граф Сергей Николаевич, помилуйте: черносотенец первой степени. Организатор и руководитель всех здешних черных. «Кружок дворян, верных присяге» — у него на квартире. Монар-

хическая партия Москвы, Союз русского народа... Активнейший реакционер. Ведь он, знаете, по собственной воле начальником охраны к Дубасову пошел: не столь охранять, сколь поддерживать в нем бодрость погромного настроения. Он сам по себе стоил заряда. Пушкину повезло: по двоим, и самого на месте.

— Да, повезло.

— А что же?.. В этих делах проволочка — муки душевной сколько. А тут, по крайней мере, сразу. — Он помолчал и прибавил: — А ведь мог пропустить... Если бы он вниз по Тверской спустился, на тот конец участка. Дубасов проехал не по его маршруту, а по маршруту Льва.

— Мне так и Муся сказала. Отчего он не ударил, как вы думаете?

— Пропустил, вероятно. Это бывает от напряжения. А может быть, и ударил.

— Было бы слышно.

Он качнул головой.

— Нет. Ведь, дело прошлое: у него не было снаряда, у Льва.

— То есть, как не было?

— Да, так. Вы знаете, что Генриетта взорвалась?

— Знаю.

— Ну, вот. Я за эти дни успел приготовить только две бомбы. Занять надо было четверо ворот, — пришлось дать два... ну, бутафорских, что ли, снаряда. У Льва не было динамита.

— Так зачем его ставили?

— Как зачем? Вы повадок охранки не знаете. Если бы он бросил, Дубасов обязательно свернул бы с этого маршрута — и наехал на настоящую бомбу. Обязательно бы свернул: по той дороге они бы ждали еще метальщиков.

— Так, может быть, Лев и бросил, раз адмирал выехал на Пушкина.

Семен Семенович сморщился недовольно.

— Да нет! Не должно быть. Адмирал проехал по маршруту Льва. Чорт знает, как его угораздило выехать на Тверскую. Обычно с того направления он в'езжает в ворота с Чернышева. Я вам говорю, это другой маршрут.

Мы помолчали.

— А он знал, что у него бомба пустая?

Семен Семенович рассмеялся.

— А вы знали?

Я до крови закусил губу.

— Значит вторая — у меня?

— Обязательно. Настоящие были у Пушкина и у Муси.

— Она знала?

— Что вы! Разве такое можно говорить до времени? Только я и Иван Николаевич.

— А он где сейчас?

— Вчера вечером уехал. И вы уезжайте. Вы в гостинице? Это нехорошо. Теперь будут строгости. Мало ли что. Обязательно уезжайте сегодня же вечером.

— Как мне Мусю найти?

Лицо Семена Семеновича с'ежилось и стало злым. Он медленно достал пенснэ и надел его на нос.

— Не знаю. А вам, собственно, по какому делу?

— Она сказала мне, что мне здесь дадут ее адрес.

Он улыбнулся снисходительно, кося глаза сквозь стеклышки.

— Сказала, чтобы отвести вопрос. Вы, очевидно, настаивали: ей неудобно было отказать прямо. Получится вроде недоверия.

— А теперь что получается?

Он слегка развел руками.

— Сейчас — нет. Я с совершенной прямотой говорю: адреса ее и сам не знаю. Так, случайно слышал, что где-то на Тверской. Но ведь она во — какая, Тверская-то. И как прописана она — не знаем, ни вы, ни я. Придется примириться с этим. Вы первый пойдете? Или... — он улыбнулся опять с нескрываемым ехидством, — или подождете еще?

— Подожду еще.

— Счастливого! — он дотронулся до края шляпы и пошел к выходу. Я отвернулся к окну.

Солнца не было. Тротуар. Солдаты.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I

КРОНШТАДТСКОЕ ПОДПОЛЬЕ

Качало. На запруженной, тесной, загаженной кульками, ногами, подсолнечной кожурой палубе — кучками вперемежку матросы и богомолицы. И от богомолиц, елейных, всхлипывающих уже предвкушением отца Иоанна Кронштадтского, и от матросов, сумрачных возвращением с минутной воли в затвор казармы, — еще нахмуренней, еще пасмурней чернобортый, чернотрубный «Котлин».

И море — хмурое, пасмурное. Зло рябятся накатом от горизонта зайчики на гребнях подхлестывающих под борт парохода волн.

Белесою дымкою окутаны город и дальние, чуть видные над водой темные форты. Над дымкой, словно оторванный ею от земли, тусклый золоченый колпак соборного купола.

Приблудший псаломщик в протертом подряснике, качаясь в такт крена, раз'ясняет богомолицам, пяля в воздух замотанные нитками по оправе очки:

— Вознесся небеси-горе... В небо возносится кумпол он-т молитвами отца Иоанна. Взвиснет — и паки и паки водрузится на столпы... От чуда того воздух во храмине — синь.

И шмыгает носом...

. . . .

На корме, у свернутых кругами канатов, перетаптывается среди матросов Барсучок — агитатор питерской военной организации социал-демократов. С ним мне уже приходилось встречаться и раньше на Кронштадтской работе. Не первый раз едем вместе.

Из конспирации мы не разговаривали весь рейс. Только сейчас (пристань уже на виду) он подходит, подгибая зачем-то голову под полощущим высоко над нами, потрескивающим сухим брезентным треском, тентом. Он опирается обеими руками о бортовые перила рядом со мной и говорит тихо, не глядя — будто не со мной разговаривает, хотя поблизости никого нет: публика уже перебирается толкучкою к трапам.

— Вы на гарнизонное, тоже? Скажите, по-вашему: у меня вид совсем, как нужно? Пустят?

В Кронштадте сейчас, по революционному времени, не только проверка паспортов на пристани, но еще и хуже — жандармская «цензура впечатления»: подозрительных не спускают на берег, хотя бы у них и были в порядке паспорта. Подозрителен всякий плохо одетый. Агитаторам при поездке в Кронштадт приходится подтягиваться по части костюма.

Я осматриваю Барсука: увы! Его костюм — рыжая клетчатая пара — явственно ему не по росту. Из коротких рукавов чрезмерно далеко вытягиваются бумажные пестренькие манжеты, над стоптанными башмаками торчат белые тесемки кальсонных завязок и целым дюймом выше — бахрома обтрепанных брюк.

— За камер-юнкера не примут, Барсучок.

— Вот! Я же им говорил, — негодующе отрывает руки от перил Барсук. — Я же им говорил: чтобы в Кронштадт ездить — надо шикарно. Так, как мы всегда ходим

и как на заводы можно — туда нельзя: там — военное положение. А комитет дал двенадцать рублей, и чтобы один костюм на троих. Я вас спрашиваю: можно купить шикарный костюм за двенадцать рублей, хотя бы и на Апраксином рынке? И как быть на троих, когда Марк мне головой до плеча: эти брюки он себе подвертывает. Разве жандарм не имеет глаз? И разве он не может отличить бумажной манишки от полотняной?

— Ну, не так страшен чорт, как его малютка. Проскочите, Барсучок. Котелок вывезет, у вас в этом котелке вид такой... мелкоторговый. Это очень благонадежно, вы знаете.

— Нет, правда так? — обрадовался Барсук. — Ведь обязательно надо быть сегодня на гарнизонном. Комитетские говорят: «тратить деньги на манишки — нет! Это уж пусть эсеры делают». Но если в хорошем платье легче? Экономия? Зачем? У организации есть достаточные деньги.

— Деньги на другое нужны. С оружием-то и у вас плохо?

— Что значит оружие, когда у нас военная организация? Разве она не должна уметь взять оружие сама?

. . . .

Со сходен — сквозь строй. Полиция, жандармы, откровенные, звания своего не скрывающие, филеры в котелках, в обшарпанных и пыльных брюках. Барсук шел передо мной: в десять глаз осмотрели его котелок, брюки бахромкой, треснутый башмак под густым слоем свежей ваксы. Жандармский вахмистр мигнул бугристым носом, встопорщил усы и пропустил нас, не спросив документа.

Пристань длинная; лениво плещет под сваями замутненная берегом, усталая вода. Семенят в обгон торопливо богомолки с узлами. На улице, у вереницы лотков

с папиросами, семечками, маковниками, бубликами — два матроса в синих выходных форменках. Один — Николай Егоров, из гарнизонного комитета. Он подтолкнул чуть заметно локтем второго, с гармонией подмышкой. Улыбаясь щербатым, кривым ртом, матрос растянул мех: гармония ухнула плясовым напевом:

Прет японец да ниоткуда,
Ждет Миколка с неба чуда.

Он повернул, притопнул и стал уходить с Егоровым, взбрасывая, наигрышем, над правым плечом, пальцы на ладах гармонии. Мы с Барсуком, шагах в десяти друг от друга, шли следом.

На втором перекрестке песня оборвалась. Матросы свернули в боковую улицу. Они шли, не оглядываясь.

. . . .

В Кронштадте кроме казарм почти нет больших домов. Но этот дом — большой. Из-под глубокой приземистой арки ворот виден широкий, ровными серыми, высокими корпусами, по-казарменному обстроенный двор. Гавкнула собака, поджав обвисший свалявшейся шерстью желтый хвост. Дверь, под аркою самой, хлопнула за матросами. Из подвального помещения, где над квадратной облупившейся рамой окна косо торчала жестянка — «Дворницкая», — торопливо высунулось бородатое, мятое лицо, ловя глазами Барсучью спину: он входил за Егоровым. Окликнет сейчас: «К кому?» Но он не окликнул: засунулся снова в подвал. Я прошел в свою очередь.

Лестница — «черная», помойная, пропахшая капустой и едким кошачьим запахом. Сверху по липким крутым каменным ступеням топотали быстрые и легкие матросские шаги.

На площадке, чуть выше четвертого этажа, у желтых чуланных дверок, Егоров дожидался нас. Отсюда — узенькая, деревянная уже, без перил, тощая лесенка.

— На чердак?

— Нет. Тут, надо сказать, особое приспособление: не квартира, а прямо признать — клад.

Мы поднялись в узенькую дверцу. Пыль, темень. Стропила и балки.

— Вы подогнитесь, однако, товарищ Михаил. Тут вам окончательно не по росту: крысий манеж.

— Осторожно, приступка.

Спустились. Опять поднялись по шаткой, скрипучей лесенке.

— Здесь.

Егоров осторожно стукнул в стену, у черной щели. Выждали. Щель дрогнула, стала шириться, поползла на нас. Ударил свет.

Дверь открыла Даша. Солнце — из окна сзади, за спиной ее; венчиком, как на иконах пишут, просвечивают пушащиеся вокруг головы волосы. Платье голубое, ситцевое, с крапинками, по-мещански. На шее, худой и высокой, косынка.

Глаза посветлели. И как будто выше стала ростом здесь, на Кронштадтском подполье.

— Ты отчего вчера не приехал, с Яном?

— Поздно дали знать.

— А мы ночью посовещались уже, — она глянула многозначительно. — О главном.

Кухней (в кухню впустила нас Даша) проходим на «чистую половину»: большая, в два окна комната, но окошечки маленькие, одностворчатые; потолок — косой: крыша. Из комнаты сени и выход на другую лестницу, к другим воротам, не тем, которыми мы шли, — в этом и есть особое удобство для собраний: половина — одним ходом, половина — вторым, многолюдство в глаза не бросится дворнику. Дашина квартира приспособлена поэтому под собрания особой важности.

В комитете десять человек выборных от солдат и матросов. Но сегодня гораздо больше: из-за Онипки, очевидно. Не каждый день бывают в Кронштадте думские депутаты. А Онипко, к тому же, не интеллигент: свой.

Он сидит, почти посреди комнаты, длинный, громоздкий, нескладный, по-крестьянски уложив на колени огромные ладони волосатых рук. Гарнизонные — человек двадцать — вокруг, на лавках, стульях, на полу, стоймя. На столике около Онипки, на белой, крестиками вышитой по закраинам скатерти — рюмки, селедочные головы и хвосты, растрепанные по блюду; остатки пирога, хлеб ломтями; у Онипкиных ног — четверть водки. Декорация на случай налета. Сегодня, не в пример обычным заседаниям, нужно: очень много народу, притом есть приезжие.

Председательствует Ян. На неподвижном, иссеченном глубокими морщинами лице остро смотрят из-под опавших, словно полусонных век серые знающие глаза.

Мы с Барсучком прилаживаемся на узкий, царапающий расщелинами подоконник.

Онипко, переждав, продолжает прерванную речь.

— До осени, стало быть, ждать, товарищи, настоятельно надо. Не терпится, знаем! Легко ли терпеть... Нигде такого надругательства нет над людьми, как во флоте: в тюрьмах — и то, ежели тюремщик не вовсе зверь,— и то уважения к человеческой личности больше. Трудно терпеть. Особливо теперь, когда вы сорганизовались, силу свою чувствуете: великую силу об'единения, когда все за одного и один за всех. И все-таки — надо переждать. Придет ваше время, товарищи, теперь уже не долго. До осени. Как крестьяне жатву снимут, так мы и подымемся — все сразу, всей Россией. Сейчас крестьян не поднять, пока урожай не снимут, нипочем не поднять. Ежели сейчас выступите — без поддержки — неудача будет, и от нее — всему делу срыв. Ведь вы — на революционном

нашем фронте великая сила. Решение ваше о том, чтобы выступить немедля, теперь же, — необходимо, товарищи, отменить.

— Отменить! — вскинулся Егоров от притолоки. — Ну, это, товарищ Онипко, как сказать... Комитет гарнизонный тоже не зря решение принимал: обдумано.

Мы с Барсуком переглянулись: так вот зачем нас вызвали спешно: они постановили выступать!

— Говорили уже, — откликнулся с полу сумрачно матрос. — Но доводов наших ни товарищ Онипко, ни Ян, ни другие партийные не принимают. Пока в других пунктах силу накопят.

— Пока в других накопят, наша растратится! Организацию строить — не камни в подвал класть: камень лежит, а организация — тёком. Сегодня есть, а завтра, глядишь, убыль.

— Когда убыль, а когда и прибыль, — поднял Ян каменные веки.

— Не знаю, как по другим местам, — перебил Егоров, — а у нас убыль, определенно. Месяц, скажем, назад: с нами и крепостные были, и артиллеристы, и енисейцы. А сейчас, вон спросите Митеева, как у них, в крепостной?

Артиллерист кашлянул в руку.

— На фортах, как бы сказать, полагаем попрежнему. Форт как был, так и есть: вода да камень. Жизнь в нем — скушная. Но в городе, с послаблением устава, надо признать: вовсе перестал слушать солдат.

— А разве режим ослаблен? — поглядел на Яна Онипко.

— А как же, — отозвались сразу из разных углов. — Пища не в пример лучше... И с обращением стало — куды! Отпуска — тоже: раньше, видишь ты, отпуск полагался в праздник только, притом из сотни на десять человек;

а сейчас — окроме праздников, в будни, да по двадцать на сотню.

— Предлогу меньше.

— То-то и есть. А народ, знаешь, тоже со всячинкой... Иные которые и сейчас уже говорят: «Спасибо и на том, как-нибудь проживем и без бунта». Те особо, коим срок подходит. «Дотерпим, — говорят, — а эдак допрыгаешься до каторги, а то и до пловучки».

— Пловучки этой у нас боятся — страх! Даром, что там дисциплинарный всего, а на повер — хуже каторги.

— Женатые тоже пятить стали. Жены свербят, по нынешнему времени: ты на семейные квартиры только сунься.

— Вот, а вы говорите — до осени! Выступать надо, пока на убыль вовсе не пошло. А ежели да провал? Что нас — в экипажах начальство не знает? В Баку так-то было уже: прособирались — начальство скорее собралось. Мы пока прикидывали — раз! Кого куда. Меня вон на Балтику угнали: с моря на море, через весь конец земли.

— Засудили щуку, — прыснул примостившийся у меня под ногами минер. — Из ведра да в озеро!

— Провокация, конечно, всегда возможна, — снова заговорил Онипко. — И беречься ее необходимо, усильте конспирацию и будьте осторожны. Но из-за этой опасности не взрывать же организацию раньше времени и итти на явный неуспех.

— Почему неуспех? — поднял глаза Глебко. — Товарищи правы: во всех частях, в пехоте и артиллерии особенно, обозначается как бы поворот. И у нас, в шестнадцатом экипаже, тоже. Но пока еще, как бы лучше сказать: совестятся еще отходить солдаты. Как сговаривались всем встать, хотя бы до смертного конца, так теперь отречься от того слова совесть зазрит. Сразу не оторваться. А

ежели помаленьку — отойдут. Совесть-то, она у человека — уговорливая...

— Верно говоришь, Глебка! Хотя б енисейцев взять. То, прямо сказать, первые были. А ныне...

— Совсем отошли? — тревожно окликнул с подоконника Барсук. — Ведь еще на прошлом заседании были енисейцы.

— И сейчас есть, — пожал плечом Егоров. — Да радости с того мало. Белорусс, докладай об енисейцах.

Белобровый, голубоглазый. Встал, обдернул гимнастерку и протянул однозвучным и не по-солдатски тихим говорком.

— Нашего командира треба убиць. Без того — ничего не буде.

Онипко нахмурился. Даша потупилась, разглаживая платье дрогнувшими худыми пальцами.

— Зачем вы так, товарищ...

— Треба убиць, — упрямо повторил Белорусс. — Он чорту душу продау.

— Все офицеры, ежели так, чорту душу продали, — скривил губы Егоров. — Всем им одна дорога!

Даша пристально посмотрела на Егорова.

— Вы опять за прежнее, Николай! Исполнительный комитет вынес уже по этому поводу решение.

Глаза Егорова потеплели под Дашиным взглядом. Ласково дрогнули, тонкой щеткой небритых волос оттененные, губы.

— В вас от святости вашей жаль к ним, товарищ. Как у Христа к кресторазбойнику. Но постановление вы толкуете произвольно. В постановлении сказано как: «По возможности офицеров не истреблять». Но ежели нет никакой возможности? Мы поименно всех перебрали по экипажам: поголовно мордобой и, извините, сволочь.

Енисеец закивал головой:

— Треба командира...

— Оставьте, — сурово оборвал Ян. — Вы нам о солдатах говорите.

— Солдат — што... командир...

— Какой вы! Ну, что командир?

— Чорту душу продау. Оттого у него над солдатом влада. Убиць его — будет все по-старому.

— Городишь, — презрительно кинул, приподымаясь, высокий и бородатый артиллерист. — Сознательный, а говоришь вроде как крупа. Тут в ослаблении устава дело, а не в чорте...

В сенях взвизгнул проволокой, ударил и затрясся голосистый звонок. Даша быстро поднялась, оттягивая за спиной узел косынки. Матросы гурьбой двинулись к столику.

От окна торопливо прогудел на басах перебор гармоники.

— Разбирай крышки, братцы.

Сквозь говор слышно было, как щелкнула под Дашиной рукой дверная задвижка. Чужой хрипловатый голос. Один.

Егоров заглянул в дверь и вышел. Даша за стеной смеется жеманно.

— Спиря, наддай.

Под плясовую, разгульную, Егоров возвращается, притоптывая каблуком в такт и лад.

— Эх-и-эх! Еще гость, ребята. Тутошний. Вроде как бы сват. Го-го!

Он подмигивает и сторонится. С Дашею входит бородатый, в картузе, в поддевке и фартуке. Только сейчас заметил: в комнате нет уж ни Яна, ни Барсука, ни Онипко. Я один замотался между солдатами. Некстати.

Щербатый обрывает.

— Выпейте, Мирон Саввич, — щеботком, непривычным, неприятным, «под горничную», говорит Даша. И на секунду — холодок по комнате: так, кажется, ясно, что говорит она так — нарочно, что она не умеет так говорить.

Дворник шарит продажным, вороватым глазом по комнате, гимнастеркам и форменкам. Насмотрел меня и — уставился. Но плечистый матрос у стола уже наклоняет тяжелую бутыль над пузыристым, пузатым стаканом. И Мирон Саввич перетягивает жадными ставшие глаза к белой, чуть зеленящей неровной струйке, булькающей из горла четвертной. Глаз — оттянул слух: он ухмыляется и оглаживается.

Даша подает стакан. Стукнув о крепкие, широкие зубы, стекло запрокинулось в широко раззеванную пасть.

— Совет да любовь! Который жених-то? Энтот, што ль?

Даша прикрыла лицо рукавом. Тихие глаза смеются моим.

— Он самый. Как это у вас, Мирон Саввич, домёк: сразу признали.

Борода вздрагивает гоготом.

— Какая бы мне цена, ежели бы я без опознания! Должность. Но и то сказать: он у тебе, Дарья Романовна, — галантер. На линии как бы конторщика?

— Бухгалтер, Мирон Саввич.

— Бух-тал-тер! — снизив на почтительность голос, сказал дворник. — Скажи на милость. Где же это ты так свою судьбу нашла, девушка?

— Обыкновенно как, — опускает глаза Даша. — Бог послал.

«Гости» постукивают, переглядываясь, рюмками. Маленький кривенький солдат — из крепостного полка — внезапно оскалился усмешкой и выкрикнул:

— Горько!

И, охнув, поджал плечо под кулаком Егорова: глаза матроса — яркие, волчьи. Мирон Саввич — спиной, не видит. Спиридон до отказа растягивает мех гармонии:

Ба бушка, родная, — куда кудель склала.

— Присядьте, Мирон Саввич.

— Должность! — многозначительно сказал дворник и покосился на бутыль. Матрос снова наклонил булькающее горло.

Пасть разомкнулась опять, уверенная и жадная. Бегут по бороде отставшие капли. Дворник отряхнулся.

— Присядьте, Мирон Саввич.

— Нельзя: должность. Ежели бы вечером...

Матрос опять гнет горло бутыли над стаканом, над рюмками.

— Не много ли будет? Разве для особого случаю.

. . . .

Насилу спровадили. Однако ушел. Под шум, под гомон Даша возится с задвижкой в сенях, следя гукающие по ступеням вниз, цапающие подошвами шаги. Из кухонной двери на старые места выходят нахмуренные Ян, Онипко, Барсук. Ян морщится брезгливо.

— Окно, что ли, откройте, товарищ Беляков, водкой воняет... Нет-нет, играйте, Спиридон. Кто его знает, может быть он на лестнице слушает.

— Сколько времени зря, — сокрушенно вздыхает Даша, возвращаясь из сеней. — Но с ним очень осторожно надо: он, наверное, в охранном. Я уже сколько раз замечала: зайдет, словно случайно, и смотрит. Я на всякий случай сказала ему, что у нас сговор.

— Оно и верно, сговариваемся, — улыбнулся Онипко. — Или, точнее, сговорились уже. Можно так считать, товарищи? Гарнизонный комитет свое решение о немедленном выступлении отменяет?

Никто не отозвался. Только переглянулись делегаты.

— Значит, так? А пока — будем дальше работать над подготовкой. Перейдем к следующему вопросу: о плане. Это по вашей части, товарищ Михаил.

— План, как вы знаете, в основном установлен давно. Но кое-какие перемены придется ввести, если считать выбывшими енисейцев, — хотя мне и не вполне ясно, следует ли считать их действительно выбывшими. По прежнему — мы предполагали, что придется иметь дело только со вторым крепостным и драгунами. Очередной работой за последнее время было обсуждение дальнейших действий — после захвата крепости. Самый захват при нынешнем соотношении сил не труден.

— Вот, — кивнул Егоров. — А вы постановляете: отставить!

— Вы не прерывайте, Егоров, — повернул Ян каменное свое лицо. — Если хотите, после дам слово. К чему же пришли?

— Пока еще спорим. Предлагается так. После занятия фортов — немедля десант в Ораниенбаум, в Питер и на Лисий Нос.

— В Ораниенбаум зачем?

— Там царская яхта под парами, на случай. Обязательно надо перехватить. Удерет за границу благочестивейший самодержавнейший — не оберешься тогда возки. Главные силы — на Питер. С Лисьего Носа часть выделим на Сестрорецк и дальше — на перерыв Финляндской дороги.

— Что ж, кажется рационально. Можно считать принятым в принципе?

— Отнюдь нет. Пока за этот план в революционком штабе здешнем — меньшинство. Большинство стоит на том, чтобы не оставлять Кронштадта: боятся оторваться от базы.

— Правильно. Мы свое дело сделаем, пусть питерцы свое мадят.

— Дальше своего носа смотри! Взаим-выручка — первое дело: мало тебя учили.

— В чужом городе, как в потемках...

— В море разбираемся, в трех улицах не разберемся. Скажи на милость, велика хитрость.

Ян поднял и снова опустил веки.

— Этот план обязательно надо отстоять. Товарищ Онипко, сегодня на вечернем собрании обязательно подчеркните необходимость — абсолютную необходимость — наступательных, активных и, главное, совместных действий.

— План крепости добыли? — спрашиваю Егорова тихо. Он замялся.

— Добыть-то добыли. Только, по совести, на кой он тебе прах, товарищ Михаил? Мы, ведь не то что улицу, каждый дом в городе знаем: вошли и вышли. А хлопот было — не сказать. И писаря фордыбачат и чертежник. «Попадемся, говорят, в подсудность по государственному преступлению: може, его — план — какой иностранной державе на продажу».

— Так это же план не укреплений, а города; немцам он ни к чему: продавай — не купят. Затащи-ка его под вечер, к Длинному. Я там заночую.

— Куда его переть: три аршина в нем без малого, — сердито сказал Егоров. — Как еще из управления выволокли... И тебе от него никакой радости: там ни единой надписи нет, почерчено ровно — и все тут.

— Как? Надписей нет?

— Не захотел чертежник. Это, говорит, окончательно измена. Улицу можно, и здание куда ни шло, но ежели обозначить, что к чему — измена.

— Что за чушь! Откуда вы такого чертежника взяли?

— Откуда! Свой. Мало что свой: партейный! К чужому разве с таким делом пойдешь?

— Он прав, по-моему, — кивнул, вслушавшись, Онипко. — Об умысле каком-нибудь, само собою разумеется, не может быть и речи. Россия дорога по-настоящему только нам, революционерам. Но случайность — не исключена. План может попасть хотя бы в руки полиции. Можно ли быть спокойным, что из полицейских рук он не окажется где-нибудь в немецком генеральном штабе?

— Да я говорил уж, он никакого военного значения не имеет; а планы военного значения у немцев, наверное, давным-давно есть.

— Пусть даже так. По-моему, план надо бы сейчас же уничтожить. Как ваше мнение, Ян?

Ян задумался.

— Товарищ Михаил из штабных, у него, так сказать, традиция плана, — вступил Арнольди, вольноопределяющийся; в комитете он единственный интеллигент.— Моя мысль: плана вообще никакого не надо. Просто: в солнечный радостный день вывести все экипажи в манеж, с оркестрами, со знаменами, с барабанным боем. Там — речи, энтузиазм. Все об'единятся, воевать будет не с кем. Енисейцы? Драгуны? Против такого мирного захвата никто не выступит.

— Ну, так рассуждать — только дезорганизовать работу, — сухо сказал Ян. — О необходимости плана двух мнений нет... Но о десанте, конечно, вопрос спорный. И, думаю, сейчас его не будем, в пленуме, решать. Время терпит: пусть они сначала в штабе договорятся. Переходим к следующему пункту порядка дня: доклад товарища Онипко о положении в Государственной Думе.

Я встал.

— Ян, мне хотелось бы с'ездить на «Громобой». Я достал письмо туда, одному офицеру, для предлога: побе-

седую с ними, как дела на эскадре. Здесь я больше, очевидно, не нужен. Ежели что, дайте знать Длинному. С рейда я вернусь к нему.

— Вы разве не выступите по докладу? — начал Ян. — А впрочем, и в самом деле, езжайте.

. . . .

На пристани я нашел катер с «Громобоя», но команды не было. Пришлось взять частную шлюпку.

ГЛАВА II

НА «ГРОМОБОЕ»

Шлюпка ошвартовалась у трапа. Вахтенный мичман, в задранной на затылок фуражке, хмуро оглянул мой не слишком свежий костюм, но просветлел сразу, когда я назвал Берга.

— К Павлику? А я, было, думал... Он в кают-компании, наверко. У нас совещание сейчас... Жеребьев, попроси старшего лейтенанта Берга.

— Есть.

Матрос медленно пошел ко входу в рубку. Мичман покачал головой.

— Чорт его знает, пришли из плавания — не узнать Кронштадта. Распустилась матросня, не поверите. Приходится меры брать.

— Я не во-время, пожалуй? Если идет совещание...

— Да нет, не имеет значения: это насчет стачки. У нас ведь сейчас офицерская стачка.

— Стачка? Вы стали социал-демократами?

Он оглянулся на фалрепных, отходивших от трапа, и засмеялся.

— Стыжусь признаться: никак не могу усвоить, — что это за штука «социал-демократ». У нас троих списали

с корабля за брошюрки: кока и двух артиллеристов. Я полюбопытствовал. Листал, скажу вам, листал: невероятно. Какая-то прибавочная ценность или что-то в этом роде. Кому это интересно? Ерунда какая-то... Неужели это можно читать? А вот и Берг.

Лейтенант был красен и что-то бормотал, подходя. Протянув неуверенно руку, он поморгал глазами, припоминая.

— Если не ошибаюсь... видались у Феди Ячманинова?

Он отвел глаза от моих непроутюженных брюк и со вздохом накренил черные баки.

— Почему он, в сущности, покончил с собой? Мне писали, но так неопределенно... В связи с Цусимой? Он ведь коренной морской семьи: не пережил?

— Он мне еще года два назад говорил о самоубийстве.

Берг снова вздохнул и оглянул злым взглядом пустую палубу.

— Как знать? Может быть, в конце концов, он выбрал лучшую долю... Какие неимоверно подлые времена!

Я достал конверт.

— Зная, что я буду в Кронштадте, Лидия Карловна просила обязательно повидать вас и лично передать это.

Тусклые глаза лейтенанта вспыхнули.

— Лидия Карловна! Как мне благодарить вас за эту исключительную любезность... Вы разрешите?

Он разорвал конверт и, щурясь, пробежал глазами неровные, косящие, короткие строчки.

— Вы не откажетесь передать: будет свято исполнено, как завет Sainte-Vierge. Удивительная девушка — Лидия Карловна, неправда ли? Но я должен еще и еще извиниться перед вами: мы слишком долго стоим у порога. Вы не откажетесь сойти в кают-компанию? Командир будет рад пожать вашу руку.

— А вы там... кончили уже? — осторожно спросил мичман.

Берг повел плечом.

— Кончили? Разве это от нас зависит? Помяни мое слово, Строев: кончать будем не мы. Постановили продолжать стачку. Но это не решение, потому что это — пассивно. Нам надо взять на себя инициативу действий, тогда будет толк. Я настаивал на активном выступлении, но командир ссылается на какие-то циркуляры штаба.

— Я уже второй раз за те несколько минут, что я на броненосце, слышу о стачке.

Берг криво усмехнулся.

— Видите ли. По расписанию эскадра должна выйти в море, на учебную стрельбу. Мы, офицеры, отказываемся выйти: мы — бастуем.

— Мне неясно...

— Потому что вы — сухопутный. Все дело в том, что на берегу, до начала кампании, экипажи безоружны: матросам не выдают на руки винтовок; при выходе в море они получают оружие. Теперь вам понятно?

— На берегу еще можно дышать, — подтвердил мичман. — Этим бестиям не только нечем кусаться, но они сами чувствуют себя под ударом... На берегу перевес на нашей стороне. Но в море картина меняется: они — хозяева положения. Мы рискуем оказаться за бортом, как только выйдем в открытое море... Нет, слуга покорный: мы не пойдем.

— Тут такая путаница, — махнул рукой Берг. — Мы не хотим выходить, а штаб бомбардирует нас предписаниями «выйти немедленно», потому что Петербургу — еще более Петергофу — желательно удалить матросов: горючий, видите, элемент. Его величеству будет спокойнее,

если их сплавить на воду. Ну, приходится бастовать. Пожалуйста, прошу вас.

. . . .

Из кают-компании несся по трапу вверх сдержанный шум многих разгоряченных голосов. Офицеры — тесной кучкой у конца накрытого белой скатертью, цветами убранного стола. Когда мы вошли, все замолчали.

— Командир, — шепнул Берг, под руку подводя меня к плечистому, седому капитану, с круглой, крепкой, под самый корень волос постриженной головой.

Он представил меня. Капитан приоткрыл — усталой, формальной улыбкой — бритые губы.

— Милости просим. Рюмку мадеры... по традиции.

— Традиция нерушима?

— Торопимся допивать, — засмеялся один из офицеров. — Пока матросня не добралась.

— Разве так тревожно?

— На «Громобое» — держимся еще... На походе какникак сжились: еще не забылось... А береговые экипажи распустились, имени нет.

— В сущности, опасности прямой я не вижу, — как будто нехотя проговорил командир. — Коноводы все известны охранной полиции: в казармах много своих людей. Я видел списки: можно отсалютовать жандармерии: чрезвычайно обстоятельно, во всех направлениях разграфлено: и по партиям и по фракциям... всех мастей. И если взять относительно, их даже не так много.

— Но если полиции известны все активные...

— Почему их не берут? Вот именно! — загорячился Берг. — Это именно то, что и я и другие говорят. Нет, видите ли, тут особо тонкая политика. Оставляют коноводов, арестовывают понемножечку «периферию» — по их терминологии. Таким образом, будто бы отпугиваются

рядовые, главари изолируются: в конце концов их можно будет взять без всякого шума.

— По-моему, такая система все равно, что бочку мадеры по капле выпить, начиная с краешка. По капле — через полсутки. Начнешь младенцем — кончишь стариком. Если вообще кончишь: другие раньше выпьют.

По коврику трапа — приглушенные, торопливые шаги. Вахтенный.

— Митюков и Балц, на нашем катере, с берега, с криком, — быстро проговорил, слегка задыхаясь, мичман; рука вздрагивала, сдержанной дрожью, у козырька. — Катер идет ходом. Команда собирается к борту. Вызвать караул?

— Пьяные? — медленно приподнялся командир. Глаза стали еще спокойнее и тверже.

— Не могу знать.

— Ермоленко, фуражку и кортик, — приказал капитан. — Я посмотрю сам. — Он перевел глаза на вахтенного и сжал губы. — Останьтесь здесь. Быть может хорошо, что вы ушли с вахты. Если что-нибудь... вы будете первый.

По палубе, над нашими головами, протопотал быстрый бег, и диким, стонущим пересвистом залились боцманские дудки:

— Пошел все наверх!

Командир надел фуражку и, уверенно ступая короткими сильными ногами, двинулся к выходу... Поблéдневший вахтенный схватил его за рукав.

— Постойте, Василий Иванович... Как же без вас...

В притихшей кают-компании сухо стукнули затворы двух-трех револьверов. Берг, сидя с застывшей небрежной улыбкой, смотрел в свой бокал, в каштановую, темную густую влагу.

— Пошел на бак, — крикнул в коридоре совсем близко чей-то густой и злобный бас. И два молодых, свежих голоса радостно и быстро отозвались, в разноголосье.

— Есть пошел на бак.

Свистят, надрываясь, вверху назойливые боцманские дудки.

Я встал:

— Вы разрешите мне выйти?

— Уж не знаю, как лучше будет, — усмехнулся командир. — Может быть, вы пройдете в мою каюту? Мы едва ли сможем дать вам сейчас шлюпку.

— Я останусь на палубе, с вашего разрешения.

Он быстро и пристально взглянул на мой костюм и вопросительно перевел глаза на Берга.

— На палубе? Впрочем... Как вам будет угодно. Я полагаю, вам лучше выйти одному; мы задержимся еще на несколько минут. Лейтенант Шереметов!..

. . . .

Я поднялся на палубу. На баке сплошной, тесной стеной — матросские бушлаты. Мимо меня вперегон пробежали, подвертывая на ходу черные, угольные фартуки, кочегары.

Над толпой худой и бледный матрос, без шапки, говорил, взмахивая к каждому слову рукой.

— Навстречу — раз'езд... Офицерский... Остановил «Ты, — говорит, — растак твою мать, почему шапки не снял — видишь драгуны едут». Я ему: «Вы ж не сняли — ну и я не снял». «Ты, — говорит, — так? Спешиться! Бери его. В нагайки», говорит...

Толпа загудела и сжалась плечами. Матрос дрожащими руками вырвал заправленный в брюки край форменки, взбросил его на плечи и повернулся спиною: под солнцем закровавились вспухшие полосами рубцы на бледной бескровной коже.

Точно картечью хлестнуло по рядам. Головы пригнулись в плечи, взбросились опять — и диким ревом прока-

тилось по баку, по броненосцу, по рейду какое-то слово... одно, единое... слитное из тысячи вскриков.

Рядом с высеченным, цепляясь за его голые плечи, матрос в расстегнутом бушлате кричал внадрыв:

— Братцы, да что они с нами делают...

. . . .

Не случай же привел меня на «Громобой»...

Я тронул за плечо матроса передо мною.

— Дайте пройти, товарищ.

Оглянулся.

— От военно-революционного комитета.

Лицо его испуганно дернулось, он не стронулся с места. Но сосед, блеснув белыми зубами, радостно нажал плечом в толпу, передо мной, с криком:

— Посторонись, братцы! От военно-революционного комитету оратор!

Толпа стихла. Матросы, оглядываясь, расступались. Через голову смотрели мне навстречу воспаленные, злобные глаза, того — сеченого.

— Оратор? Брось, братцы. Слыхали мы их, ораторов. Крепче моей спины не скажет. Буде, поговорили... Чего еще... У кого морда не бита — выходи, покажись! Не стыдись, говорю, покажись... ежели без нашивок... То-то! А ежели так, нам, битым, с небитыми — разговору нет. Что мы — псы, хвост поджимаем? Покуражились, буде! Вавилов! Примай над броненосцем команду.

— Правильно! — крикнул крепкий звенящий голос.— Ни к чему разговор... Вавилова!

— Вавилов! — взрывом криков откликнулись ряды. Над толпой поднялась бородатая, седая голова боцманмата. Я отступил в сторону: Вавилов — член гарнизонного комитета.

Он скял фуражку, помял ее в руках и накрылся.

— Смирно! — вытягиваясь, руки по швам, крикнул рядом со мной матрос. Глаза, как огни. — Смирно!

Вавилов повел взглядом по рядам.

— Братцы, товарищи... Есть ли подлинно на то ваша воля, чтобы стать нам всем за мирскую правду, за обиду мирскую — до последней крови?

— Есть, — прошелестело по рядам. — Есть. Есть.

— А ежели есть — слушать команду. Не на бунт идем, за право, за свое, вступаемся, по божьему и человеческому закону, как воинской части надлежит.

Он резко выпрямился и сдвинул мохнатые крутые брови.

— Боцмана, свисти к десанту! Комендоры и номера — по орудиям! Катера к спуску! По ротам разверстаться. Малые десантные орудия — на катера!

— А меня куда, Вавилов?

Разомкнувшаяся было на разверстку толпа снова сжалась — на спокойный, привычный, далеко слышный по рейду командирский голос.

Без оружия, с георгиевским белым крестом на кителе, заложив руки за спину, капитан стоял в трех шагах от Вавилова. Офицер и матрос в упор смотрели друг другу в глаза.

— Вам бы уйти, господин командир, — глухо сказал Вавилов. — Мы тут, как в светлый праздник, а с вами... как бы греха на душу кто не взял.

— Уйти? С «Громобоя»? Мне? Ты не первый год плаваешь со мной, Вавилов. Были вместе — и в шторм и в бою. Кто видел, чтобы я сошел в бурю со шканцев? Не со мной так говорить, старина.

Тяжкая тишина над палубой. Они стоят попрежнему глаза в глаза.

— Куда вы собрались?

Боцманмат дрогнул скулами и отвел глаза.

— Драгуны бесчинствуют, — сказал он глухо. — Митюгова избили нагайками в кровь.

Капитан пригнулся и шагнул вперед. Руки за спиной дрогнули, выпрямились, сжались.

— В кровь? Моих матросов? Спасибо, Вавилов!

Он обнял рукой боцманмата и обернулся к толпе.

— Спасибо, братцы!

Толпа колыхнулась и застыла. Ближайший боцман, вытянувшись, ответил негромко, уже накатывая усердьем глаза:

— Рады стараться.

Обнявшая Вавилова рука нажала на плечи: он сошел. Капитан стоял теперь один над рядами.

— Слушать меня! Вы мое слово знаете. На посадку полка надо три часа: через четыре часа драгун не будет в Кронштадте. Ни одного! Кроме тех, из раз'езда: тем место — в военной тюрьме. Сгною их в арестантских ротах. Если мне откажут, — я первый — слышите, — я первый наведу орудия на город. Командирский катер на воду!

Он приостановился, глубоко вдохнул воздух и чеканно бросил команду:

— Вольно! Разойдись по местам.

Матросы, молча, не глядя друг на друга, расходились. На мостике уже блестели снова золотые погоны вахтенного. Подошли кучкой поодаль стоявшие офицеры.

Кто-то тронул меня сзади за рукав.

— Ходу, братишка! Правым бортом, в башню... Ворочай, пока командир не приметил.

Но он приметил. Бритые губы приоткрылись — опять, как при первой встрече — холодной улыбкой.

Он подошел с офицерами. За собой я слышал быстрые уходящие шаги.

— Вы тоже на берег? Если угодно, я возьму вас на свой катер... Берг, прими командование... Я вернусь часа

через два. В штабе, думаю, не будут долго ломаться: в сущности, давно пора сменить драгун свежим полком: они и на самом деле разнуздались.

— Укротил-таки, — злобно оглянул Берг быстро спускавшихся по трапу на катер гребцов.

Капитан брезгливо повел плечами.

— Все равно конец. На что они мне — «укрощенные»?..

ГЛАВА III

В НОРКЕ

С капитаном — за весь переход — мы не обменялись словом.

До вечера я пробродил по городу: у арсенала, на косе — у саперных казарм, у мола. Видел: с посвистом, с бубенцами, с «Черною галкой» прошли на погрузку драгуны. Серой громадой в ряду других, застылых на воде стальных ящиков, лежал на рейде «Громобой». Тихий. Видимо, ушли от орудий комендоры и номера.

Еще раз посторонились... дали дорогу — «им». Формально правильно. Комитет постановил: «До общего выступления...» А если... ни сегодня, ни завтра — никогда уже, не ударят гранатным огнем броневые башни, — вдоль этих вот улочек, по которым сейчас азартно сплевывают подсолнечную кожуру кронштадтские мещаночки? Кто вернет сегодняшний — навсегда уже ушедший день?..

Сейчас, здесь, в десяти минутах отсюда, Ян, наверное, согласует с Онипкой резолюцию о роли Государственной думы, готовясь к вечернему гарнизонному собранию, а Даша дошивает на красном знамени, которое она готовит к восстанию, последнюю мишуру на кровь зовущего лозунга. Из них трех — только она одна делает дело.

. . . .

Восемь. Можно уже, пожалуй, итти на ночевку к Длинному.

Из наших партиек, работающих в Кронштадте, Эля и Маргарита прописаны женами здешних легальных. Маргарита — у Арнольди. Выбрали, кажется, неудачно: что-то в Арнольди неладно: слишком революционно для революционера говорит... и глаза бегают. Или сболтнет что-нибудь вроде сегодняшнего. А сверх того — уже намекала Маргарита — пробует ухаживать, пристает. Это уже окончательно последнее дело.

А Эле повезло: Длинный, ее фиктивный муж, рабочий из здешних мастерских, — чудесный парень.

Квартира у Длинного однокомнатная, но Элин уголок отхвачен ситцевой пестренькой занавеской, обвисшей на узловатом шнуре.

Эли не было дома. Длинный ждал.

Он сидел с Василенкой (матрос 2-й статьи, тоже партиец), наклонясь над серой шершавой четвертушкой бумаги, и тщательно лепил, одну к одной, кривые, косолапые буквы.

Василенко подмигнул.

— Как есть фабричное заведение. За сегодни — шестое сготовили: спин не разгибавши.

— Что готовите-то?

Засмеялся.

— Письма пишем из деревни — матросам да солдатам. Наша выдумка. Ну берет, я тебе скажу: прокламация перед ним — тьфу!

Он отодвинул листок дыбом и прочел, ударяя на слогах. — «А еще поуведомляем, что в деревне нашей, как по причине податей, так и земли устройства, пристав с казаками, сход собрамши всем миром, даже с малыми ребятами, по нем стреляли боевым патроном в два залпы. И убило девять человек: кума Митрия, да Федорчука Ко-

сого, да Пимена старшого, да Пимена Малых, Аграфену с дитей»... Прочтет: озвереет. Не он один — все землячество. Веди куда хошь.

— Это что же вы — из головы пишете?

— Зачем из головы! С тем, иным человечком поговоришь о родне и прочем, прозвание вызнаешь — и за упокой так их рядком и пропишешь. Из головы имя-то разве угадаешь!

— Вранье? Обманом берете?

— Зачем обманом, — нахмурился Длинный. — О податях и земли устройстве — верно, хотя и справки не спрашивай. А пристав — ежели сегодня не стрелил, завтра — обязательно стрелит. Не Пимена, может, убьет — Семена: так в том нет разницы.

— Как разницы нет! Вы же в упокой кого записываете — родственников?

— Кого вызнаем, того и записываем: кто поближе, очевидное дело. Инако — не заберет. Потом, как окажет: живы — то-то радость будет. Вы, товарищ Михаил, не оспаривайте: со всех концов обдумано. Никому ничего, окроме пользы.

Он послюнил конверт и заклеил.

— Эля где?

— К вечеру быть должна. В Питер вчера уехала, за литературой да письма — такие вот — отвезти. Мы их с вокзала засылаем: на московский поезд, в вагон почтовый — чтобы с верного конца шли. В вагоне заштемпелюют: на случай чего — мысли нет: достоверность. Вы как, товарищ Михаил? Не приляжете? Устали, небось, за день-то.

— Нет, не устал.

— Я вас что спросить хотел. Как там, в Питере, слышно по старшей политической линии?

— Не понял вас, Длинный.

Он потянулся тощим, но крепким телом и встал.

— О текущем моменте. Сумно как-то стало, товарищ Михаил, со времени Думы. Раньше ясность была — по революционному действию: бей впредь до Учредительного, и все тут. А теперь не знаешь чего и хотеть: то ли думского укрепления, то ли.. разогнали бы ее, Думу, к чертям в болото...

— Ну, конечно, к чертям в болото! Какая тут неясность.

Длинный покачал головой.

— Нет, вы такого слова не скажите. В мастерских у нас взять — весьма многие и хорошие ребята, партийные, так говорят, вроде как бы в присказку: «Добра мать до детей, а Дума — до всех людей». Вера в нее есть, в Думу. От нее так не отчихнешься. Ежели бы, как вы говорите, зачем бы нашим депутатам в ней быть?

— Мы не выбирали.

— Народ выбирал, все же. И от рабочих есть, настоящие, и от крестьян. Онипку к примеру взять. Весьма человек значительный и выслугу имеет. Он — за Думу, вы — против. Это как понять? Как по этому делу Центрального комитета мнение?

— Центральный комитет сейчас Думу поддерживает, не то, чтобы уже совсем, а, так сказать, — в полсвиста.

— Вот я и говорю: ясности настоящей нет. И даже больше того — разноречие. У нас даже, меж своих; а с социал-демократами у нас, прямо можно сказать, свара. Вред от этого: беспартийные этой сварой корят. Как же это вы, говорят, не сговорившись?

— Интеллигенцию винят?

— Что вы, — застенчиво отмахнулся рукой Длинный, и глаза его стали испуганными. — Разве нам можно без интеллигенции! Мы что! Головой тяжелы. А интелли-

гент — он, как дух, по воздуху. Только через них свет и видим. Мы без интеллигенции пропадом пропадем.

— И с ей пропадем, один конец, — внезапно помрачнев, глухо сказал Василенко. — О Длинном верно не знаю, а мне — быть повешану. Неспроста он мне предстает, чорт-то.

Длинный досадливо потер высокий, заморщинившийся лоб.

— Опять ты — об этом!

— А куды ж я денусь?..

— Что такое, Василенко, какой еще чорт?

— А такой он из себя... сероватый, — медленно проговорил матрос, глядя пристально в темный, пустой, угол... — Как сумерки... так он... рогом шевелит. Из потеми... Ты что смеешься?

Он быстро, толчком, поднял глаза на меня: глаза были чем-то пьяны.

— Я ему и то говорю, — отворачиваясь, сказал Длинный. — Стыдно: социалист — и о чорте... Путается он с этим... с Белоруссом. Нашептались!

— Социализм — господам упразднение, а чорт — он особо. Очень просто. Разве над им какая власть? Бог, скажем, и тот не управился, — а уж нам... где! — Он снова отвел глаза в угол и продолжал, медленно, чуть заплетаясь языком, словно про себя.

— И как он рогом шевельнет, нет уже мне от него никоторого отдыху: где сумерек — там и он. Не уйдешь... В ночь выйдешь — на рейд или как, — сейчас он рост забирает... на полморя... куда глазом ни кинь: он! Ежели в каморе: уголок махонький, только бы свету не было, за метлой у печки — вместится, затаится... и... рогом...

Он вздохнул, пригнул шею и стал присматриваться — все туда же, в темный угол...

Стукнула дверь. И по коридору к нам — быстрые, легкие, молодые шаги. Эля.

— Сумерничаете? Михаил, что давно не были? В Кронштадт ездит — нет того, чтобы зайти.

— Спешка. От парохода до парохода, обычно.

— Ну, ладно! Я вас сейчас допрошу с пристрастием. Только похудею...

Смеясь, она провела рукой по груди и бедрам.

— Литературы... без малого пуд... Честное слово. Прямо пачками подвязывали: вон, какой урод стала... толстая. Сейчас выпотрошусь...

Она тряхнула головой в пестром бахромистом платке и скрылась за занавеской.

— Ко времени привезла... На гарнизонном и раздадим. Завтра же по казармам разойдется.

— Вы будете говорить на гарнизонном, Михаил?

За занавеской крякали крючки: Эля снимала платье.

— Я думаю вовсе не итти, Эля. Зачем мне... в сущности.

— Вы лентяй, Михаил, — погрозила Эля над занавеской пальцем. — И эгоист. Вот. Из-за вас и мне придется не итти. Я хочу Онипку слушать: он большой, он хороший, он как раз то, что нужно, — а вместо этого мне придется тут вас чаем поить.

— Я и без вас напьюсь.

— Н-на, — Эля вышла из-за занавески. — Редкий гость, как говорится, хуже татарина. Неудобно, знаете. Общественное приличие, хороший тон... И потом у меня к вам один — очень серьезный, и не для меня одной, вопрос. Я без него не смогу о вас воспоминаний писать, когда вы будете великим и вам будут ставить памятник в Галерной гавани. Литературу Длинный снесет и Василенко.

— Я не пойду, — мотнул стриженой головой матрос.

— Это еще что за новости! Обязаны, по партийной линии.

— Я из партии уходить хочу, — мрачно сказал Василенко. — Мы свою партию строить хочим.

— Здравствуйте! — смешливо протянула Эля. — Политик тоже... Это какую же еще такую партию?

— Всеобщую. Чтобы без книжек и без партийности.

Он помолчал и добавил.

— И без ораторов.

Эля захохотала.

— В молчанку будете играть? Брось дурить, Василья. Забирай брошюры. Там корзинка под кроватью, в корзинке — репа: книжки под репу, корзинку подмышку — и марш! Опоздаешь... Ну, чего смотришь... Опять!..

Она выставила на Василенку два оттопыренных пальца, сделала страшные глаза и сказала загробным голосом:

— Р...рогом!

Василенко распустил губы улыбкой.

— Длинный, забирай его. Вот уж, — балахня, стоит рот распахня. Матрос — фартовым должен быть, а ты что! Самовар-то поставлен?

— Давно кипит.

— Ну и ладно. Упаковывайтесь, а я здесь управлюсь.

— А сама не пойдешь?

— Пойду попозднее. Пустите-ка, Михаил, я скатерть постелю.

Длинный и Василенко возились за занавеской. Эля поставила стаканы, сахарницу.

— Стой-ка, где-то варенье было. Приезжала Эсфирь к нам, привезла варенье: не может без сантимента, мелкобуржуазная натура. И еще какого — розового! Я Длинного так и не уговорила: не ест.

Василенко вышел, с корзиной в руке. Эля осмотрела его деловито.

— Красота! Надень платок на голову: за форменную кухарку сойдешь, вторая статья! Вы там без меня, смотрите, не влипните, косолапые. Длинный, Христос с тобой, как говорится.

. . . .

Ушли.

Эля откинулась на стуле и закрыла глаза. Смех сошел с румяных, по-детски еще припухлых, губ. Сидела так, молча, долго. Самовар сипел, ворчливо и дремотно. За окном — сумерки... Рогом...

— Как живется, Эля?

— Мне-то? Чудесно. — Из-под вскинутых век залучились, засмеялись глаза. — Лучше не может быть. Как вспомнишь: дома... обед, отец из департамента, служебные новости, Владимир в петличке, суп с вермишелью, крахмал, курсы, ноктюрны, кузен Борис, шпоры с малиновым звоном... Боже ты мой, как только люди могут жить... И как я не ушла раньше... как только родилась!.. А здесь...

— Ни облачка?

— А — ни-ни! Длинный — милый, милый, милый. Сознаться, я немножко побаивалась, когда ехала: все-таки... в одной комнате с чужим... Ну, неловко будет. Или — еще страшнее: вдруг начнет липнуть... Как Арнольди к Маргарите... Брр! И, знаете, нисколечко. Он ужасно хороший, Длинный. Хоть бы раз я почувствовала, что он смотрит на меня, как-то так, нехорошо. Ну, как это: по-мужски. С ним чудесно легко. И только здесь, на настоящем подполье, не так, как в полуподполье петербургском, я поняла, что такое партия.

— «Партия есть преступное сообщество, поставившее себе целью ниспровержение существующего строя, что

предусмотрено статьями сотой, сто второй и пр. Уложения о наказаниях».

— Это для вас так: потому вы и ходите, как волк, в одиночку.

— Ну и злюка!

— Да, да! Пожалуйста! Точно я не вижу. Вы не любите партию. Да, да. А в партии нельзя, чтобы не любить, — она вся, вся на любви: тогда — крепко. Тогда она настоящая, и тогда может быть настоящая революция. Не к программе, не к строю или чему-нибудь такому любовь, и не к людям вообще, как Толстой мусолит — он беспартийный, Толстой, обязательно, — а друг к другу любовь. Вот это — партия. А вы не любите нас, Михаил.

— Вас очень люблю. И Дашу, и Длинного, и еще других. Но, Эля, милая, вы-то все как раз и не партия. «Партия есть преступное сообщество»: программа, тактика, комитет.

— Что ж комитет? Без комитета нельзя. Надо же управляться. Нет, у вас это не от комитета. Я об этом, о важном, и хотела спросить. Только вы совсем просто скажите: я мудреного не понимаю.

— Зачем и что понимать, Эля? Идем мы вместе, все — это главное, и этого довольно. А что по-разному думаем, так ведь об этом не сговориться.

— С Яном не сговоритесь и с Онипкой не сговоритесь, потому что они думают твердо. Ну, а как с теми, кто не думает? Ведь не все хотят... и не все могут... Вы для них должны говорить. Может быть, они ваше и возьмут, лучше, чем Онипкинское. Ведь это же вам и самому нужно, наверное нужно, Михаил. Для себя самого, для своей жизни нужно.

— Нечего мне сейчас сказать вам, Эля. Другим говорить нужно только, — когда нашел, не когда ищешь. А я ищу еще. Об этом сказать нельзя.

— Почему нельзя?

— Потому что... Что значит «искать»: ведь не уставиться лбом в книгу и думать. Искать, значит: итти. Но когда идешь на незнаемое, никогда не надо никого уводить за собой: будешь тогда думать за другого и только спутаешься.

— Уводить не надо, — тихо проговорила, опуская глаза, Эля. — Но сказать. Это же другим искать поможет. Нельзя думать только за себя.

— А по-моему, все горе в том, что до революции и теперь никто за себя не думал: все старались думать за других, — от этого, когда дошло до дела, все и перепуталось.

— Масса знает, наверное. Любого возьмите.

— Масса знает «что», но не знает «как». Она от нас хотела узнать это «как». А этого-то мы ей и не дали. Оттого и вышло то, что вышло.

— Как же теперь, по-вашему?

— Теперь уже просто. Революция отступает, мы — в арьергарде. Теперь, собственно, незачем и думать, куда вести, надо думать о том только, чтобы отбиваться как можно крепче: не дать себя задавить.

— Это очень страшно, что вы говорите, — крепко-крепко зажмурилась Эля. И вдруг рассмеялась.

— Отступает? Чудится вам, старый вы человек... Ну, самовар допивайте один: я на собрание побегу.

. . . .

Вернулись Эля и Длинный только под утро.

— Благополучно, дядя?

— Ну и говорит же Онипка! Так рукой за сердце и возьмет. Товарищ Михаил, помяните мое слово: ежели только они на Думу посягнут — великим быть событиям.

ГЛАВА IV

ПОСЛЕДНЯЯ ЗЫБЬ

Думу распустили 8 июля. В самый день роспуска заехал Щекотов, возбужденный и вз'ерошенный. Полы широчайшего его сюртука были запачканы мелом.

— Вы что — на доске писали? Или играли на мелок?

Не отвечая, он особо тщательно припер дверь.

— Павел Николаевич сказал: в случае чего — можно рассчитывать на вас. Он говорит: в свое время он уже беседовал с вами о вооруженном восстании.

— Вон куда разговор пошел. Да вы же конституционалисты. Чего вы? Распустили вас не произволом, а по самому, что ни есть, конституционному: все параграфы в порядке, через семь месяцев — выборы. Пока отдохнете от законодательных трудов.

Он скосил глаза.

— Семь месяцев в условиях жесточайшей реакции, это же ясно. Горемыкин уволен, назначен Столыпин. Уроки пятого года не пошли впрок: у власти все те же: сыщики, феодалы, «лично-доверенные». Царизму, конечно, не уйти от своей участи: ему придется уступить свое место нам. Но сейчас нас ожидает чернейшая полоса, если мы отступимся. При реакции — кто знает, как пройдут выборы и вообще даже будут ли они. Мы не намерены сдаваться: партия была на гребне событий, она останется на гребне. Мы едем в Выборг.

— Пить пунш?

— Обсудить положение.

— Я и говорю: пить пунш.

— Мы апеллируем к народу.

— Благодарю за честь, поскольку вы начали с меня.

— Я вижу, — раздул ноздри депутат, — у вас какое-то очень странное настроение. Это бывает.

— От погоды.

— Что же сказать Павлу Николаевичу?

— Да ничего особенного: кланяйтесь.

Он пожал плечами.

— А как же он говорил о вас, как...

— Никогда не верьте тому, что обо мне говорят. Убежденно.

Он подумал, сел и встал снова.

— А от себя — можно вас спросить?

— Сделайте милость.

— По-вашему, если мы призовем... поддержат?

— Чужими руками думаете?

— То есть как, чужими руками? Мы же — выборные.

— Ах, вы о выборщиках? Так они вам через семь месяцев скажут.

— Нет, если мы призовем к активному...

— Выборщиков?

— Да нет же! Ну рабочих, ну солдат, крестьян, вообще.

— Левые социалисты, те, что держат массы, бойкотировали выборы в Думу. Умозаключите.

— А войска?

— За войска можно поручиться: нет.

Он покачал головой.

— А мы все-таки поедем.

— Скатертью дорога.

. . . .

Они уехали, думцы. И через два дня выпустили воззвание: «Народу от народных представителей», в котором призывали «крепко стоять за попранное право народного представительства, не давать ни копейки в казну, ни одного солдата в армию».

Отпечатали... Есть ли кому на местах подхватить эти призывные листки?

Но через два дня — Центральные комитеты обеих социалистических партий, совместно с железнодорожным союзом, с крестьянским союзом, с социал-демократической фракцией Думы и трудовой группой, подписали манифесты к армии, флоту и крестьянству. Манифесты — не на розовой водице: в них говорилось ясно и просто:

«Перестать повиноваться незаконному правительству, встать разом, дружно и сильно, каждый за всех и все за каждого, свергнуть царское правительство — и созвать Учредительное собрание».

Словно в ответ на манифест, 17-го восстала Свеаборгская крепость. Дело стало совсем серьезно. Я немедля созвал начальников дружин в обычной штаб-квартире нашей, за Московской заставой.

Вяло прошли отчеты с мест. Так, как будто все благополучно: дружины, в общем, в составе. Всего можно считать вооруженных по всем районам человек до 400; патронов на складах, разных образцов — тысяч до трех. Начать есть с чем.

Я поставил вопрос о роспуске Думы, о воззваниях, о Свеаборгском восстании. Ребята слушали хмуро, переглядываясь. Угорь беспрестанно почесывал ладонь: знак нетерпения. Когда я кончил, он сплюнул в угол и сказал с совершенным хладнокровием:

— Разогнали, — и бес с нею!

Щербатый кивкул. Остальные поддакнули.

— Ну, а с выборжцами, с воззванием ихним как быть?

— Куда Думу, — туда и их.

— Мы налогов не платим, солдат не даем — так нас это не касаемо.

— За Думу, товарищи, я, конечно, вступаться не буду, а свеаборжцев надо поддержать.

— Мы за свое, они — за свое, — уклончиво сказал Щербатый. — У каждого, браток, своя обида. Меня по

шее били — они, небось, не чесались... Как ты там их назвал, — мудрено, не упомнил?

— А они — нашей державы? — полюбопытствовал Булкин. — Прозвище будто не наше?

— Наши же: те же рабочие и крестьяне, во флот и армию призванные.

— А далеко он, Свеаборг-то твой?

Я сказал.

— Фьють, — просвистал Булкин. — Без малого, значит, не под японцем. Рази туда дотянешься? Это какая помога!

— Не дело, — тряхнул волосами Угорь. — На заводах-то тихо. Одни двинем, дыхнуть не дадут: растлишься ни за что. Мои не пойдут, нет.

— Да не одни же пойдем! О том и речь, чтобы выступить сейчас со всею, что осталась за нами, силой. В Свеаборге и войска поднялись и флот. Есть на что опереться: мы их поддержим, а они нас. Если выступим дружно, если встанут все, кто еще может встать, сломим, товарищи! Вы меня выбрали, до сих пор верили мне, так теперь — слушайтесь: пришло время. Раздумывать не о чем. Надо спешно готовиться. Ведь ударить надо немедля, пока еще Свеаборг за нами. Теперь же решить, что кому делать по районам. С Нарвского начнем, с твоей дружины,. Щербатый. У тебя как, остались подрывники?

Щербатый почесал над ухом и оглянулся на товарищей.

— Подрывники-то?.. Угорь тебе вроде как бы сказал, товарищ Михаил, милая твоя душа: мы на такое дело не согласны.

— Правильно, — подкивнул лохмами Булкин. — Ребята на этакое не пойдут.

— Раньше шли?

— Раньше шли, — хладнокровно подтвердил Угорь. — Раньше и время другое было: миром валились. А ныне, видишь ты, мир-то по домам расползся. А мы за него, что же, ответчики дались? На заводе меж товарищами разговор какой? «Бастовали, — говорят, — буде! Добастуешься до беспорточья». Во! А ты говоришь: выступай!

— Нынче каждый за себя, и мы за себя.

— Так что же, по-вашему, распустить дружины?

— Зачем распускать, дело найдется, — прищурился Щербатый. — Мы и то, — не обессудь, — без тебя, товарищ Михаил... ты, вишь, все не в ту сторону смотришь... одно т а к о е дельцо на мазь поставили... И-ах, сколь громкое дело! Вот по такому — руководствуй, поперечного слова не скажем.

— Что еще за дело?

— Ты про Валаамов монастырь слыхал?

— Это что на Ладожском озере? Бывал даже, — не то, что слышал.

— Бывал? Вот оно и ладно. Ну, и мы побывали.

Угорь сладко прижмурился и сказал шопотком:

— И богата же обитель, приснись ей крыса! Накопили святители от чудотворения. Смекаешь?

— Грабеж?

— Зачем грабеж? Мы по-революционному: экспроприацию. Монах-то, чай, царю помощь? Дело-то до того на мази!.. Троих там послушниками записали: дошлый народ. Варсонофьева помнишь? С Выборгской — с Булкиным вместе, помощником его по дружине был. Не парень — воздух! В щель проникнет. Необ'ятного таланту человек.

— И ризницу обнюхал, — вступил Щербатый. — И казначея... Ходи, как в свой карман. Человечка одного в монастырскую коктору по письменной части, на пред-

мет бланков, чтобы с подписом и приложением печати, — на будущий, ежели кому из ребят...

— А плант, видишь ты, такой: монастырь на острове, телеграфу с него нет, пароходов монастырских два. Ежели их задержать, — ходи по острову, хоть зад заголя, никто не свиснет. Рейсы-то не каждый день; больше одного парохода на Валаам не приходит. Пустим, с очередным, полторы сотни ребят — богомольцами... Мать честная, каких делов наделаем!

— Без спеху, — ржал, качаясь на табуретке, Манчжурец. — Погрузим пароход к чухонскому берегу, там бросим, а еще лучше — ходом в озеро, без людей: машинку заведем, — пши, — пущай поплавает. А сами — ходу. Через финляндскую границу дорога знаемая: мало мы через ее оружия перетаскали, — перетаскаем и серебришко.

— И не стыдно вам, за спиной у меня, такое дело...

— Зачем за спиной! Мы тебя, так скажем, на готовое. Чтобы без лишних тебе хлопот. А забыть — мы тебя не забыли, как можно. Булкина спроси: у него для тебя и подрясник приготовлен. По Варсонофьеву шили, вы телами схожи: чтобы в самый был аккурат. Так и порешено было: тебя со мной, еще кой с кем, во вторник, скажем, для последнего осмотрения, а через недельку ребята валом прибудут, и командуй. Первое тебе место... — Щербатый помолчал и добавил: — И доля тебе первая.

— Да вы что, рехнулись?

Угорь вскинул на меня желтые, твердые глаза.

— Не рехнулись, в разум вошли. Да что языком-то трепать. Идешь с нами, что ли? Ты к нам подашься — так, а уж нам к тебе — не податься.

— Выдаете! Не на то я вас бою учил.

— Выдаем? — нахмурился Щербатый...— Ну, слова эти ты, брат ты мой, брось. За такое слово, ежели бы кто

другой сказал, разделали бы мы его до трех матерей в суконку. Выдаем? А те, что у станков сейчас, по заводам, те как? Мы где? С заводов повыкидали! По норам! Доколь городовик тронуть боится, а как осмелеет — тогда что? На работу не сунься: кто возьмет? Покажись — прямо в охранное. А те, заводские, не как што, — сверхурочные гонят. А мужик-от — хлебишком поторговывает, деньгу под ноготь; а солдат — во фрунт! А мы, что же, на проклятие? У партейных, как-никак, хоть зацепа есть: комитет. Деньгами пособит или что. А нас, которые беспартейные, кто поддержит? Только на себя и надежа. Ежели не обеспечь...

— Спутался ты, Щербатый! В дружинах четыреста человек: не все, как вы. Я клич кликну, вам через головы.

Угорь захохотал.

— Не дражнись, Михайло. Хоть кричи, хоть не кричи, никто не пойдет. Дружины... Кто с нами есть, только те и остались. Остальные кто куда подались: партейные по своей линии, иные, попросту, по семейной части. Четыреста! Мы для форсу, а ты и поверил.

Я встал. Щербатый потянул меня за руку.

— А ты не серчай, браток. Мы тебе добра хотим, как перед истинным. Сколь вместе прожили, полюбился, право слово, верь. Только вот, разум у тебя господский. Господское дело дохлое. Плюнь. Пропадешь. Иди к нам. Заживем... в двух книгах не упишешь.

— Подумайте еще, ребята. Завтра в «Васильки» зайду. Ежели одумаетесь, встретимся.

Угорь замотал головой.

— И не ходи, милой, не утруждайся. У нас не по-баричьи: сегодня так, завтра эдак; у нас — крепко. Знали, что обидишься, имели суждение. Но в упор дело дошло.

К нам идешь — любо, атаманствуй, попрежнему; не идешь — губы давай: прохристосуемся. На нас зла не помни — мы твоего добра не забудем.

— Забыли уж!

— Экий упористый, — засмеялся Угорь. — Качай его, братцы!

. . . .

Я перебирал в уме, возвращаясь домой, имена и клички. Помимо начальников дружин, я мало кого знал в районных отрядах: только из Московской дружины, заставских, но тех от Угря не оторвешь. В «Васильки» завтра, все же, с'ездить обязательно надо. Хотя... вспомнилось. И раньше уже бывали недомолвки: бывало, даже шевелилось в душе подозрение, — нет ли в районах укрываемых от меня частных эксов. Странно посмеивались не раз и Булкин и Щербатый, когда я затрагивал этот вопрос. Тогда я проходил мимо, не задерживаясь, не до того было. А теперь, когда стукнуло... Если так, разве это остановишь?

. . . .

Дома, в прихожей, меня перехватила сестра. Подозрительно, по обыкновению, щурясь, она кивнула в сторону моего кабинета.

— Там тебя дожидается... какая-то...

— Кто?

— Не знаю... Какая-то... Ты поосторожнее. Я твоих дел не знаю. Но она, кажется, не в себе.

— В каком смысле?

— Так... — уклончиво сказала сестра, поджимая губы... — Если она тебе выплеснет кислотою глаза, я не удивлюсь.

— Вздор какой!

Я открыл дверь кабинета.

— Эля!

Глаза, — огромные, неподвижные, — светились из-под спущенного на лоб платка. Она привстала с кресла и села опять, крепко сжав резные тяжелые ручки.

— Мы выступаем в ночь.

— Сегодня?

Она кивнула.

— Из Свеаборга телеграмма. Революционный флот вышел в Кронштадт. Надо к его приходу... Я за тобой.

Часы пробили пять.

— Постой. Когда назначено выступление?

— В одиннадцать ночи.

— А пароход?

— Не нужно, я на катере. С Лисьего Носа.

— Вот это хорошо. Ты видела наших?

— Да. Обещали оружие и бомбы — не раньше девяти, к самому поезду. На Сестрорецкий вокзал доставят. Бомбы, впрочем, едва ли. Запалы есть, но успеют ли снарядить...

— А партийные дружины?

Эля бледно улыбнулась и провела рукой по волосам.

— Игорь говорит, там мало надежных... да и вообще... почти не осталось в дружинах людей...

— Словом, не выступят?

Она опустила голову и помолчала.

— Если бы ты видел, какая там, в Кронштадте, радость! Глебко, помнишь, вот чудесный, вот светлый... Как в Пасху... И я была... А сюда приехала... как в черную воду, сразу...

— Потому что здешние не идут, Эля. Кронштадтцы-то будут готовы?

— Они уж сейчас... матросы особенно... Да нет, все, все... К саперам на Косу с утра уже послали. От енисейцев представитель на совещании был, обещал — присоединятся.

— Енисейцы? Они ведь совсем было отошли?

— Там опять с пищей вышло...

— Ну, вот видишь. Все, значит, ладно.

— Очень мало оружия, Михаил.

— Арсенал возьмем, будет и оружие.

— Если бы... Дожили мы, все-таки, Михаил... Говорю себе, говорю — и все счастью своему не верю. Дожили...

— Поезд в девять?

— Девять десять.

— Времени много: успеем и пообедать. Я с утра не ел. Да и ты, наверное, Эля.

. . . .

На Сестрорецком вокзале охрана усилена, но на этот раз на мне военная форма: жандармы подтягиваются при моем проходе, и Элины матросы, прямиком, волокут за мною корзину с оружием и патронами. Бомбы у Эли в ручной картонке. Четыре.

Уже здесь на вокзале — мы в сфере притяжения Кронштадта. Сквозь вечерний туман, сквозь дома, залепившие побережье, чувствуется, видится он — праздничный и могучий, налегший на воду затаившимися фасами готовых опоясаться огнем фортов. В вагоне людно, но тихо. Кажется, что слушаем мы Кронштадт — не одни.

В одиннадцать... Но не всегда начинаются по расписанию выступления. Или они не начинаются по расписанию никогда?

Глупо, но я, кажется, волнуюсь. Это от Эли. Она вся лучистая. И вся она легкая, легкая такая...

Лучше бы выступить до телеграммы. Конечно же, о ней знает и крепостной штаб. Если там не круглые идиоты — они изготовятся. Или даже начнут сами... Впрочем, — если енисейцы с нами, — им не с чем, пожалуй, и начинать. Тогда возьмем голыми руками.

Тронулись. Эля закрыла глаза: свет сквозь веки.

. . . .

Долго стоим на Лахте.

— Когда вы шли из Кронштадта, не было погоды?

Эля отвечает, не открывая глаз. Только губы смеются.

— Зыбь.

Снова затарахтел паровик. На Сестрорецкой дороге паровозы не настоящие. Даша их зовет — керосинками.

Кондуктор прошел. Кто-то, бранчливый, окликает, брюзжащим, сиплым голосом:

— Почему с Лахты идем с опозданием?

Кондуктор встряхивает тяжелую сумку на плече.

— Не могу точно сказать. Матросов каких-то сняли. Корзина ваша...

Веки Эли чуть-чуть дрогнули. Но губы улыбаются. Свет сквозь веки.

На Раздельной мы высаживаемся одни.

. . . .

Шлюпка восьмивесельная. Не сразу нашли — по лесу. Болотисто здесь. Порубка запутала на обходе. Зыбь по заливу. Темь.

— Спускать шлюп? Или еще ждать кого будем?

Эля говорит коротко:

— Нет!

— Весла на воду!

— Не опоздать бы...

— Н-на! Дойдем духом. Навались, ребята!

Зыбь малая. Море холодом дышит в лицо. Эля, наклонясь, говорит тихо:

— Собственно, незачем было нам брать корзину. Что значит каких-нибудь пятьдесят револьверов на крепость!

— Никогда не оглядывайся назад, Эля. Оглянешься — сгинешь.

. . . .

Сквозь темь, сквозь зыбкий, белый надводный туман — вверх-вниз, вверх-вниз — далекий, далекий огонь.

— Верно идем, Вавилов?

Боцманмат улыбается в бороду и не отвечает.

— Наддай!

. . . .

Лодку качает сильнее. Эля схватила за руку.

— Стреляют, слышишь?

Солеными взбрызгами бьет наклоненное ухо.

— Нет.

— Да да же, стреляют!

— Нет.

Зыбь крепче. Мы поворачиваем в бейдевинд. Темные струйки змеями шелестят вдоль накрененного борта.

— Подбери картонку, Эля.

— Бери, у меня руки застыли.

. . . .

Темной громадою, слева, вдвинулся нам навстречу мол. Вавилов командует тихо:

— Суши весла.

Берег, молча, плывет навстречу. Кажется, слышно, как стрекочет там, на том, Сестрорецком, берегу, за болотистым бором, поздний, далекий, торопящийся поезд. Там. А здесь?..

Здесь ночь молчит. Молчит берег.

— Слава тебе, господи, — шепчет Эля, — не опоздали.

— С шлюпкой как? — спрашивает Вавилов.

Эля закидывает голову и, не отвечая, быстро подымается по щебнистому откосу вверх, к набережным столбам.

— Толкни ее — в море.

Но Вавилов качает головой и продевает в чугунное кольцо причала вздрагивающую, лязгающую цепь. Гребцы, расправляя плечи, переговариваются. В шопот.

. . . .

Четверть двенадцатого. Отчего так тихо?

— Поспеем в комитет еще? Или к Яну?

— Нет. Опоздаем, разминемся. Они уже вышли, наверное, к пунктам. Здесь, ближе всего, — к енисейцам. И тебе, мы так думали, лучше всего — сюда. Возьмешь енисейцев, и дальше.

Серые заборы, сонные, не чуящие беды, дома. Эля останавливается посреди пустой улицы. Слушаем. Нет... Спят.

— Здесь должен бы быть шестнадцатый экипаж: ему снимать енисейцев: их казармы тут, за поворотом сейчас...

— Подождем?

Эля кивает.

— Раскрой, на случай, картонку.

Минута прошла. Больше? Темь давит плечи.

— Нет, не могу. Пойдем, товарищ Михаил.

. . . .

Осторожно, чтобы не оступиться — мостовой не видать, у нас по две бомбы в руках, картонку бросили на тротуаре, — мы обогнули перекресток. И злобно глянул навстречу, справа от казарм, яркий, одинокий в ночи — красный глаз.

Эля откинулась назад.

— Красный фонарь? Боевой? Михаил!..

— Тише... Люди...

Темь зашевелилась. Не вижу — чувствую: цепь.

Влево и кпереди, за кварталами, — взрывом ударили голоса и выстрелы. Взрывом — и опять тяжелою тишью налегла окрест ночь. Жутко бьют в тиши этой, далеко-далеко, одинокие, гулкие удары... На фортах? Или у арсенала?..

Мы выдвинулись опять к перекрестку на угол. Подмигивает в темноту красный, зловещий глаз. По улице вниз, от казарм, к 16-му экипажу, пусто.

— Нет... идут... идут, Эля!

Гудом гудит по булыжнику быстрый, торопливый, бегущий, радостный шаг... бесстройно колыша штыки... Наши!..

Под фонарем, в красных лучах забегали, закачалися тени. Кто-то скомандовал, отрывисто и глухо. И к нам от казармы, переступая неслышно... ворами... поползла шеренга. Тускло блестят на фланге офицерские шашки.

Пора!

У забора Эля, наклонив крепкое, гибкое тело, отвела назад руку: на сгибе кисти бомба, как диск.

Я сошел с тротуара в луч фонаря.

— Енисейцы, выходи!.. за землю и волю!

Шашка на фланге торопливо взмахнула, и во всю ширину улицы перекатом и стоном ударил залп.

— Енисейцы!..

Но от шеренги,—злорадно, уверенно, победно,—не прячась больше, картавый громкий голос, моему в перебой:

— Ро-та! По наступающей толпе, бегло... на-чи-най!

Отступив на противуположь, я бросил снаряд на шашки. Сбоку откуда-то, из-за забора, задыхаясь, тявкнул пулемет. Вверх по улице, от матросской толпы, застучали торопливые выстрелы.

Вторая бомба. Эта... тоже не разорвется?

Я не расслышал удара. Яркий белый свет закрутился с той стороны, с тротуара, где Эля. Шеренга шарахнулась назад, к казармам, свернувшись в клубок, как змея от удара. Огонь стал реже... стих... И снова ударил, с двойною силой.

Я перебежал к забору, к потухшему свету.

— Обходят!

Голос хриплый, срывом, у самого уха... Егоров?

— Ты, Николай?

— Я... Сорвалось, пропадем пропадом.

В заборе над Элиным трупом чернела взрывом пробитая брешь.

Он свистнул протяжко и жестко. По стенке, отжимаясь от выстрелов, перебежала кучка матросов.

— Сюда, братцы... По улице — не отойти.

. . . .

По бурьянам. Звенят под подошвами осколки стекла. За забором цокот пуль по булыжникам, вперекрест. Вправо, влево, из-за заборов, из-за домишек — взблестки выстрелов... Раскидались...

— Где у вас штаб, Николай? Ян где?

— Найди теперь, — говорит, стиснув зубы, Егоров. — Все прахом... А как начали!.. Флагмана убили, Родионова, капитана, убили... Первая дивизия выдала... Требовал помощи... нет. А нас что — с полсотни всего и было. Патронов — видал? Намного хватило?

Стрельба отдалялась. Мы остановились.

— Сколько?

— Семь человек... Слышь... Как жарят! У арсенала, должно быть...

— Проберемся, братцы? Ежели арсенал возьмем, управимся еще.

— Не управимся: врассыпь пошло...

— Идем, что ж.

— Умирать — однажды.

— Э, бабий разговор, — оборвал Егоров, — умирать! Мы еще поквитаемся. К морю, братцы.

— Зачем?

Он блеснул зубами.

— Броду поищем.

В центре — стрельба стихала. Стихла.

Пустым проулком мы вышли на набережную. Мимо бочек, мимо штабелей досок. Вниз, по щебнистому откосу.

. . . .

Вавилов ждал на причале. В лодке были: Даша и Ян.

ГЛАВА V

СКАЗКА О МОКРИЦАХ

Яна взяли четыре дня спустя. Даша уехала в Ярославль. Егоров, до времени, остался у меня на квартире: партийные явки провалены, «чистый» паспорт достать не удалось, а жить без прописки можно более или менее безопасно только в казенном доме, где надзор за жильцами не строг: у меня квартира — казенная.

Книг у меня много. Егоров читает жадно, дни целые (выходить ведь нельзя). И темнеет.

— Экая жизнь, как посмотришь! Большущая, складная, не обнять. Живем мы на поверку — вроде улитки: хоботком из раковины. И не с'есть тебя и радости от тебя нет. Разве, что ребенку.

— Читаешь — мир ширится.

Не выдержит уширения мира Егоров: уйдет в террор. Наверное. Я уже сколько раз видел: когда быстро, слишком быстро открываются глаза на жизнь — человек не выдерживает, торопится к смерти. Все быстрей, быстрей и... вскачь!

Расправа за Кронштадт была скорая. Курский оказался на казни в наряде, со своей ротой. Вешали в ночь, под утро: чуть брезжило. Он приехал ко мне прямо с вокзала, очень бледный. Когда осужденных проводили мимо пехотного строя к деревьям (вешали на деревьях, без расхода для казны), матрос высокий (Глебко?) задержался, посмотрел ему в глаза, улыбнулся, оторвал пуговицу от бушлата и отдал: «На память, ваше благородие». Пуговица медная, с якорем, по краю поцарапанная ногтем.

— Почему именно мне? Он почувствовал, наверно, что я революционер. Перед смертью люди прозорливы. Скажи, правда?

. . . .

Он был так взволнован, что я подумал: застрелится, как тогда Карпинский. Через день он прислал мне записку о выходе из союза.

. . . .

За мною никаких признаков слежки не было по-прежнему. Впрочем, я мало где бывал: приходилось быть особо осторожным — провалы продолжались, хотя, кажется, никого уже не осталось брать; кто уцелел из подпольников — раз'ехались кто куда. Из комитетских один Игорь остался, и тот в больнице: дизентерия. Фруктов, правда, в городе очень много — на юге урожай.

Недели две прошло, — меня вызвал к себе правитель дел академии, генерал Куприянов. Как всегда, сложил при встрече ладони горсточками:

— Папироску.

Он не носит портсигара: папиросы берет у тех, с кем разговаривает. Не от скупости. Это у него стиль такой.

— Папироску.

Закурил, помолчал.

— Вы не находите, что воздух здесь в Питере... того... э?

— Как полагается, ваше превосходительство.

— Ну вот, — закивал он обрадованно и выставил круглые, ехидные глазки. — Мы вам командировку придумали. В Боровичский уезд.

— За глиной?

— Зачем за глиной! Там Суворовское имение, теперь Титовское. В имении библиотека — не столько генералиссимуса самого, сколько сынка — Аркадия. Сынок, кажется, больше романы читал французские, однако посмотреть стоит. Титов предлагает купить для академии. Езжайте — экспертом.

— Когда?

— Да хоть сегодня. Командировка в канцелярии заготовлена, прогонные и суточные у казначея.

Он сощурился, повел, по-рачьи, тонкими нафабренными усами и добавил:

— Назад, знаете, не торопитесь. Здесь — особых дел не предвидится, а там — местоположение, говорят, красота, воздух здоровый. — Он сильно ударил на последнем слове... — Библиотека большая: пока ее пересмотришь, расценишь... До начала сезона не тревожьтесь возвращением.

— Это что ж? Ссылка?

— Ну что вы? — отмахнулся генерал. — Какая ссылка! Санаторий! Здоровье у вас последнее время — и давно уже, как будто что-то... не того. Всю эту зиму вас почти не видали в обществе.

— У меня на это были достаточные причины, смею вас уверить.

— Помолвка Магды Бреверн — хотите вы сказать? Ребячество! Поверьте опытности старого гусара: в этом деле вы не проиграли. Пропущенная вакансия мужа открывает вдвое лучшую вакансию: любовника.

— Я должен...

— Вы ничего не должны, — пробарабанил пальцами по столу Куприянов. — Я знаю жизнь, мой друг, и вижу вас насквозь. Вы скажете мне то, что полагается в таких случаях *говорить* порядочному человеку. А я говорю о том, что полагается *сделать* всякому порядочному человеку на вашем месте. Может быть, ваше отшельничество, в известном смысле, и оправдано: романтика! Это бьет на воображение женщин. Но... вы переигрываете, дорогой мой. Пора кончить. Итак: с начала сезона вы вернетесь в свет, на свое место. Я отпускаю вас только на этом условии. Побаловались — будет.

— Я волен в моих поступках и...

— Та-та-та, — протянул генерал, откидываясь в кресле и угрожающе подняв палец. — Оставим этот тон, не правда ли? Я имел честь служить под начальством вашего отца и очень чту его память, вы это знаете. Вот. И вы должны поэтому прислушиваться очень — оч-ень — внимательно к моим советам: я желаю только добра... Я повторяю: вы вернетесь к сезону — и вернетесь в свет. Ваше отсутствие слишком беспокоит добрых ваших знакомых.

Он отвел глаза и добавил, небрежно перекладывая бумаги в распахнутой перед ним папке:

— В том числе... генерала Лауница.

— Лауница? Я не сказал с ним двух слов за всю жизнь.

Куприянов сухо засмеялся...

— Que sais-je!.. Быть может, соперничество в любви, hein? Может быть, впрочем, я что-нибудь путаю... Но... мне кажется... нет, наверное, это был именно Лауниц... Итак, доброго пути. И еще раз: не торопитесь. Я извещу вас о сроке возвращения. Да... и еще одно. Вы часто выходите в штатском. Мы на это смотрим вот так, — он растопырил перед глазами пальцы, — хотя это и не согласуется с уставом, но на будущее время вы откажетесь от этой вольности, не так ли?

. . . .

Ехать или не ехать? И как быть с Егоровым? Намек Куприянова более чем ясен. Лауницу, по его должности петербургского градоначальника, подведомственно охранное отделение. Корень здесь. Только отсюда может итти этот — столь неожиданный «интерес», — а не от гостиных Юрьевской и Хилковых, где я по временам встречался с Лауницем.

Я дал знать Ивану Николаевичу в Финляндию о предстоящем своем срочном от'езде. Иван Николаевич

приехал. Торговая, 6: здесь, в квартире домохозяина, инженера Мигулина, он останавливается особенно охотно. Мигулин — богатый холостяк, «сочувствующий», живет на широкую ногу: заночевать у него, значит: хороший ужин и спокойная, в паспортном отношении, ночь.

. . . .

Мигулин отпер мне дверь сам, — как бывало всегда, когда у него ночевал Иван Николаевич. Он имел вид рассерженный и усталый.

— Вы что такой хмурый?

— Генерал наш чудит. Замучил сегодня. Почудилось ему, видите ли, будто за ним с вокзала самого слежка: заставил проверять. Я за ним целый день ходил по городу, в двадцати шагах сзади, удостоверяться: идут за ним филеры или не идут. Конечно, вздор оказался совершеннейший: чист, как невеста. А в довершение...

Он сморщился, страдальчески поджимая губы под усы:

— ...засел обедать в какой-то греческой кухмистерской на Острову. Пришлось и мне. Что мне там дали! Имени нет! Я уже принял пюргатив.

— Иван Николаевич?

— Берет ванну. Он просил обождать. Кстати покажу вам новую покупку. Еще одного предка прикупил в фамильную галлерею.

Потемнелый, чешуйками вскоробившийся по краям, старый холст. Пятится из золоченой, облупившейся рамы, крутым выгибом, наваченная грудь под орденами; мальтийский знак у плеча; в высокий раструб красного, золотом шитого воротника вдвинута непомерно тонкая шея; подчесаны над плоскими ушами височки; кудрявый хохол над пробором и уверенной в безотказности лаской ласкающие глаза. Мигулин любуется, тряся отекшими дряблыми щеками.

— На Апраксином нашел. И знаете, совсем за гроши. Как вы думаете, какого это времени?

— Это? Портрет цесаревича Константина. Прикиньте, когда художникам стоило его писать.

— Цесаревича? Вы шутите? — вскинулся Мигулин. — На кой он мне прах, — цесаревич. Я думал: просто генерал.

По кабинету прошамкали туфли. В мохнатом, широком, мягком халате, распаренный, красный, довольно подшлепывая толстой губой — Иван Николаевич.

— Вот чудесно помылся. Теперь бы...

— Стакан бургонского? Готово. Идем чай пить.

«Толстый» кивнул в мою сторону.

— Ему что-то занедужилось. Поисповедуемся, а там уж на легкую душу. — Он чиркнул по воздуху ладонью и засмеялся: — «Подписано, так с плеч долой».

Мигулин вышел, спустив портьеру. Иван Николаевич подпахнул халат и сел на диван, поджав ногу.

— Ну, докладайтесь. Что такое случилось?

— В охранном завелось обо мне дело.

Иван Николаевич приподнял глаза, лениво качнул головой и зевнул.

— Вздор.

— Я получил совершенно достоверные сведения об этом.

Он поглядел, на этот раз пристально.

— Откуда?

— Из абсолютно надежного источника.

— Я и спрашиваю: откуда?

— Я не в праве его назвать.

— Члену ЦК? Вы вникаете в то, что говорите?

— Вполне. Но назвать источник излишне, поскольку он не может быть использован — кроме того случая, о котором я сообщил сейчас.

— Почему не может? Он **должен** быть использован... если он действительно надежен. Но в этом — позволительно усомниться: откуда могут быть сведения в охранке о вас! Слежка? Вы не школьник, чтобы пойматься на филера... Притом слежка никогда еще не давала сколько-нибудь серьезных улик. Если охранка что-нибудь знает — она знает **всегда**, слышите, **всегда** — от внутреннего освещения. Но вы законспирированы более чем надежно. Провокация во всяком случае исключена.

Он продолжал смотреть на меня пристально и остро.

— Или... вы кого-нибудь посвятили... из неизвестных нам?

— Нет, никого, конечно.

Грузные плечи колыхнулись легким поднятием.

— В таком случае очевидный вздор. Плюньте в ваш источник. Я не верю ему ни на грош. И доказательство: хотите работать в боевой организации со мной и с Борисом?

— С Борисом? Ну нет!

— Почему? Превосходный работник, боевик — не по технике одной, по призванью.

— Но я его органически не переношу, вашего Бориса. Фанфарон...

Иван Николаевич расхохотался.

— Вы трактуете вопрос по-женски. В общественном деле — что значат личные симпатии или антипатии.

— В политике — да, к сожалению. Но не на крови.

— Стихотворение в прозе! Он первоклассный работник. Немножко «подтяни нога»? признаю. но ведь по внешности только: сердцевина у него здоровая. Немножко дорого обходится партии? признаю: он не умеет экономить деньги. Немного слишком любит женщин?.. но как он делает дела!

— Вы плохой бухгалтер, Иван Николаевич. Хорошим дельцом считается, насколько я знаю, тот, кто малыми средствами делает большие обороты, кто за высокое качество платит малую цену. Подсчитайте потери боевой организации... Борис платит по червонцу за рубль, если уж применять купеческие термины.

— В боевом деле без жертв — и жертв тяжелых — нельзя.

— Это не доказано.

— Хотите попробовать?

— Что попробовать?

Иван Николаевич качнул туловищем и перелег на другой бок.

— Мы вам дадим самостоятельный отряд.

— То есть?

— Вы подберете товарищей — по вашему выбору; мы предоставим вам самую абсолютную свободу действий... и необходимые средства, само собой разумеется. Связь вы будете держать исключительно со мной.

— Мне приходилось уже, помнится, говорить: единичные, редкие — притом выполняемые с надрывом, с тяжелыми жертвами — акты я считаю бесцельными. Надо бить не по отдельным людям...

— Знаю! — засмеялся Толстый. — Ваша сказочка о тигровом законе обошла всю партию. Да, кстати о сказках. Выборжцы просили напомнить: вы им обещали в журнал для сентябрьского номера такую же сказку, вроде тигровой. Если готова — давайте, я отвезу.

— Готова.

— С собою она у вас?

— С собой. Я сам хотел вас просить передать ее в Выборге.

— Ну и чудесно. Романтика, конечно?.. Обожаю!

Он потянул к шее отвороты халата и зажмурился.

— А ну, почитайте.

— Не хочется, Иван Николаевич.

— Не ломайтесь, автор. О чем она?

— О мокрицах.

— Мокрицах? — губы сморщились брезгливо. — Что это вы такую пакость придумали? Послушаем. Читайте, я вам говорю... в порядке партийной дисциплины.

. . . .

Что же, по существу... пусть слушает.

. . . .

СКАЗКА О МОКРИЦАХ

Шел однажды... так всегда начинаются сказки: слышали ли вы когда-нибудь сказку, которая стояла бы на месте?.. шел однажды в далеких снеговых горах человек... опоясанный сталью...

Веки Ивана Николаевича чуть дрогнули.

...сталью.

На пути была хижина. В хижине отшельник. Череп. Пшено на деревянном блюде. Светильник. Как всегда в сказках.

Путник попросил пристанища на ночь.

— Войди и сядь.

Он сел на холодном, на земляном полу.

— Кто ты?

— Я охотник за тиграми.

— Храни тебя солнце, — сказал отшельник. — Ты выбрал себе опасный промысел, сын. Но ты молод еще: одумай!

— Кто, обнажив меч, не бросит от себя ножны, тот не воин, отец. Я обнажил меч. И с тех пор я иду.

— Тигровый закон — закон вечный, — покачал головой старец. — Пуст путь в вечность: твои удары не часты, нарушающий закон. Закон стоит, как стоял пре-

жде, — знаком победным, знаком, подымающим к небу торжествующую длань. Видел ли ты в скитаниях площадь, на которой не высился бы символ закона и власти — на высокой колонне, в окружении вздыбленных, покорных, медных коней?

— Я сброшу символ — медной головою вниз, о каменные плиты. Но ты прав, — мои удары редки, потому что я одинок.

Усмехнулся старец.

— Разве не тебе одному грозит кривой коготь? На весь мир налег тигровый закон!

— Что нужды! После каждого удара люди говорят мне: «Слава тебе, Нарушитель. Но отойди от нас, отверни от нас лицо. Нам тяжко от тигровой власти — но от мести тигровой не станет жизни. Иди».

— Тигровый закон — закон вечный, — повторил старец. — Среди тех людей, что ты видишь, ты не найдешь ни оруженосца, ни бойца.

— Ты говоришь, будто есть на свете люди, которых я не вижу?

— На свете? Нет. Без света.

— Значит, чтобы найти их, надо закрыть глаза?

— Воин на пути не закрывает глаз. Путь к ним — путь войны, а не мира. Но я не скажу тебе о пути.

— Я и не спрашиваю, — засмеялся опоясанный. — Ты уверен, что они крепки на удар? Расскажи о них, что ты знаешь и слышал.

— От сырой тьмы заподземных низин веки наползли на зрачки, застыли, дряблые: они не видят: нет луча из глазниц... Без него... что стоит сила мышц и сплетение жил? Знаешь ли ты целебное снадобье — растопить застылые веки?

— Знаю, — отвечал странник. — Кровь!

Опустил седую голову старец.

— Кто сказал тебе?

Засмеялся странник.

— Кровь!

Он встал, опоясывая сталь.

— Куда? — спросил старик.

— К ним.

— Я не все сказал.

— Я знаю довольно.

— Ты горд. Пусть будет. Иди.

. . . .

У каменной плиты — сталь в руке — стоял странник. Рыком тигров полнилась окрестность.

Здесь.

Он отвалил плиту. На замшелом, на ослизлом камне — серыми стаями роились мокрицы.

Снизу, из щели расщелины, гудел сквозь душные клубы испарений, подымающийся по каменному скату шаг толп. И злобно выли, в отзвук тяжелому шагу, в окрестных камышах тигры.

Они шли, они вышли, люди с заросшими веками, косматоголовые, ширококостные — сплетенье жил, сила мышц. Пригнувшись тяжелыми спинами, они шарили по земле жадными напруженными руками. Стоном глухим стлалось по зарослям, по тигровым камышам: «Где?»

Тигр ответил: прыжком.

Лучом ударила кровь. В толпу. От острой, от синей, от закаленной стали.

Луч!

И стали, вспрямившись ударом, тяжелые, крепкие груди... На погибель!

Вот он подлинный человеческий голос...

— Бей!

Он бежал, и на свет его стали, за ним, ураганом, они, ощутившие землю и кровь.

— Бей!

И над трупом последнего тигра, отирая кровавую сталь, он смеялся тихим, радостным смехом.

— Тигровый закон — закон вечный? Конец веку. Мы начинаем новый закон, люди!

— Подлинно, — ответили хором чьи-то тихие и жирные голоса. — Мы начинаем.

Нет у крови таких голосов. Обернулся. На взгорьи, над входом в бессветье, — встопорщась, сидели, кивая, — мокрицы.

Он шагнул. Но, не дав ему времени молвить, одна из мокриц, раскоряжась на камне, сквозь нос прокартавила:

— Гражданин. Государство признательно. Ваш подвиг почтен пожизненной пенсией. Семьдесят шесть пятьдесят, каждый месяц, второго. Касса номер восьмой. Проходите.

Раздавить их ногой — и все: сну конец! Они — наяву, косматоголовые.

Он шагнул.

— Тише, стой! — хором крикнули, приподымаясь, мокрицы. — Он, кажется, буйный. Буйный, конечно! И, в сущности, кто он? Со стороны он пришел — неизвестно откуда.

— А вы?

— Мы? Все видали: мы были с ними, все время — в бессветьи. Мы были под тиграми вместе. В одном подземельи, под той же плитою...

— Вниз головами?

— Тем выше заслуга! И нам сейчас первое место, по праву, — их собственной волей.

Молча стояли поодаль тесной, понурой толпой косматоголовые. Молча. По знаку мокриц расправили плечи, пошли — и в оживших глазах он увидел... Нет, лучше не надо...

Мокрицы смеялись...

. . . .

— Все?

— Все.

Иван Николаевич пожевал губами. Глаза странные: я не знал, что он так меняет глаза.

— Мораль? Революция проиграна: косматоголовые изменили, они потянулись к мокрицам: сегодняшний день за мокрицами. Сегодняшний — и завтрашний... Или навсегда, а? Но для настоящего человека, настоящего революционера — все что хотите, только не мокрицы. Так, что ли?

— С революцией случилось, что должно было быть. И косматоголовые... можно ли это назвать изменой? Но о мокрицах — вы поняли верно: что хотите, только не они!

— Тигры лучше?

— Тигры? Конечно же.

Он медленно сволок туловище с дивана и подошел, переваливаясь.

— А практический вывод? — он внезапно снизил голос. Ресницы мигали быстро и дробно. — К тиграм, а? Там — хоть что-нибудь: хоть сила, красота, порода, настоящая кровь, а? Не мокричная слякоть, не косматоголовая темень. Так, что ли?

Он цепко взял меня короткими пухлыми пальцами за плечо.

— Говорите прямо, на чистоту. Мне все сказать можно. До конца, все. Без оглядки. Я... я пойму. Я вам сам сейчас скажу, если хотите, такое... вам будет тогда легче сказать.

— Легче? Что сказать? Я думал: ясно из сказки. Очевидно, она плохо сказалась. Мораль и вывод: не одних тигров, но и мокриц — раньше, чем они раскорежатся на камне. Только тогда совсем распрямятся косматоголовые,

только тогда начнут взрастать новые люди. Значит: одним напряжением, одним ударом надо снести их всех: и тигров и мокриц.

Иван Николаевич сдернул руку с плеча и засмеялся отрывисто и хрипло.

— Вот она, романтика, куда заводит... Я, было... Вы вот как обертываете? И мокриц и тигров... Сразу, в смерть, в кровь... Варф... Варф... Варфоломеевская ночь, ха-ха!

Губы, хлюпнув, закрыли зажелтевшие в смехе клыки. Он опять подпахнул халат и, задыхаясь и пригнувшись, пошел к дивану. Сел. И сейчас же встал опять и зашаркал по комнате, запинаясь опадающими туфлями о ковер.

— Сколько я об этом думал. Вот — и вы... Логика жизни.. Логика борьбы...

Он подтянул меня к себе и поцеловал крепко и душевно мягкими, ласковыми губами.

— Массовый террор! Да, да! Это именно то, что нам сейчас нужно. Правительство, дворянство, буржуазию — всех! Я уже себе понял.

— Террор? Нет. Я не о том, Иван Николаевич. Не убийство, не жертва, не казнь. Война. Так, как бьются на фронте: армия против армии, все против всех, день за день, каждый на своем месте. Класс на класс.

Он вжал голову в плечи и глянул исподлобья сразу остороживщимися глазами.

— Класс на класс? Это не наш лозунг.

— Другого лозунга нет, — если вы вправду не принимаете ни тигров, ни мокриц. Классовая война. Сейчас, после двух лет крови — другого решения, другого выбора — не может быть.

Азеф отвернулся и пошел к столу, подшаркивая и подгибая колени.

— Война масс... Вы, может быть, правы. Да, да.. Конечно, вы совсем правы. Но война, — как? Мы разбиты

на голову. Это надо признать откровенно, с революционной прямотой. Наше положение отчаянное. Настроение в массах упало.

— Настроение? Опять? Я же говорю о войне. Разве на войне для атаки ждут, когда к солдатам придет настроение? Сознания, что враг перед тобою — довольно! Но это сознание есть. И оно будет утверждаться и расти с каждым шагом. Об этом позаботится жизнь и позаботимся мы... Только без компромиссов, без дипломатической пачкотни: только она и может сгубить дело. А стратегическое положение наше...

— Оно отчаянное. Я же знаю. Я же вижу. Нас давят со всех сторон, все поднялись на нас: мы в железном кольце.

— Как Наполеон в восемьсот девятом. Оно было тогда покрепче, железное кольцо. И все же: всего одна строчка, одной депеши, — и вся обстановка сменилась, как чудом.

— Напомните, я забыл. Эта строчка?

— «Я победил при Ваграме».

Он придвинулся ко мне вплотную, лицо к лицу.

— Ваграм! Удар с ясного неба! В жизненный центр врага, в самый центр... Я не подумал сразу. Да, да. Вы ведь там у них, у самого сердца...

Влажными ставшие, вздрагивающие пальцы гладили мою руку.

— Вы стратег, товарищ Михаил. Как это мы — просмотрели вас раньше. Вы не на настоящем вашем месте. Но теперь мы это исправим. Лучше поздно, чем никогда. Нет, не говорите ничего. Мы переходим к делу. Война масс — это гигантски... Организация? Роли намечаются сами собой. Стратегия, боевое руководство — ваше. Вы, именно вы... Вы знаете противника, как никто. Вы с ними живете, вы для них свой... Свободный проход всюду — и

беспощадность! — от них к вам, от вас к ним: такой не найти, это — на смерть! Штаб ваш будет там, в самом гнезде. Первый случай в истории! Оттуда вы будете направлять удары без промаха... Я уже чувствую его — революционный Ваграм... Организационная часть—наша. Ее я возьму на себя. Я опытен, товарищ Михаил. Я, как никто, опытный организатор. И на задаче такого захвата, такого масштаба — будьте спокойны — я превзойду себя. Вы передадите мне все ваши организационные нити.

— Этого будет мало, Иван Николаевич. Когда я говорю о войне, — само собой разумеется, речь может итти только об единой массовой армии. Партийные перегородки не только могут затормозить, но и вовсе сорвать успех.

Иван Николаевич нахмурился и повел плечом, досадливо и нетерпеливо.

— Сговориться с остальными? Но если говорить о боевом деле, — на нем есть только большевики. Межпартийность осложнит. У нас уже был боевой блок: много трений, мало практических результатов. Они неуступчивы.

— Но на этой борьбе им ничего же и не придется уступать. Что могут они возразить против классовой войны? А война эта возможна только единым фронтом.

— Да, да, — еще больше хмурясь, торопливо сказал Азеф. — Мы сговоримся, несомненно. Единый фронт — это, конечно, необходимо. Но чтобы сговариваться, надо прежде всего собрать свои собственные силы. Чем больше у нас будет к моменту переговоров, тем уступчивее будут они. Мы отложим переговоры до времени. Пока я займусь нашими. Кое-что уже есть. Партийные дружины, летучие отряды боевой организации... Один отряд Штифтаря чего стоит! Он в Выборге, у меня под рукой. Я сейчас же посвящу Штифтаря и Химеру... там есть такая: золотые руки... Молодежь даст пополнения. Толь-

ко кликнуть клич: борьба. Молодежь — всегда молодежь. Средства надо огромные, конечно: сеть лабораторий и складов. Это я возьму на себя. Деньги будут. Будут большие, огромные деньги, Михаил, потому что это огромное дело... на которое не пожалеют денег те, кто мне дают, когда я говорю: дай. Будут деньги, будет динамит, будет оружие... это все я беру на себя.

Он замолчал, что-то прикидывая в уме.

— Месяца три-четыре на подготовку. Не меньше. Для меня... Вы... пока техника не будет поставлена, временно совсем отойдите от работы. Вы понимаете меня: совсем. Я не верю в ваше сообщение об охранке, это — вздор. Но независимо от всего: перед началом такого дела необходимо радикально обеспечить себя от всякой возможности провала. Вам надо отогнать от себя всякую тень подозрений «там». Не выходите из их гостиных... Исподволь подбирайте себе людей. С жестким, с жесточайшим выбором, чтобы человек к человеку. Но затаитесь: из партийных — связь только со мной.

— Я не вижу причин к отсрочке. Напротив. Боевое ядро лучше складывать непосредственно на работе. И силы вводить в дело по мере их формирования, не дожидаясь общего стратегического развертывания.

Иван Николаевич упрямо потряс головой.

— Ни в коем случае! Вы сами себе противоречите: чтобы восстановить борьбу, нам необходим Ваграм! Громовой удар, говорю я, не партизанщина, не размазывание крови по мелочам. Выждите месяц, два, три... полгода... какая разница! Движение спало, оно уже не идет самотеком, как в прошлом году, частными ударами вы его не поднимете. Нет, Ваграм, Ваграм! Будем ставить технику. Когда она будет готова, вы мне покажете отобранных вами людей: это будет — цвет, не правда ли. Тогда начнем. Не раньше. Но как начнем!

Мигулин осторожно приподнял портьеру:

— Вы скоро? Или я распоряжусь подогреть самовар.

— Самовар? — расхохотался, обнимая меня за плечи, Иван Николаевич. — Тут не чаем пахнет: такое мы сейчас порешили. Поищите-ка, добрейший Павел Никитич, в погребке у вас не найдется ли — вы человек запасливый — этакой завалящей бутылчонки шампанского?..

ГЛАВА VI

СЕЗОН

Июль, август, сентябрь... Сезон начался рано и сразу крутым взлетом: на моей памяти никогда еще не веселился так бешено Петербург. К осени отгорели последние запоздалые огни крестьянских бунтов. Уже отбивали костяшками счетов итоги революционного года либеральные статистики: за 12 месяцев — свыше трех тысяч повешенных. У «Крестов», у Литовской тюрьмы — бесчисленными очередями тянулись понурые «передачи». О стачках не было слышно: в указанный час, по рассвету, в голос гудели хмурые заводские гудки. Еще шептался, оглядываясь по улицам, свободолюбивый либеральный обыватель; еще расквартированы были по имениям охранники — черкесы, но делать им, в сущности, было уже нечего. Петербург танцовал.

Я вошел без раздумья, — как было условлено там, на Торговой — в хоровод пустых вертящихся дней. Но пять недель в Боровичском уезде сказались: трудно дался переход от тихой, за глинистыми, крутыми обрывами затерянной старой усадьбы с запущенным парком, голым по низу, а по верху — завенчанным шапками галочьих гнезд, с парниками, уже не видевшими огурцов — от времен императора Павла, с ленивыми псами на оттоптан-

ном жеребенком газоне, от пожелтелых листков наивных и важных, разлапыми литерами тиснутых книг — к ритуальному лоску салонов.

Мое возвращение приняли с тактом, обычным для этих гостиных: о прошлом «уходе» никто не обмолвился, даже намеком.

Магда прежним, совсем прежним взглядом глянула прямо в глаза, и, когда мы кружились в такт вальса, под взглядами подстерегавшего нашу первую встречу настороженного зала, — она повторила тихо, мерным движением улыбающихся губ заклятый припев старой бретонской песни, той, что читали мы с ней — последней:

— Ar-ta! dao, war he lerc'h...

Я сжал ей руку.

Рука ответила твердым и зовущим пожатием.

С того дня мы стали видаться часто. Я снова стал бывать у Бревернов. Но теперь старая баронесса уже не оставляла нас одних.

Кугушев при встречах раздвигал ласковым оскалом сухие татарские губы, обнимая за плечо, — но на дне зрачков, — я видел, — скалилось таким знакомым мне, бодрящим оскалом — желтое в черных полосах, плотоядное, пригнувшееся к прыжку. «A bon entendeur, salut!..» Мы ели устрицы в милютинских рядах, после балета, в маленьких, как вагонное купе, тисненой клеенкой обитых, глухих кабинетах, вдвоем, как два друга. Вдвоем — у входа в бенуар мы ждали приезда Бревернов в дни их абонемента в Михайловском, в опере. Ася, посмеиваясь, звал меня «престолонаследником». Генерал Куприянов похлопывал на докладах по талии: «Я вам говорил, mon très cher. Ваша карьера обеспечена. Какая женщина!».

Круг замкнулся опять. Я добросовестно выполнял ритуал, которого требовал уклад этого круга. Я делал визиты, обедал у семейных, ужинал с холостыми, вече-

рами заезжал в Яхт-клуб. Все было попрежнему — и ярче прежнего.

Но вернуться по-настоящему я не мог: в жизни был незнакомый до тех пор и нестерпимый разлад. Я никогда раньше не чувствовал на лице маски. Теперь — чувствовал каждый раз, когда я выходил из своего кабинета, к людям. Не к «светским» только, нет: к людям вообще.

Были дни — они казались мне манекенами, восковыми крашеными манекенами из заезжего, затасканного по провинции паноптикума, где в первой зале — «знаменитые люди», а в последней, за занавеской и за особую плату — «мужская» и «женская» красота, распластанные на протертых малиновых бархатных ложах обнаженные восковые тела с огромными, до чудовищности выпяченными — на прельщение — формами. Кошмар!

Были дни: под мягкими сгибами сюртучных рукавов я резко ощущал глазом поскрипывающие шарниры искусственных суставов; под белым, напряженным пластроном — отсутствие ребер, грудины, синеватой сеткой наброшенных сосудов: каркас, колесики и рычажки. Плечо над вырезом лифа — тронуть спичкой — растечется желтенькой, оплывающей воронкой. И так — все...

На улицах в такие дни — картонными, лакированными коробками волоклись по жестяным рельсам вагончики; резаные из дерева извозчики горячили сучковатых, плохо отструганных коней. И тупая безнадежность точилась из оловянных глаз — опорожненной на полковом плацу коробки солдатиков. Они были плоски, и только под ногами, гнутыми и раскоряченными, тронутыми краской не по месту, — четырехугольно-широкая, прочно лежащая на булыжнике дощечка — упор.

Психоз? Я чувствовал себя совершенно здоровым. Но быть без дела — это не проходит даром. А от дела я был совершенно отрезан. От Ивана Николаевича не

было вестей. Я ждал по уговору, но только раз — после экспроприации в Фонарном переулке, взрывами своих бомб всколыхнувшей Петербург на короткий момент, — мне позвонил кто-то по телефону: «Иван Николаевич кланяется. Сегодня он именинник».

Егоров перешел от меня на другую квартиру. Он тоже томился. Мы встречались редко. И когда встречались, он, потемнелый, осунувшийся, спрашивал, неизменно зажимая худыми коленями вздрагивающие ладони рук: «Скоро ли?»

Скоро ли? Почем я знал. Мысль не зажигалась — бездельем. Я не могу думать вперед. И впрок готовить людей. Из офицеров я отобрал пять-шесть; я говорил, не сводя их вместе, с каждым порознь. Но говорил не в упор. Ведь о завтрашнем разве скажешь так, чтобы взяло за сердце, если это завтрашнее не надо — сегодня же взять.

Я ждал. Среди манекенов. По временам, в антракте спектакля, в шорохе бального зала, тупой и жадной до удушья злобой схватывало грудь. Восковые фантомы оживали: каждый миллиметр их тела пульсировал тогда горячей, тягучей кровью, я чувствовал плоть сквозь тройной мрак — вдруг потемневших огней, одежды и кожи. Пышную — к жизни, к плоти тянувшуюся плоть. Плоть, не оправданную мыслью. Прекрасную, холеную — для себя и в себе живущую плоть... Плоть — для ножа и костра, для посвиста гильотины.

Если бы! Нет! Для этих — надо не так. Я помнил, я видел: длинные, низкостенные, крышей двускатной и плоской накрытые загоны — набитые до отказа, тело к телу, нога к ноге и плечо к плечу, этим человеческим откормленным скотом. Молчат. Только глаза на выкате: мозг уже мертв — цепенью смертного страха, но плоть, ее кровь — густая и синяя — живет. По узкой улочке одного

за одним — липкими, грязными камнями мощеным выходом — на каменный ручьями кровяных стоков исчерченный пол: голову набок — узкое, тонкое, гибкое лезвие, коротким быстрым ударом... Карточчио!

Следующий...

. . . .

В один из таких вечеров доктор Чеччот, круглый, багроволицый, очкастый, в кресле наискось слушавший, в той же гостиной, скрипичный концерт маэстро... как его звали, заезжего?.. сказал мне в антракте, ловя на узорной тарелке толстыми пальцами увертливый сандвич:

— Слушайте, батенька. Что-то мне ваши глаза не нравятся. По ночам-то спите?

— Сплю. Что мне делается.

Он покачал головой.

— А чертяк не видите? Эдаких... женоподобных, рогатеньких?

Он поймал-таки сандвич, повертел, выбирая с какого конца положить в рот.

— Заезжайте-ка ко мне в клинику как-нибудь. Поговорим по душам. И, во всяком случае, дайте себе отдых...

Он погрозил пальцем.

— Шалун...

И посторонился — сандвич в руке, — пропуская Магду.

. . . .

Клиника Чеччота — нервные и душевнобольные. Обошлось без нее. В октябре приехал, наконец, Иван Николаевич. Мы свиделись у Мигулина. Деньги запасены. В Финляндии оборудованы две динамитных лаборатории. Еще месяц, другой — можно начинать.

Люди? Полоса провалов тяжело прошла по партии. Но кое-что удалось опять восстановить. — О Выборгской

группе он говорил уже, да? Штифтарь, Химера... Эти уже рвутся, как вы... В Москве — действует доктор. Сообщал: успешно. На юг — организовывать, уехала Муся.

— Муся! Цела?

Иван Николаевич усмехнулся.

— Что ей сделается? Я ей рассказал наш план.

— Приняла?

Он поежился.

— Как сказать. Она ведь скрытная.

— Муся?

— Ну да. А вы как думали... она так — нараспашку? Эге... Не-ет. Лукавит... Она умница, как следует, Муся.

— Надолго в от'езд?

— Я в декабре думаю как-нибудь, в Питере или лучше в Финляндии, собрать перед приступом к делу всю основную группу. Своих и тех, что вы соберете здесь. Если Муся к этому времени не приедет, вызовем. Вы теперь действуйте во-всю. Кого вы припасли, рассказывайте.

. . . .

С этого вечера недели шли быстро. В ноябре, 16-го, я в первый раз собрал будущий штаб. От Ивана Николаевича шли регулярные — через четыре дня — эстафеты. В работе — кошмары отошли без следа: люди опять стали людьми.

. . . .

К Рождеству у Орловых решили поставить «Принцессу Грезу». Мне навязали Бертрана. Репетиции шли через четыре дня — в дни эстафет Ивана Николаевича. Репетиции надоедали. Моей партнершей была Багратион, «княгиня Марфинька», по заслугам стяжавшая славу самой взбалмошной женщины в свете. Петербургском, я разумею.

Взбалмошность сказалась уже в том, что она — маленькая, круглоплечая — играет «Принцессу». — «На зло

всем». Роль ей не по фигуре, хотя она очень красива. Она передает Ростана в тонах крыловского «Девичьего переполоха». И странно, — чем-то захватывает зрителей; но капризничает на репетициях несосветимо.

Режиссер — из Александринских знаменитостей — разводит руками, но покорен: пленен. Мне, естественно, достается от нее больше всех: ведь весь второй акт и третий — на нас с нею. Несчастье моей жизни!

К тому же, с первой репетиции она стала смотреть на меня, как на свою неот'емлемую собственность: она таскает меня за собой повсюду. Это тоже в ее стиле. И в расписание ее дня — я включен твердо и неизменно. Это скучно, хотя, в сущности, она водит меня как раз по тем выставкам, обедам и спектаклям, на которых все равно пришлось бы быть, так как бывают «все».

На той неделе она сказала за обедом мужу.

— Жан-Поль (он — Иван Павлович), почему вы с ним (кивок на меня) не на ты?

Жан-Поль поднял лысые брови с недоумением.

— А в самом деле? Как же это мы до сих пор не на ты. Предлог выпить флакон шампанского.

Мы поцеловались трижды. У него скверно пахнет изо рта. В «свете» — это редкий случай.

Противно становится. Кончить?

. . . .

Я ехал с Выборгской. Кронштадт опять начинает шевелиться: сегодня оттуда были два делегата. Свидание прошло не очень благополучно. Когда я вышел, у водосточной, обмерзшей трубы юлил, забрав голову в обсаленный барашковый воротник, скрюченный, в замазанном ватном пальтишке шпик. Не ко времени. Сегодня вечером на Гесслеровском у Маргариты будет Иван Николаевич. Я увел филера за собой. Нарочно. Весь путь до Англий-

ской набережной он трусил за мной следом на извозчике. Обертываясь по временам, я видел напруженное, из-за извозчичьей спины — кивающее на ухабах отмороженным ухом, — глупое, мокроусое лицо. Я привел его прямым трактом к под'езду Орловского особняка.

Швейцар в графской ливрее торопливо стукнул высокою дверью, делая вид, будто торопится отстегнуть уже отстегнутую дежурившим у под'езда дворником полость. Шпик об'ехал, раскатом саней, выпучив глаза. Через час он будет виниться в охранном, что угнался по ложному следу.

. . . .

Репетиция в восемь. Сейчас — десять: поздно — даже для опоздавших.

В гостиной графиня Орлова — сухая, седая, в низко вырезанном платье — покачала головой, протягивая мне для поцелуя руку. Она сидела с Акимовым и Лауницем. Из-за портьеры, за дверью зала — переливчатым гулом звучал смех. Кто-то выглянул на секунду, протопотал шпорой и скрылся.

— Вы шутите с огнем! Там уже отрепетировали два акта. Что вы скажете Марфиньке?

Лауниц всплеснул руками.

— Malheureux! Я предпочел бы иметь дело с двумя террористическими организациями в полном составе, чем с двумя ее очаровательными глазами, когда они в гневе. Это бьет на смерть, и против этого нет оружия. Над вами опасность смертного приговора. Бегите, пока есть время.

. . . .

Я взялся за портьеру. Но она взметнулась вихрем, я оказался лицом к лицу с Марфинькой.

— Наконец. Соблаговолили! Отчего не прямо к ужину? Позор! Если это повторится еще раз, я вас брошу!

— Вы сорвете спектакль, княгиня. Мое опоздание не в счет. Я знаю роль и помню mise en scén'ы. Хоть сейчас к рампе.

Она спрятала руки за спину и прищурилась насмешливо:

— Не доказано. Вы не держите тона.

— Я?

О да, конечно... Был влюблен Тристан
В свою Изольду, деву ирских стран.
Пылала Ода страстию к Роланду,
А юный Флор к прелестной Бланшефьор...
Но не любил никто до этих пор,
Как принц Рюдель — принцессу Мелиссанду.

— Лгун! — но глаза затуманились, стали детскими и ласковыми. — Если вы и сегодня будете вести любовную сцену в третьем акте, как маринованная рыба, и держать меня, словно у вас в об'ятиях не я, а чурбан, — я устрою вам такую сцену, что Жан-Полю придется вызвать вас на дуэль.

— Дуэль! sacré coeur! — блеснули над обнаженным плечом княгини чьи-то белые, неестественной белизной, зубы. — Между кем и кем?

— Между Жан-Полем и им.

— Ma très chère, вы издеваетесь. Это было бы дурным тоном.

Марфинька сердито дрогнула плечом.

— На! Он только на дурной тон и годится, Жан-Поль. И потом — надо же когда-нибудь побыть вдовой: я уже шестой год замужем!

В зале нетерпеливо хлопали в ладоши.

— Репетируем мы или нет? Княгиня, кончайте ваш à parte.

Мы об руку ступили на гладкий лощеный паркет. Режиссер, во фраке, в белом галстуке, расставлял стулья

для третьего акта, с назначенным ему в помощники рыжим уланом, смешно раскатывавшимся кривыми кавалерийскими ногами. — Здесь аркада, окно на террасу... Диван.

Вдоль стен пестрой цепью — участники. Ася помахал лапищей — с того конца зала. Вот дикость! Я только сейчас заметил, как он постарел за год.

Марфинька быстро оглядела меня.

— Вы сегодня какой-то особенный.

— У меня — неотложное дело сегодня, княгиня.

По лбу, вверх от бровей, змейкой скользнула под пудрой глубокая морщинка.

— Любовь?

— Нет.

— Вы хотите ехать?

— Мы отрепетируем. Но ужинать я не останусь.

— Я не буду вас задерживать... почему-то. Но завтра рано утром.

— Рано утром?

Она кивнула.

— Принц Александр Петрович... Вы ведь знаете, какой этот старик полоумный... прислал мне записку и два билета. Завтра в десять он открывает что-то... где-то... Почем я знаю! Наверное, что-нибудь неприличное: он ведь вечно возится с медициной. Но надо быть обязательно. — Она опустила ресницы и улыбнулась краем пунцовых губ. — Он на меня дуется, нельзя обострять отношения... Из-за Жан-Поля.

— Да, но...

— Программа на завтра, — не слушая продолжала она, — принцевское открытие, завтрак. Будем надеяться, он не затянется... на этих торжествах кормят чем попало. Оттуда маленький тур за город, да? У меня новая машина. Вы знаете, сто сил! Это вам — не Государственная дума!

Потом к Лоре Тизенгаузен: у нее играют завтра, с двух. Там обедаем. Вечером — в моей ложе, в опере. Ужинаем с Жан-Полем и Бетти, partie carrée. Запомнили: в половину десятого у меня. Не возражайте, это до меня не доходит, вы знаете, mon très cher. Говорите это другим. Да, да, да. Что вы так на меня смотрите? Дайте мне сумочку. Он не видит! Да вон же там, на окне.

Она выдернула из сумочки платок. Серебряный флакон, конверт, две скомканных записки веером рассыпались по паркету. Я поднял.

— Merçi. Конверт оставьте у себя, там билеты на утро: мой и ваш. Это будет залогом, что вы явитесь во-время. С вас всего станет. Но вы не пойдете на то, чтобы меня подвести.

— Если бы я даже не приехал, я не подведу вас. Билеты! Вам! Когда вас знает весь Петербург.

— Во-первых, я не знаю даже куда ехать. Не смейте смотреть! Спрячьте конверт сейчас же. И... отчего вы тут стоите, я не понимаю. Надя давным-давно уже ждет у аркады... Вы уже забыли. Вы начинаете акт — с Соризмондой. Это он называет: знать роль!

. . . .

На Петербургской стороне, по проулкам, темнели уже сном окна. Здесь, как в провинции: тихо. Рано ложатся спать. Я выехал на Гесслеровский почти в полночь.

В окне Маргариты — свет. На опущенной ровным раскатом шторе лежала спокойная и большая тень фикуса: фикус не отодвинут — все благополучно. Ждут.

На условный стук открыли сразу: когда входишь по лестнице — слышно.

— Иван Николаевич здесь?

— Нет до сих пор. Мы и то беспокоимся, не случилось ли чего. У меня Эсфирь, она вместе с Иваном Николаевичем сегодня приехала из Выборга.

Мы проходим коридором. Маргарита сзади меня говорит, слегка задержав дыхание:

— А Муся, знаете...

— Приехала?

— Нет. Муся арестована в Одессе. И, кажется, как-то... трудно арестована.

. . . .

Дверь в спальню открыта. За ширмой, на диване, большом с высокою спинкой, собравшись в комок, — Химера-Эсфирь, худая, со странным, прозрачным, как у горбатых (хотя она и не горбата), лицом.

— Куда ж вы Ивана Николаевича задевали?

— Не знаю. И мне бы его надо. Он обещал к одиннадцати быть, а сейчас уже первый час. Спать пора: Маргарита мне уже стелит в ванной. Ехали плохо, не выспалась.

Она потянулась сухим хрупким телом и встала.

— Вот незадача! Хорошо еще я Егорова, Васнюка и Кареева не вызвал.

Она обернула голову и насторожилась.

— А зачем?

— На совещание.

— Какое совещание?

— Да... по нашему плану.

— Что вы выдумали загадки загадывать. Что за план?

— Разве Иван Николаевич вам не говорил ничего?

— Он мне говорил много; слава богу, мы почти что вместе живем. Но о никаком плане.

— Зачем же вы приехали?

— Вот любопытный, — рассмеялась Химера. — Не для ваших прекрасных глаз, конечно. Мало ли какие у меня с ребятами дела. Кстати, не нужно ли вам чего-нибудь за границу? Через недельку я собираюсь... к «отцам».

— Как же мне теперь поймать Ивана Николаевича?

— Мы с ним на завтра сговорились на всякий случай. Он даст сюда знать. Заезжайте, я передам Маргарите.

— Завтра? — Я вспомнил «Марфинькину программу»... — Завтра — я вроде как бы в репейной заросли. Выдираться придется.

— Не с самого же утра?

— В том-то и ерунда, что с утра-то я хуже всего и занят. Конечно, я смогу быть в любое время, если твердо назначен будет час. Но утром мне обязательно надо в одно место заехать.

— На какой улице?

— Сейчас посмотрим — я еще и сам не знаю.— Я достал из кармана конверт: в конверте два бристольских листка, печатных славянской вязью.

«Его Высочество, Принц Александр Петрович Ольденбургский просит Вас пожаловать на освящение и открытие клиники кожных болезней, основанной при Институте экспериментальной медицины, на средства коммерции Советника г. Синягина». Это на Каменноостровском, значит. — «Начало священнослужения в 10 ч. утра. Форма одежды: для гг. военных — мундир, при орденах; для гг. штатских — фрак».

— Шикарная у вас конспирация — хотя и противно с такой швалью знаться. К одиннадцати кончится?

— Вряд ли. После обедни — завтрак, а я еду не один.

— Тут ничего не сказано о завтраке, — лениво сказала Химера, поднося под абажур, к свету лампы тонкий золотообрезанный картон. — Дайте, пожалуйста, с комода — скляночка там, с моим лекарством. А вы не можете не ехать?

— Конечно, не поеду, если нельзя устроить иначе.

— Устроим. Ну, скажем, после трех. Я предупрежу. Здесь?

— Добре. И вы приходите.

— Я спрошу Ивана Николаевича, удобно ли... Ведь не случайно он мне ничего не говорил. Держите ваши билеты. — Она вернула конверт и быстрыми пальцами стала подкалывать растрепавшуюся прическу.

— Трамваи еще ходят? Марга, я больше ждать не могу. Еду.

— Ты же мне сказала — постелить.

— Я? Разве я так сказала? Нет, мне обязательно нужно... И сейчас: там в половину первого запирают ворота... Придется на извозчике... Надо пройти раньше, чем дворник на дежурство выйдет... Я эту книжку захвачу, можно?

Она повернула к Маргарите корешком взятую со стола книгу.

— Что тебе вздумалось! «Плодоводство»?

— Я верну завтра. Ну, до скорого.

Кивнула головой, не глядя. Вышла.

Стукнула дверь; с наружного хода проскрипел блок.

— Вот сорвалась, комик! — покачала головой Маргарита. — Всегда она такая несуразная. Пойдем чай пить. Может быть, Иван Николаевич еще и подойдет.

. . . .

Иван Николаевич не «подошел». В прихожей, на подзеркальнике, лежала забытая Химерой книга.

ГЛАВА VII

ОСВЯЩЕНИЕ

Княгиня Марфинька оглянула меня подозрительно с головы до ног.

— Вы чудесно выглядите сегодня. Не так, как всегда. Где вы вчера были?

— У знакомых.

— Говорите прямо: у женщины.

— Нет.

— Выдумщик! Такие глаза бывают только после того, как... Я не поеду с вами.

Она скомкала платок и села, капризно закинув нога на ногу. Я сел насупротив. Княгиня права: ехать надо не раньше, как через десять минут: надо же чем-нибудь занять это время. У каждого свой стиль: она выбрала себе стиль несносной женщины. Это хорошо, это дает право не слушать.

Я просчитал: она говорила что-то — не десять, но пятнадцать минут. Через пятнадцать минут посветлела, припудрилась, протянула руку для поцелуя и велела подавать автомобиль.

— Сегодня вы не попадете ни к каким этим вашим знакомым... Вы помните нашу программу: я не отпущу вас. Едем же! Вы заставляете меня опаздывать.

. . . .

Шофер не сразу нашел проулок, с Каменноостровского выводящий к Институту экспериментальной медицины. И то сказать, проулок этот — затерянный и глухой, меж высоких парковых заборов.

Марфинька откинулась вглубь лимузина.

— Бог мой! Какая дикая глушь. Здесь не грабят?

— Только не сегодня, княгиня. Вы видите, охрана...

В конце тупика, шеренгой выстроились, против ворот с десяток извозчичьих саней. Чей-то автомобиль, торкаясь колесами заднего хода о свежесгребенные снежные кучи, заворачивал в узорчатые, скосившиеся на петлях ворота. Наш шофер дал гудок, и дворник, качая огромным воротником вз'ерошенной бараньей шубы, снова навалился руками и животом на отклонившуюся, сузившую проход, створу.

У под'езда нового здания, от которого только что от'ехала обогнавшая нас машина, — кто-то в цилиндре и легком не по сезону пальто расплачивался с извозчиком. Когда мы поровнялись с ним, Марфинька, вздрогнув, схватила меня за руку.

— Ваш двойник! Смотрите. Имени нет.

Он был похож. В самом деле. Совсем. Мои темносерые глаза и овал лица, и разрез губ, чуть прикрытых усами, и посадка головы, и наклон плеч... Только подбородок — открытый у меня — был прикрыт белокурой, остро и свеже подстриженной бородкой. Но подбородок раздвоен, наверное.

Он приподнял, вежливым и изящным поклоном — цилиндр. Марфинька ответила на поклон, спросив меня быстрым шопотом:

— Кто это?

— Я вижу его в первый раз.

— Пресвятая Мария! Он сошел с вашего зеркала.

В вестибюле, у вешалки, он нагнал нас. Фрак чуть-чуть угловато сидел на широких крутых плечах, но пробор был тщательно зачесан, белый галстук безукоризненно свеж. Он поклонился снова. Княгиня растерянно протянула руку.

— Princesse!

По лестнице, широкими, белыми, лощеными ступенями уходившей вверх, простучали кандальным твердым стуком шпоры. Лауниц с ад'ютантом, в орденах на шитом свитском мундире, торопливо шел, покачивая коротко постриженной седоватой головой. Полицейские и агенты в штатском, кучкой толпившиеся у стены, подтянулись.

— Princesse!

Он, в свою очередь, наклонился к руке.

— Глядя на вас невольно благодаришь творца за то, что нам дана жизнь... Ах, с какой радостью я поменялся бы местом с этой молодежью!

Он вздохнул и перевел взгляд на стоявшего рядом со мной двойника.

— Брат? До сих пор я считал вас единственным в роде.

Не слушая моего ответа, он рассеянно кивнул и снова обернулся к княгине.

— Разрешите просить, — он сделал широкий жест по направлению к лестнице. — Я ведь сейчас вроде хозяина. Синягин, жертвователь, — встречает вверху, я — внизу, по долгу службы.

— Скучная служба, будем откровенны, Владимир Федорович.

— Воля монарха, — приподнял пожатием плеч густые, трясущиеся мишурой серебряных свесов эполеты Лауниц. — Я с радостью сменил бы этот пост. Но — я именно здесь нужен государю, — я остаюсь.

— Их высочества уже в церкви?

— Еще не прибыли. Но ад'ютант его высочества уже сообщил о выезде. Принц здесь неподалеку. — Лауниц улыбнулся.

— На Крестовском, у своей цыганки...

— Вы ужасны, княгиня... За завтраком вы разрешите мне занять место...

— Напротив меня, — засмеялась Марфинька. — Совсем напротив.

Она оперлась на мою руку, подхватив другою рукою трен, и быстро пошла вверх. «Двойник» шел следом, отстав на ступеньку.

В церкви — светлой и простенькой зале, застланной коврами, — было человек полтораста. Служба еще не начиналась. В зале стояли говор и тихий смех. Правда, в

одной только правой его половине, где бесстройно и весело, переходя с места на место, стояли приглашенные принца. На правой стороне, отведенной «финансовой аристократии» — приглашенным Синягина, — благоговейно и строго, «гнездами» стояли плотные, купеческой складки мужчины с бородами, расчесанными поверх пластронов фраков или отворотов об'емистых длинных сюртуков, и женщины с распяленными локтями, с испугом в напряженных глазах — в бархате, шелку и бриллиантах.

Между двумя половинками — узенькая красная дорожка от алтаря к двери: она казалась стеной.

Мы повернули вправо. Незнакомый молодой человек остановился у двери в левой половине. Марфинька обернулась:

— Синягинец! Я должна извиниться перед вами: я сказала «двойник». Вы должны меня простить. Вы видели, какие у него руки. Когда я пригляделась, я чуть не вскрикнула. Тихий ужас. Огромные красные пальцы... Лапа! Фи! Это плебей.

— Но лицо?

— Ах, лицо ничего не значит. О человеке можно судить только по рукам и ногам. Смотрите: в довершение всего, он еще в шнурованных ботинках. При фраке! Имени нет.

В зале внезапно стихло. Толпа приглашенных расступилась. Сопровождаемый семенящим сбоку Синягиным, тряским быстрым шагом молодящегося старичка вошел принц Александр Петрович Ольденбургский. Кивками лысой, глянцевитой головы отвечая на почтительные поклоны, он осмотрелся, выпятил игривой улыбкой огромную вставную челюсть, притопнул каблуком с насаженной на него крутой шпорой и потянул руку Марфиньки вверх, на весь свой высокий рост, к ощеренному рту.

— Вы еще похорошели, княгиня!

Он подмигнул мне и погрозил пальцем.

— Он здесь, этот отчаянный! Берегитесь его, княгиня. Пусть Ревнов вам расскажет, как этот юноша под носом у меня прорвал чумное оцепление в Анзобе. Рас-стре-лять, ха-ха! Но он провалился, как Мефистофель в трап. Prenez garde! Он способен прорвать и у вас...

Принц захлебнулся сиплым смехом. Марфинька сдвинула брови.

— Я разумею, прорвать и ваше оцепление, княгиня.

— Разве я чума? — холодно сказала Марфинька. — Вы необычайно любезны и остроумны сегодня, принц.

Ольденбургский захохотал еще громче.

— Вы ловите меня на слове. Но разве вы — не гибель, не подлинная чума для наших сердец, княгиня?

Он наклонил к ее волосам перекрытое сеткой синеватых прожилок лицо.

— Увы, и мое старое годами, но еще достаточно не остывшее сердце...

Он резко оборвал и принял строгую, застылую позу. Лицо сморщилось, стало дряблым и виноватым: глухо пристукивая посохом по ковру, вся в черном, с кружевной наколкой на редких седых волосах, сгорбленная и хилая, — к нам подходила жена принца, принцесса Евгения Максимильяновна.

Марфинька, сложив руки, сделала глубокий придворный реверанс. Старуха улыбнулась приветливо и скорбно.

За царскими вратами зашелестел, скользя по шнуру, шелковый занавес. Волосатый, огромный протодьякон взнес руку, опутанную новеньким, парчевой змеей скользившим сквозь пальцы, орарем.

— Благослови, преосвященнейший владыко...

Ряды зашелестели, выстраиваясь. Марфинька со вздохом проговорила, наклоняясь:

— Этого хватит на целый час. Ради бога не отходите: может быть, нам удастся ускользнуть как-нибудь раньше...

. . . .

Ускользнуть не удалось. Принц истово отматывал справа налево крестные знамения, перетаптываясь у амвона и беспрестанно оглядываясь назад. Пока он в церкви, — уезжать было неприлично: княгиня покорилась. Я — тоже: запах ее пармских фиалок отгонял кадильный дым.

Наконец! Последние возгласы...

Архиерей, тяжело взмахивая черным, в серебро оправленным кропилом, двинулся к дверям церкви, осеняемый дикирием и трикирием. Хор, сбиваясь с такта, тянулся с клироса. Принцесса переняла свой посох в левую руку и милостиво оперлась о дрожавшую от благоговения и гордости руку жертвователя. За ними двинулись к выходу Ольденбургский и Лаукиц, с ад'ютантами.

— Княгиня, — проговорил принц, проходя мимо нас.— Принцесса и я будем рады видеть вас возле себя. Пожалуйте. Капитан Воршев, озаботьтесь этим.

Ад'ютант щелкнул шпорами и приостановился, пропуская нас. Мы вышли на площадку.

Внизу, оседая по ступеням негкущимися полами золотых стихарей, в предшествии замолчавшего хора, тяжело прядали архиерей, протодьякон, священники. Черная наколка принцессы кивала в такт спуску.

— Вам взаправду придется прорывать сегодня чумное оцепление, — сквозь зубы проговорила Марфинька.— Они окружают нас, Maladetta!

Озади шелестели по камню ступеней шелковые шлейфы, мягкая поступь еще по-церковному осторожных шагов.

Принцесса остановилась, рукоятью посоха указывая на широкое окно, сквозь которое радужным потоком били

морозные, насмешливые лучи. Голова Синягина быстро и радостно кивала под светом.

— Он зайчиков лысиной пускает, смотрите, — тихо засмеялась Марфинька. — В самом деле, смотрите по стене... Боже!

Я повернул голову. Бледное, бледное знакомое лицо, в профиль, скользило, как тень, вдоль стены... Тот с большими руками, во фраке... Он бежал, прыгая через две ступеньки.

Марфинька неистово вскрикнула и схватила меня за руку.

— Будет стрелять!

Прямо на Лауница. Лауниц дернул плечами, обертываясь. Поздно. Короткий, плоский, вороненый ствол прижался к стриженному затылку. Выстрел, второй. С диким воем бросились назад, вверх, спускавшиеся пары.

Принц отскочил к стене. Воршев рядом со мною, дрожа коленями, тянул из ножен широкое, нестерпимо яркое лезвие. Марфинька хохотала у перил, цепко прижимая к груди мои руки.

— Не вырвете! Нет, не пущу!

На площадке ломилась в захлопнутую, диким размахом, церковную дверь обезумевшая, воющая толпа. Мелькали кулаки, смятые прически, лоскутья разорванных платьев. Тело Лауница, лицом вниз, медленно оползало по ступеням — навстречу бежавшим от входа, вперегон, людям в серых пальто, с оружием.

Красные жесткие пальцы перевели затвор. Он приставил дуло к виску. Вопль и топот бегущих перекрыл выстрел. Или — его не было? Он вздрогнул и сел, уронив руку, прислонясь к перилам. Воршев, далеко, во всю длину огромной руки взнеся шашку, ударил косым и страшным ударом труп в темя. Лезвие сорвалось. Оно

взметнуло в воздух лоскут красно-желтой кожи. Воршев ударил вторично, глубоко вогнав клинок в точеный настил перил.

— Отставить! — хрипло выкрикнул принц, шаря по стене прижатыми за спиной ладонями. Он дышал тяжело, свистящим дыханием, выпячивая желтые, мертвые зубы.

Марфинька закрыла глаза и, шурша платьем, опустилась на ступени. Я оставил ее и подошел к трупу.

Сейчас уже не отличить было черт лица под сеткой ровно точившейся крови — от сабельного среза и двух — ясно видны два черных ровных пулевых входа — ран. Галстук, грудь, воротник залиты красным и липким. Тихо стало на лестнице. И в тишине этой слышно, как бьют внизу о пол, падая в пролет, тяжелые, багряные капли.

— Ви-но-ват... Ваши документы?

Кто-то с распушенными усами, в полковничьих жандармских погонах, дотронулся до моего плеча широким жестом.

— Я не ношу при себе фамильного архива.

— Ваш входной билет, по крайней мере.

Я достал конверт: в нем был только один листок золотообрезанного бристоля.

— У меня нет билета.

Наклоном головы полковник указал вниз:

— Пожалуйте.

Выше, минуя меня, уже разомкнулась, запирая цепью ширину лестницы, серая зловещая шеренга.

Я сделал шаг по ступеням вниз. Княгиня быстро поднялась:

— Куда? Вы... не в себе, полковник!

Человек с пушистыми усами поднял руку к козырьку.

— Мадам...

Марфинька брезгливо обвела глазами круг:

— Я не вижу, с кем вы говорите, полковник...

Рука снова, напряженно, примкнулась к козырьку.

— Я извиняюсь... необходимо выполнить известную формальность.

— Формальность... для нас? Вы смеетесь, полковник. Я не поеду одна из-за ваших формальностей. Ваше высочество, это же неслыханный произвол.

Принц отнял ладони от стены и вздрогнул всем телом.

— Ее высочество?

В самом деле, мы все забыли о бедной старухе. Где?

— Их императорское высочество в полной безопасности. Они успели сойти... до случая. Они дожидаются вашего высочества в приемной.

— Да-да! — закивал Ольденбургский, собирая в морщины дряблые красные щеки. — Иду, иду. — Он стронулся, но тотчас же остановился. — Полковник...

Пушистые усы дрогнули и застыли. Жандарм вытянулся во фронт.

— Мы все повинуемся княгине Багратион. — Он наклонил голову перед Марфинькой. — Примите это к сведению... и руководству.

— Слушаюсь, ваше высочество.

Княгиня в упор, вызовом глянула на труп и взяла меня под руку.

— Едем.

Ад'ютант Лауница, наклонившись к жандарму, быстро говорил ему на ухо. Глаза полковника стали растерянными и злобными. Он снова приподнял руку.

— Виноват. Но ротмистр... сообщил мне чрезвычайно важное сведение. Генералу Лауницу представлен был на подпись два месяца тому назад ордер на арест вашего спутника. По сведениям охранного отделения, он член военно-революционной организации и еще другое. Покойный генерал не подписал... по той же, очевидно, при-

чине, по которой и мы чуть было не дали ему сейчас уйти. И если бы генерал подписал... кто знает, может быть...

— Я вынуждена повторить вам: вы не в себе, — с ледяным, таким необычным для «несносной» спокойствием проговорила княгиня, цедя слова. — Вы, может быть, пожелаете арестовать и меня?

— Их видели перед входом вместе.

— Мы вошли втроем, — гневно откинула голову княгиня...— У вас нет ни малейшего такта. Прикажете мне опять потревожить его высочество, чтобы он дал урок вам, как нужно обращаться с людьми нашего круга?

Полковник развел слегка руками.

— Но, княгиня, войдите в мое положение.

— Мое имя и его имя вам известны — этого довольно. Пусть ваши... шпионы десять раз правы, — вы можете сводить ваши счеты...

— Выполнять свой долг, княгиня...

— Долг? — брезгливо скривила губы Марфинька. — Пусть будет долг. Сводите его, когда меня не будет. Но при мне и для меня он только — вы слышите, полковник, — только человек моего круга, которого я пригласила обедать и с которым я б у д у обедать на зло всем вашим департаментам.

— Но, княгиня...

Она нетерпеливо пожала плечами.

— Кончим, полковник. Этого человека знает весь Петербург. Вы боитесь потерять его, если он выйдет со мной за дверь? Это смешно, по меньшей мере. Вы слышали, что сказал принц?

Полковник поклонился.

— Вы не убедили меня, княгиня. Но... поскольку отсутствие ордера дает мне формальную возможность... я соглашусь отсрочить тот необходимый после сегодняш-

него случая разговор, который нам придется иметь с вашим спутником. Вы будете любезны заехать сегодня же после обеда, к нам — Тверская, десять?

Я улыбнулся:

— Нет.

Зрачки полковника сузились:

— В таком случае, мы привезем вас.

— A la bonne heure! — весело кивнула княгиня... — Наконец, это начинает походить не на...

Полковник спустился с нами в вестибюль.

— На всякий случай: адрес?

— Есть в телефонной книжке.

Мы вышли. Следом за нами, запахиваясь на ходу, вышло трое чужих.

— Лора в двух шагах отсюда, — сказала, не глядя на меня, княгиня, когда автомобиль стронулся с места. — Эти господа способны отравить наш сегодняшний обед... Какой ужас, этот бедный белокурый! Я ужасно испугалась: Лауниц упал, как шуба с вешалки. Это так страшно! Я не очень некрасиво кричала, скажите? Мы увеличим наш маленький круг, у нас есть на это время. Вы не возражаете?

Автомобиль, вздрагивая на рессорах, выезжал за ворота. Княгиня взяла трубку.

— На Удельную и — дайте ход, шофер.

. . . .

По Каменноостровскому вверх — к островам. Княгиня, отвернувшись, смотрела в окно. Потом спросила:

— Что вы думаете делать?

— Я не понял вопроса, княгиня.

— Вы не поедете к этим... жандармам?

— Нет, конечно.

— Из брезгливости или...

— «Или». Брезгливость сама собой.

— Вы давно уже?

— Давно.

— Странно. Мне никогда не приходило в голову. Только сегодня, когда я держала вас, там... Дикое ощущение... точно не вас — его. Потом открыла глаза — нет: он у перил, с бородкой. А когда подошли жандармы, я уже знала наверное: это — за вами. Не говорите, не надо.

Она быстро оглядела меня, улыбнулась и повторила:

— Не говорите, не надо. Мы едем обедать к Лоре. Я не хочу сейчас ни о чем таком думать.

ГЛАВА VIII

ПОСТРИГ

У Лоры рассказ о смерти Лауница не произвел впечатления. Чегодаев — крупнейший из «новых», на военных поставках набивших состояние богачей, переменивший с высочайшего разрешения фамилию при переезде в новый особняк, — метал банк: ему не везло несказанно: он проигрывал, с довольной улыбкой выбрасывая крупные бумажки жадно тянувшимся к ним — аристократическим, породистым рукам. Толпившиеся у стола игроки недовольно переминались поэтому, выжидая окончания рассказа княгини. Перерыв — кто знает! — перемена счастья.

Княгиня кончила. Кто-то сказал: «Ужас!» Кто-то пожал плечами:

— Профессиональный риск. С этим приходится считаться.

— Его предупреждали словом и делом. Из трех тамбовских усмирителей оставался только он один.

— В самом деле: Луженовский убит. Богданович убит.

Лора сжала руки:

— Ужас! Скоро нельзя будет по улицам ходить.

— Управятся! — тряхнул головой кто-то лысый и крашеный.

— Виселиц хватит.

Чегодаев щелкнул свежей колодой. Опять раскрылись прихлопнутые было бумажники, зашелестели по сукну ставки.

Марфинька оглянула меня.

— У вас есть деньги... дома?

Я отошел к столу и бросил на второе табло оказавшуюся в бумажнике двадцатипятирублевку. Первая талия: дана, дана, дана.

Банкомет, улыбаясь попрежнему, расплатился. Игра продолжалась.

. . . .

Уже три раза Лора, капризно и настойчиво, напоминала, что пора обедать. Но «полоса» шла попрежнему. Чегодаев проигрывал, — и игроков нельзя было оторвать от стола.

Княгиня сделала мне знак глазами. Я снял последний свой выигрыш и отошел за нею вглубь гостиной. Она села на козетку, оперев о колени локти: поза, которую в «свете» прощали только ей одной, — и спросила коротко и строго:

— Сколько?

— Я не считал: тысячи две или три.

Она кивнула.

— Время идет.

— Вы склонны сократить вашу программу, княгиня?

О-бе-дать! — в четвертый раз крикнула Лора. — Господа, я играю сегодня: в семь с половиной, не позже, я должна быть в театре. Вы хотите, что я играла голодной?

— Муж будет недоволен, — медленно сказала Марфинька. — И будет по-своему прав: дело немного походит на скандал. Конечно, я все сделаю, чтобы не скомпрометировать его...

— Что сделано — сделано, княгиня.

— Вы — ребенок, несмотря на все, — пожала плечами Марфинька. — О разговоре там, в клинике, не знает никто: два жандарма и труп, это — не свидетели. То, что я сделаю сейчас, — будут знать все. Уверяю вас, на меня не ляжет ни малейшей тени.

— Что же вы сделаете сейчас?

— Скажите по совести: у них могут быть какие-нибудь серьезные данные?

— Если среди тех, с кем я работал, есть провокаторы — да. И потом...

— И потом?..

— Я не уверен, что мой пригласительный билет не в кармане фрака, там — на лестнице.

Княгиня вскинула голову.

— Вот как? Тем более. Так вот: на четверть часа телефон в вашем распоряжении, и вы можете делать что угодно. Через четверть часа я звоню в это их управление... ну, туда, на Тверскую... что вы — здесь, и... кончаете обедать.

— Сигнал, чтобы они спустили собак?

— Гончие давно уже рыщут по вашему следу... Эти сани — боком на ухабе... Какая лошадь! Они угнались за нами до самой Поклонной горы.

— По городу мы не могли развить скорости, а за городом—глубокий снег... Только когда мы вышли на шоссе...

— Да, да. Но если бы этот звонок и был сигналом...

Она встала, выпрямилась и сказала высокомерно, цедя слова, как тогда, на лестнице, в разговоре с полковником:

— Надеюсь, вы не думаете, чтобы княгиня Багратион способна была укрывать революционеров...

— Вы уже укрыли.

Тонкие губы сжались.

— Это только чувство жеста. Вы по моей вине попали в эту западню: без меня вас не было бы на освящении. Я уровняла снова, — сколько могла, — шансы игры. Только.

Она снова опустилась на козетку.

— Вы для меня теперь, когда я знаю, — пленник-гладиатор, скиф. Я выпускаю вас на арену. Но если вы не отобьете удара, — поверьте, я первая опущу палец к земле: «Добей его! Pollice verso!»

Лора подошла к нам, досадливо потирая руки.

— Несносно! Когда Чегодаев проигрывал, они присосались к нему. Теперь, когда ставки текут обратно в его карманы, — у них не хватает духа встать. Отчего у мужчин, даже породистых, эта подлая жадность?

— Можно ему пройти в твой кабинет, Лора? Он хочет поговорить по телефону.

Она, улыбаясь, показала на циферблат.

— Мы начинаем. Пятнадцать минут — ровно.

— Пари? — полюбопытствовала Лора.

— Если бы! Нет, рог трубит по красному зверю... Не теряйте времени.

. . . .

Я вызвал номер своей квартиры.

— У телефона, — ответил низкий, невнятный, чуть хриповатый голос. — Кто говорит?

— Это ты, Сережа?

— Я, — обрадованно рявкнул голос. — Кто говорит?

— Стива Облонский, — не узнал?

— Сейчас узнал... а то... трубка чего-то... Ты откуда?

— От Карениных.

— Да, да... и я собирался. Ты один там — или еще кто-нибудь из наших?

— Все здесь: и Вронский, и Китти, и Левин.

— Очень жаль, я не смог. Нездоровится. Ты не мог бы заехать ко мне?

— Я заеду через полчаса-час.

— Прекрасно! Авек плезир! Буду ждать.

Я повесил трубку, вернулся в гостиную и сел рядом с Марфинькой.

— Что же вы? — слегка удивленно спросила она.

— Я позвонил домой: там — засада.

— Ну и что ж?

— Ничего. Я хочу послушать, как вы будете звонить в охранное.

Она взглянула на часы.

— У вас еще десять минут. Скажите что-нибудь.

— Достаточно сказать мне «срок», чтобы я считал, что он — уже прошел.

— Дикость! Вы входите в роль скифа! — она откинулась на спинку козетки и закрыла глаза.

. . . .

Стулья задвигались. Игроки встали. Чегодаев, смеясь, засовывал в карман фрака толстой, обеленной манжетой рукою черный бумажник. Марфинька вздрогнула и открыла глаза.

Часы на камине пробили чистым серебряным звоном. Марфинька быстро поднялась.

— Шестнадцать минут! Я опаздываю. Куда звонить? Как это называется?

Я нашел номер губернского жандармского управления в телефонной книжке, на столике Лоры. Княгиня сняла трубку и протянула мне свободную руку.

— Это — полиция? Как? Ну да, я так и говорю. Скажите полковнику. Ах, почем я знаю его фамилию... Та-

кой, с усами. Что значит: все?! Ну, тот, что был сегодня в клинике, когда убили Владимира Федоровича. Да, да... Княгиня Багратион.

Она переждала, закрыв глаза. Левая рука крепко сжимала мне пальцы.

— Не больно? Что?.. Я — не вам! Да, я. По поводу сегодняшнего. Я должна вам сообщить, что лицо, которое вам нужно... ну да, конечно, о ком же еще... находится сейчас здесь, на Каменноостровском, четырнадцать, квартира четыре, баронессы Лоры Тизенгаузен. Да, да. Не за что. Долго ли? Об этом я его не буду спрашивать, конечно. Это значило бы предупредить, не правда ли? Мы садимся обедать, он проходит в столовую. Больше я ничего не знаю и не хочу знать. Остальное — ваше дело. Пожалуйста. Я только выполняю свой долг, полковник.

Она положила трубку. Я поцеловал ей руку и вышел.

. . . .

У под'езда не было никого. Проезжавший лихач круто осадил лошадь.

— Прокатил бы на резвой, ваше сиясь...

Шпик?

Я прошел, не отвечая, в обратную сторону. Оглянулся: извозчик гнал лошадь дальше, к Островам. Глупо. Можно было бы взять.

До Кронверкского недалеко. Быстрым шагом я повернул с площади влево, к Выборгской. У клиник извозчик высадил больного с провожатою. Филеры не возят больных. Я нанял извозчика на Сампсоньевский.

На Сампсоньевском была в прошлом году партийная явка: провалена она? Существует и до сих пор? Сменена? В центре показываться было опасно. На вокзал? Без паспорта, во фраке? Безумие! На Гесслеровском — девяносто девять шансов из ста, что в квартире Маргариты — засада тоже...

Извозчик трусил, оглядываясь. Прошумел, самодовольно, паровик. Проспект кончался.

— Назад поверни. Проехали!

Сани завернули раскатом, торкаясь хвостами полозьев о рельсы; я перебирал в уме адреса и клички. Кого бы можно найти здесь, на Выборгской.

Булкин! Вот же к кому! Бродская, семь, кажется.

— Извозчик, есть здесь Бродская?

Он повернул платком повязанное под стеганой шапкой лицо.

— Что-то не припомню. Городовика спросим. Он должон знать.

Городовой, присматриваясь к моему цилиндру, пояснил: ехать прямо, до второго угла, налево повернуть и опять прямо. Выведет на Бродскую.

. . . .

Седьмой номер. Домишка чахленький, деревянный, зябкий. Калитка звякнула ржаво. Тявкнул под ногами пес.

На крыльце — не сразу нащупал впотьмах обрывок проволоки в проверт ободранной, когда-то обитой войлоком двери.

Женский голос спросил сквозь дверь:

— Вам кого?

— Булкина, Савву.

— Нет его.

— Ладно, отпирай, подожду.

— Чего ждать! Може, он ночевать не буде?

— Будет, куда ему деться. Отпирай, тетка, зазяб.

Щеколда стукнула. Пахнуло — с паром вместе — запахом кухни и керосина. Баба в синем платке по рыжим волосам попятилась.

— Вам к кому?

Из приоткрытой двери выглянул, прячась, знакомый кривой глаз.

— А вот к нему самому... к Савве.

Дверь приоткрылась шире.

— Мать честна, кого бог принес! А я уж, признаться, было...

Савва вышел, запихивая что-то в карман.

— Какими дорогами? Фертом-то каким, мать пресвятая богородица!

— Дело есть. Куда проходить-то, Савва?

— Проходить-то сюда. Аниська, скатерть и — понимаешь: живым манером.

Он пропустил меня в дверь, успокоительно бормоча:

— Аниська — она верная! Блудливая баба, рыжая. Но насчет полиции крепче человека не найти. Муку примет — не выдаст! Не баба — прямо сказать: женщина.

Комната Саввы просторная и пустая. Сундуки по углам, кровать двуспальная, в четыре подушки, под покрывалом. Икона с лампадкой. У стола — кресло.

— Жи-вешь!

Он подмигнул.

— Подторговываем, так сказать. Я на случай билет выправил. При одном маузере, скажем, не вполне удобно в смысле околоточного наблюдения. Торгуем при случае вразнос, хотя и без гильдии.

Он понизил голос.

— А наши, как сказать... Окончательно вроссыпь пошли кои. Угорь в тюрьме. Непутевого, по старой памяти, за заставой подранили, кровью харкать стал, богу молится, стих. Щербатый, слышь, на Москву подался... На Валаам-то так, ведь, и не удосужились. Оробел народ к посадке... Как, говорит, поедем, да как с пароходом, — тьфу! Щербатый-то и обиделся...

Аниська, неслышно ступая валенками, внесла бутылку и тарелку с грибами.

— Вот чкнем, по случаю встречи... Наконец, довелось — в настоящем-то виде. Ну и шуба! Мы все гадали за заставой: что за человек? А он вон какой! Ну — и барин!

— Тише, Савва!

— Ничего. Тут кругом все, можно сказать, свои — надежные ребята. Всяких делов видали. Огурца солененького подгони, Анисьюшка. Слышь? Огурца! С приездом, с благополучненьким.

— Я к тебе вот зачем...

— Постой, товарищ Михаил. Надлежит, по обычаю. Сначала — чкнем, во здравие. А там — и о деле.

Он опрокинул рюмку в горло и крякнул.

— Всякое, можно сказать, ел ухищрение, а лучше нет под водку, как огурец. Анисья, та больше норовит рыжик. Но это, по моему суждению, женское. Нет лучше огурца. Первая — колом, вторая — соколом. Выпили.

После четвертой Савва отдулся и сказал.

— Ну-с, теперь, до нового приятия, докладайся.

— Докладаться не долго. Охранка дозналась, на квартире у меня засада.

Савва свистнул.

— Так-с! Эт-то пошло дело насерьез. Что же делать будешь?

— Перейду на нелегальное. А сейчас, пока меня ищут, надо спешно выбраться из Питера. Прежде всего, одежду переменить.

— Одежа — дело плевое: оборудуем духом. Денег тоже дам.—Он подмигнул опять.—Я вам говорю, подторговываем. Ну, а вот с документом как?

Он задумался.

— Конечно, можно бы и у ребят позаимствовать, а только примета будет, прямо сказать, не та: рабочая примета, а ты — вон какой.

— А из монастырских... помнишь, говорили... не осталось? В монастыре — всякого звания люди.

Савва ударил по коленкам.

— Верно! И подрясник ведь твой у меня цел, ей-бо! — Он закинул голову и захохотал.

— Ой же и лихо. Была, была где-то бланка... Постой, никак под тюфяком.

Притоптывая каблуками, он подошел к кровати, отвалил тюфяк и запустил под него руку.

— Тут у меня где-то книга божественная, в ней и беганки. Во!

Он вытащил книгу в кожаном переплете.

— Рцы, отцы, во все концы, о грехе овцы, аллилуя. Сейчас, брат, дочтем до точки. Примялся, пес его...

Он растопырил рукой широкий, желтоватый бланк.

— Видел? и печать обительская и подписание. Только прописать: прозвище и куда путевое.

— Какое путевое?

— Н-на! Бланка-то какая? Которые монахи в посыл на сбор или по другой надобности, тем и дают. Видишь, как печатано. Тебе в какой город податься сподручнее?

— В Ярославль.

— А там монастырь есть?

— Зачем монастырь? Мы так просто напишем.

Булкин покачал головой.

— Негоже! Для сбора надо сверх документу еще и книжку, а книжки у меня и нет.

— Великое дело! Ежели что — скажу: потерял.

— Негоже, я тебе говорю! По сбору монахов посылают, не послушников. А ты какой монах, где у тебя волосье-то? За послушника сойдешь еще, а чтобы монах — нет. Тебя и писать надо на послух. Значит, в монастырь какой.

— Ну, тогда пиши в Киево-печерскую лавру. Я кроме ее да Троицкой лавры и монастырей-то не знаю.

— Вот ты, брат! — укоризненно причмокнул Савва.— Ученый небось, а чего необходимого — не знаешь. А ну-сь, давай писать: ночевать-то у меня все же неподходяще будет. Я тебя к Аниськиной сестре. У нее надежно: ежели чего — скажет «гость». По монашеству-то тебе определенно: тайный женский пол нужен. Наливай-ка баночки. А я чем писать приволоку. Анись, Марфиньку сегодня видала? Нет? Тут мне к ней монашка одного спасаться желательно направить.

— Монаха? Пропади ты!

— Го-го-го! — залился Савва. — Ты к нам в камору погоди заходить.

Он шумно захлопнул за собой дверь и поставил на стол, отодвинув бутылку, пузырек с чернилами.

— Пишем. Как тебя по прозвищу?

— Пиши: Михаил Черниговец.

— Правильно. Так оно выходит — и постное и скоромное. И-эх! «Обители святых Германа и... послушник Михаил Черниговец... по благословению отца настоятеля»... Ты его, к слову, видал — представительный старец, из кавалергардских солдат, говорят, с самого правого флангу — во здоров! «...в Киево-печерскую...»

Он старательно выводил, посапывая, писарским, колючим почерком буквы между печатными строками текста.

— А в возглавии документа смотри-кось: храм! — щелкнул он пальцем по бумаге. — Не документ — спасение душевное, иже во святых отец... Особенно, ежели при некоторой монете. Монетой снабжу, не сомневайся... Мы, брат ты мой, добро помним. Скидавай шубу-то.

Увидев фрак, он присвистнул.

— Э-эх, брат Михаил! Была, можно сказать, жизнь! Ежели как на духу, не жалко?

— Нет, Савва, не жалко.

— Круговорот, — покачал он головой. — Мы к твоей жизни ладимся, ты — к нашей. — Он повертел рукой. — Не понять. Мудрено.

И добавил, уже другим, деловым голосом:

— Сколько же за такую одежу, к примеру, плачено?

. . . .

Я переоделся в белье Саввы. Не по росту, но на первый раз хватит. Зато подрясник пришелся, как по мерке. Савва оглаживал руками талию, любуясь.

— Пояс-то ты подтяни, чтобы одно слово, по форме. Пуговицы на вороте приметил: с шиком шито: не пуговица — прямо сказать, аметист. Теперь только кудрецо запустить — и купчихе от тебя мор! Отче Михаиле, моли бога о нас... Вот насчет шубы не столь ладно. Есть у меня тулупчик, да неказист. Заскучаешь после своей-то.

— Чем тертей, тем надежней. Тащи.

— Дух от него, видишь ты. Анись!

Анисья ахнула с порога.

— Господи Иисусе!

— Истинно! — мигнул Савва. — Подходи под благословение. Инок Варсонофий, испивши кофий, в обитель возвращается: на предмет схимы. Одевайся, отведешь к Марфиньке. И чтобы там — тихо. Понято?

Анисья покачала головой и вышла.

— Теперь насчет деньги. За одежу твою я выручу, так надо думать, сот...

— Брось, Савва. У меня деньги есть.

Он метнул на меня быстрый взгляд.

— Вдосталь ли? Едешь на день, хлеба бери на неделю.

— На год хватит. Спасибо. Не возьму.

— Верно говоришь?

— Верно.

— Верно, так верно. Ты человек крепкий. А только как же это окажет: я же в прибытке.

— Тут разве на деньги счет!

Савва хлопнул меня по плечу широкой ладонью.

— Правильный ты парень, товарищ Михаил. И наделали бы мы с тобой делов! ежели бы...

— Ежели б что?

— Ежели бы не окурицылся народ. Ныне как! на работу идешь, посмотришь на него, на маузер-то и думаешь: да неужто ж... было?

— Было, есть и будет, Савва.

Он качнул головой.

— Заест нас с тобой вша, вот что будет: помянь мое слово. Эдакое было, а на поверку — памяти о нем не соберешь. Шли-то все будто в гору, а как дошли — глянько: в яме навозной, а гора-то во где. Чудно.

— Не та, брат Савва, гора. Другая. Та, наша, — за плечами осталась.

Анисья, в лисьей шубе и платке, открыла дверь.

— Идем, что ли. Хозяева ругаются там, у Марфиньки-то, ежели чрезвычайно поздно.

— Посошок на дорожку, — торопливо сказал Савва, наливая рюмки. — Чтобы счастливо, без оступки. Из монастыря-то отпиши, хотя бы на трехкопеечной. Вот бог привел...

Тулуп едко пах овчиной. Меховая облезлая шапка наползала на брови.

— Не узнать воителя! Воистину богомолец.

Он дохнул в лицо винным запахом, протягивая мокрые, скользкие губы.

— Ну, прощевай. Нет, постой-ка! Что-то я у тебя как будто часов не видел?

— Часов у меня с собой действительно нет.

— Неспособно без часов, окончательно неспособно. Выдь на кухню на минут, Анись.

— От греха, — кивнул он ей вдогонку. — Надежный человек, а все-таки, по Писанию — корысти не возбуждай.

Он отпер, на коленях, тяжелый сундук, сгреб в сторону тряпье, лежавшее поверху, и вытащил пригоршню часов. Высыпал осторожно на стол и стал выбирать, распутывая в клуб смотавшиеся цепочки.

— На память! — медленно проговорил он, щурясь. — Дело, признаться, было мокрое. Будешь помнить.

Он отцепил большие серебряные часы с каким-то голубым щитом на крышке и с толстой серебряной цепью и, отогнув полу тулупа, просунул крючок цепки в петлицу.

— В брюках карманчик нащупал? Ну, носи, меня помни, Анись!..

. . . .

Мороз. Месяц. Снег — белый, лучистый, светлый.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

«На крови» — второй большой роман С. Мстиславского. Он связан с первым, вышедшим в 1925 году (2-м изданием в 1927) под заглавием «Крыша мира». Оба романа написаны от первого лица, лица автора — главного героя; оба они рассказывают о действительно имевших место в его жизни событиях: «Крыша мира» — о путешествии на Памир в 1898 году, «На крови» — о революции 1905 г., в которой он принимал участие. Второй роман перекликается с первым и отдельными эпизодами — образ «опоясанного сталью», «сказка о мокрицах» и др.

Оба они отличаются и одинаковыми достоинствами — в общем достоверным изложением этнографических, исторических и прочих фактов, взятых отдельно, — изложением, построенным авантюрно, напряженно, так, что читаешь с увлечением. Если даже эта авантюрность иногда примитивна — слишком много неожиданностей, к ним привыкаешь, заранее их ждешь, они иногда излишне «экзотичны» (особенно в «Крыше мира»), — не беда в наше бессюжетное (в беллетристике) время.

Но идеологически ценность романов неодинакова. Правда, уже первый из них вызвал в этом отношении в критике некоторые возражения, — главный герой был

принят не без оговорок. Приключения, преимущественно этнографические, однако, не давали той возможности развернуться общественному облику основного образа-характера, какую представила тема о 1905 годе.

Главный герой романа «На крови» — дворянин, породистый аристократ, человек «света». Вместе с тем он революционер, председатель Офицерского союза и даже руководитель Боевого рабочего союза, близко стоящего к Боевой организации социалистов-революционеров. Совмещение своеобразное. Герой не оставляет своей светской среды, — наоборот, принимает активное участие в ее жизни: балах, скачках, спектаклях. Идя на массовку к рабочим, меняет костюм — и только. И там и здесь он чувствует себя дома. Необычность такого положения героем осознается и возводится в теорию — «протеизм». Еще в детстве засело у него в голове: «научиться менять оболочки, оставаясь собой. Ведь только так и можно всю жизнь узнать, если нигде не быть чужим: всюду входить как свой. Для меня ведь это как-то совсем органично выходило, без всякого специального старания». Делается это вовсе не в целях одной только конспирации: «и на перине и на досках — я одинаково остаюсь собой, почему я должен обязательно перелезать на доски?!» Быт, по мнению героя, не определяет сознание. Бытие, но не быт. Быт — это только оболочка.

Мы увидим сейчас, к чему приводит такая индивидуалистическая сверхбытовая концепция. Но уже наперед, читая в начале романа эти рассуждения, мы знаем, что эта философия гибельна, что она ложна.

Быт, конечно, не бытие, но — часть бытия, выражение его в определенной области жизни. И если выражения противоположного бытия (аристократического и рабочего) одинаково свои, если нет отвращения, ненависти к одной из антитез, — это значит, что нет ничего, что

глубинно, психологически все безразлично, хотя бы логика, сознание и были определенно на стороне революции.

В дальнейшем ходе романа это наше опасение всецело оправдывается, автор психологически правдив.

Помня положение героя в обществе, понятным становится то безразличие, то равнодушие, с каким он встречает победу революционеров — убийство Юренича, Дубасова, Лауница, — та холодность, с какой он смотрит на ее частичные неудачи. Отношение героя к событиям и лицам чувствуется лишь в пределах «общечеловеческих» норм. Так, образ Азефа, одного из главарей боевой организации эсеров, оказавшегося провокатором (в пределах романа он еще не разоблачен), дан отчетливо неприязненно. Тоже образы другого провокатора — Гапона, ничтожного Николая II и ряд других.

В указанной социальной перспективе понятна и рационалистическая романтика позы — единственная доступная герою романтика. Характерна в этом отношении сцена в конце XXI главы. В церкви прихожане после антисемитской речи священника собирались избить назвавших вслух проповедь погромной. Муся, эсерка, угрожая бомбой, сдержала толпу, пока спасенные ею не ушли из церкви. Затем она «опустила руку и сошла по малиновому коврику. Она шла неторопливо, смотря прямо перед собой, словно не было, по обе ее стороны, в двух шагах, застывшей, на две стороны рассеченной людской толпы. На опустевшем, таким ненужным ставшем амвоне тряс отвисшей челюстью, разметав руки по каменному помосту, — седой, сгорбленный, жалкий попик. Я распахнул перед нею дверной створ. Она остановилась. И тотчас — старушка-богомолка у порога, плача, метнулась ей в ноги, цепляя губами белый валеный сапог: «Мать пресвятая троеручица». — Толпа вздрогнула, как один, и отступила еще на шаг. В передних рядах закрестились.

В упор перед собой я видел смелый изгиб бровей и ясные, такие близкие, такие родные глаза. Я положил Мусе руки на плечи и поцеловал крепко в губы».

Это, быть может, красиво и рыцарски величаво. Но все это не имеет прямого отношения к классовому товарищу или врагу. Герой недалеко здесь ушел от старушки-богомолки.

Самая система каждого из двух диаметрально противоположных жизненных укладов не отталкивает и не притягивает героя всецело.

Он везде «свой»...

Читая, воспринимаешь его как какого-то «знатного иностранца», любителя приключений, смелого путешественника, но никак не участника могучего социального движения.

Любовь и ненависть чужды ему, — любовь и ненависть борьбы.

Когда революция пошла на убыль, герой, — всюду свой, а потому и всюду чужой, — пришел к печальному и неизбежному на данном этапе в его положении концу. Жизнь ошибок, ложных установок не прощает никому: «Я никогда не чувствовал на лице маски. Теперь чувствовал каждый раз, когда я выходил из своего кабинета к людям. Не к светским только, нет — к людям вообще. Были дни — они казались мне манекенами, восковыми крашеными манекенами из заезжего, затасканного по провинции паноптикума, где в первом зале «знаменитые люди», а в последнем за занавеской — и за особую плату — «мужская и женская красота», распластанные на приторных малиновых бархатных ложах восковые тела с огромными, до чудовищности выпяченными на прельщение формами. Кошмар! Были дни: под мягкими сгибами сюртучных рукавов я резко ощущал глазами поскрипывающие шарниры искусственных суставов, под

белым напряженным пластроном — отсутствие ребер, грудины, синеватой сеткой наброшенных сосудов: каркас, колесики и рычажки. Плечо над вырезом лифа — тронуть спичкой — растечется желтенькой, оплывающей воронкой. И так все»... и т. д.

Здесь настоящая природа «протеизма» обнажена.

В конце романа указывается, что потом герой опять нашел себя, кошмар маски «сошел без следа» — он встретился с партийными товарищами, принял участие в очередном светском спектакле, впоследствии ему нужно было скрываться от полиции. Но это возрождение могло случиться не потому, что внутренняя классовая установка дала ему возможность побороть тяготы реакции, а благодаря счастливо подвернувшемуся приключенческому материалу. Могло, но психологически это вовсе не обязательно. Роман пока заканчивается. Читатель остается под впечатлением внутренней гибели героя.

«На крови» — интересный, увлекательно написанный психологический документ, свидетельствующий об одном из возможных подходов к революции выходцев из враждебных ей общественных классов, подходе роковом, если он остается незавершенным.

Ульрих.

СОДЕРЖАНИЕ

III ЧАСТЬ
